This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

**Правила использовапия**

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

**О программе Поиск кпиг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

# ШЕЛЛИ.

[redacted]

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ,
ВЪ ПЕРЕВОДѢ К. Д. БАЛЬМОНТА.

НОВОЕ ТРЕХТОМНОЕ
ПЕРЕРАБОТАННОЕ ИЗДАНІЕ.

# ШЕЛЛИ.

[redacted]

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ,
ВЪ ПЕРЕВОДѢ К. Д. БАЛЬМОНТА.

НОВОЕ ТРЕХТОМНОЕ
ПЕРЕРАБОТАННОЕ ИЗДАНІЕ.

Типография Монтвида. Уг. Военной ул. и Тамбовского пер., д. 3 Б.

Англ.
Ш.44
Shelley, P.
ПРОВЕР

# ШЕЛЛИ.

1935

## ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ, ВЪ ПЕРЕВОДѢ К. Д. БАЛЬМОНТА.

НОВОЕ ТРЕХТОМНОЕ ПЕРЕРАБОТАННОЕ ИЗДАНІЕ.

Переинвентаризация 1950 г.
каб. 114
7982
V639

## ТОМЪ ТРЕТІЙ.

Маскарадъ анархіи.—Письмо къ Маріи Джисборнъ.—Волшебница Атласа.—Эпипсихидіонъ.—Адонаисъ.—Эллада.—Отрывки неоконченной драмы.—Карлъ Первый.—Торжество жизни.—Повѣствовательные отрывки.—Статьи.

Пояснительныя примѣчанія К. Д. Бальмонта.

Съ приложеніемъ статьи „Эдуардъ Даудэнъ. Очеркъ жизни Шелли“.

3078
БИБЛИОТЕКА

Цѣна 2 руб.

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“. С.-Петербургъ, Невскій, 92.
1907.

# ОГЛАВЛЕНІЕ.

## ПОЭМЫ и ДРАМЫ.

### 1819.

1. Маскарадъ анархіи. . . . . 1

### 1820.

2. Письмо къ Маріи Джисборнъ. . . . . 19
3. Волшебница Атласа. . . . . 33

### 1821.

4. Эпипсихидіонъ. . . . . 59
5. Адонаисъ. . . . . 91
6. Эллада. . . . . 113
Примѣчанія Шелли къ драмѣ „Эллада“ . . . . . 169

### 1822.

7. Отрывки неоконченной драмы. . . . . 175
8. Карлъ Первый. . . . . 189
9. Торжество жизни. . . . . 229

## ПРОЗА.

Повѣствовательные отрывки, замѣтки, статьи.

### 1814.

1. Ассасины. . . . . 257

стр.

## 1818.

2. Колизей. . . . . 277

## 1815.

3. О любви. . . . . 287
4. Размышленія о метафизикѣ. . . . . 293

## 1816.

5. Размышленія о морали. . . . . 303
6. О будущемъ состояніи. . . . . 319
7. О литературѣ, искусствахъ и нравахъ вообще. . . . . 327
8. Объ одномъ мѣстѣ въ „Критонѣ“. . . . . 337

## 1819.

9. Критическія замѣчанія о скульптурѣ флорентинской галлереи. . 341
10. Арка Тита. . . . . 351
11. О возрожденіи литературы. . . . . 355
12. О смертной казни. . . . . 361
13. О жизни. . . . . 369

## 1821.

14. Въ защиту поэзіи. . . . . 377
— ПРИМѢЧАНІЯ К. Д. БАЛЬМОНТА. . . . . 415
— ПРИЛОЖЕНІЕ „*Эдуардъ Дауденъ*. ОЧЕРКЪ ЖИЗНИ ШЕЛЛИ“. . . . . 1—29

# ПОЭМЫ

# И ДРАМЫ

(1819—1822).

Библіотека Кужи
Сѣверо-Западныхъ ж. д.

1819.

# МАСКАРАДЪ АНАРХІИ.

[redacted]

Библіотеки служащихъ Сѣверо-Западныхъ ж. д.

1.

Когда въ Италіи я спалъ,
Внезапно голосъ прозвучалъ,
И властно онъ повелъ, средь дня,
Въ видѣньяхъ Вымысла меня.

2.

И вотъ гляжу, въ лучахъ зари,
Лицомъ совсѣмъ какъ Кэстельри,
Убійство, съ ликомъ роковымъ,
И семь ищеекъ вслѣдъ за нимъ.

[redacted]

3.

Всѣ были жирны; и вполнѣ
Понятно это было мнѣ:
Онъ подъ плащомъ широкимъ несъ
Сердца людей въ росѣ изъ слезъ,
И сытъ былъ ими каждый песъ.

Библіотека Сѣверо-Западныхъ ж. д. Комитетъ Лужащихъ

4.

За нимъ Обманъ; одѣтъ былъ онъ
Весь въ горностай, какъ Лордъ Эльдонъ:
Онъ плакалъ; силой волшебства,
Тѣ слезы, наземь павъ едва,
Вдругъ превращались въ жернова.

5.

И дѣти малыя кругомъ,
Себѣ игрушку видя въ томъ,
Ловили слезы тѣ, въ борьбѣ,
И выбивали мозгъ себѣ.

6.

И Лицемѣрье, все въ тѣняхъ,
Но съ свѣтлой Библіей въ рукахъ,
На крокодилѣ, какъ Сидмутъ,
Ползло, глядя и тамъ и тутъ.

7.

Другія Порчи, цѣлый рядъ,
Сошлись на страшный маскарадъ,
Наряжены, вплоть до очей,
Въ шпіоновъ, въ пэровъ, и въ судей.

8.

Послѣдней Смута, въ этомъ снѣ,
На бѣломъ ѣхала конѣ,
И конь былъ кровью обагренъ,
А Призракъ—точно Смерть былъ онъ.

9.

Чело жестокое въ вѣнкѣ,
И скипетръ былъ въ его рукѣ,
И знакъ на лбу лелѣялъ онъ—
«Я Богъ, я Властелинъ, Законъ».

10.

Онъ ѣхалъ съ пышной быстротой,
Надъ всей Англійскою землей,
И онъ толпой былъ слѣпо чтимъ,
И лужей кровь была за нимъ.

11.

Былъ свитой Призракъ окруженъ,
Былъ шумъ и звонъ со всѣхъ сторонъ,
У каждаго—кровавый мечъ,
Чтобы врагамъ пути пресѣчь.

12.

И вотъ по Англіи, кичась,
Толпа свирѣпая неслась,

Виномъ отчаянья полна,
Для темныхъ дѣлъ опьянена.

13.

Отъ моря къ морю, какъ бѣда,
Черезъ поля, чрезъ города,
Они неслись, въ крови, въ пыли,
Покуда въ Лондонъ не пришли.

14.

Всѣхъ обитателей, въ домахъ,
Паническій застигнулъ страхъ,
Когда подъ крикъ, неукротимъ,
Тотъ Призракъ Смуты прибылъ къ нимъ.

15.

Ему навстрѣчу, какъ рѣка,
Явились дикія войска,
И пѣли всѣ, и слушалъ онъ:
«Ты Богъ, Король, и ты Законъ.

16.

«Мы твой привѣтствуемъ приходъ,
Тебя давно недостаетъ.
Мечи остыли, денегъ нѣтъ,
Дай крови, золота, и бѣдъ».

17.

Ханжи, законники, толпой,
Склоняясь передъ тѣнью той,
Молитву тихую, какъ вздохъ,
Шептали: «Ты Законъ, и Богъ».

18.

И всѣ вскричали, какъ одинъ:
«Ты Богъ, Король, и Властелинъ,
Тебѣ отъ насъ земной поклонъ,
Духъ Смуты нынѣ освященъ».

19.

И вотъ Анархіи скелетъ
Всѣмъ, скаля зубы, шлетъ привѣтъ,
Народъ, чтобъ такъ учтивъ былъ онъ,
Учителямъ далъ милліонъ.

20.

Онъ зналъ, что всѣ ему—вѣнцы.
И королевскіе дворцы,
Ему—почетъ отъ всѣхъ рабовъ.
И шитый золотомъ покровъ.

21.

И вотъ приспѣшниковъ, впередъ,
Банкъ захватить скорѣй онъ шлетъ,
Въ парламентъ хочетъ онъ вступить,
Онъ знаетъ, какъ ему тамъ быть.

22.

Безумная явилась тутъ,
Надеждою ее зовутъ.
Но, какъ Отчаянье, она
Вскричала, вся дрожа, блѣдна:

23.

«Отецъ мой, Время, старъ и сѣдъ,
Ждетъ лучшихъ дней, а ихъ все нѣтъ,
Глядите, онъ, какъ идіотъ,
Руками шаритъ, счастья ждетъ.

24.

«Онъ за дѣтьми рождалъ дѣтей,
Всѣхъ схоронилъ въ теченьи дней,
Осталась только я одна,
О, горе, скорбь мнѣ суждена»!

25.

И до коня она дошла,
Предъ нимъ на улицѣ легла.

Ждетъ, чтобъ въ нее вдавили слѣдъ
Обманъ, Убійство, и Скелетъ.

26.

Межь ней и ими вдругъ возникъ
Какой-то свѣтъ, какой-то ликъ,
Сперва онъ былъ и слабъ, и малъ,
Какъ бы туманъ долинъ межь скалъ.

27.

Но въ бурѣ зрѣютъ облака,
Межь скалъ густѣетъ ихъ рѣка,
И свѣтятъ молніи изъ тучъ,
И громъ идетъ къ низинамъ съ кручъ.

28.

Такъ выросъ образъ тотъ, въ огнѣ,
Горя въ чешуйчатой бронѣ,
На алыхъ крыльяхъ онъ взвился,
Предсталъ какъ свѣта полоса.

29.

На шлемѣ, издали свѣтла,
Планета блескъ зари зажгла,
И перья искрились на немъ,
Горя пурпуровымъ огнемъ.

30.

Надъ головами тѣхъ людей,
Какъ вѣтеръ, все скорѣй, скорѣй,
Онъ шелъ, всѣ слышали его,
Но не видали ничего.

31.

Какъ Май, идя, цвѣты родитъ,
Какъ звѣзды Ночь съ волосъ струитъ,
Куда бъ ни шелъ онъ, съ высоты,
Во всѣхъ умахъ рождалъ мечты.

32.

Толпа взглянула,—передъ ней,
Надежда, въ красотѣ своей,
Впередъ, впередъ, спокойно шла,
Хоть вся земля въ крови была.

33.

И Смута, вскормленная въ злѣ,
Лежала мертвой на землѣ,
Конь Смерти словно вѣтеръ былъ,
Летѣлъ, копытами дробилъ
Убійцъ, чей строй такъ люденъ былъ.

34.

Лучистый свѣтъ блеснулъ изъ тучъ,
Онъ нѣженъ былъ, хоть былъ могучъ,
И гимнъ возникъ во всѣхъ умахъ,
Была и радость въ немъ, и страхъ.

35.

Какъ будто бы Земля, родивъ
Сыновъ Англійскихъ,—ощутивъ
Негодованье, видя кровь,
И къ дѣтямъ чувствуя любовь,-

36.

Изъ каждой красной капли вдругъ
Содѣлала могучій звукъ,
И сердце все вложила въ крикъ,
И гимнъ властительный возникъ:

37.

«О, Люди Англіи, Сыны
Непогасимой Старины,
Питомцы матери, чей духъ,
На время только, въ васъ потухъ,

38.

«Возстаньте ото сна, какъ львы,
Васъ столько жъ, какъ стеблей травы,

Развѣйте чары темныхъ сновъ,
Стряхните гнетъ своихъ оковъ,
Васъ много—скуденъ счетъ враговъ!

39.

«Въ чемъ Вольность, знаете ль? Увы,
Въ чемъ Рабство, испытали вы,
И ваше имя—звонъ оковъ,
Въ немъ отзвукъ имени рабовъ.

40.

«Да, рабство, подневольный трудъ,
Въ работѣ вѣчной дни идутъ,
И платятъ вамъ тираны такъ,
Чтобъ прозябать вамъ кое-какъ.

41.

«Вы все для нихъ, вы—домъ, и печь,
Станокъ, лопата, плугъ, и мечъ,
Съ согласія иль безъ него,
Вы имъ пригодны для всего.

42.

«И жалокъ видъ дѣтей нагихъ,
И блѣдны матери у нихъ,
Покуда рѣчь моя течетъ,
Къ нимъ смерть идетъ, и смерть не ждетъ.

43.

«И было бы желанно вамъ
Ѣсть то, что сильный жирнымъ псамъ
Бросаетъ щедрою рукой,
Но пищи нѣтъ у васъ такой.

44.

«Духъ Золота лелѣетъ взглядъ,
И отъ труда беретъ сто кратъ,
И въ тиранніяхъ старыхъ дней
Работать не было труднѣй.

45.

«И за чудовищный вашъ трудъ
Бумажныхъ денегъ вамъ даютъ,
Вы имъ даруете кредитъ,
Хоть въ нихъ обманъ безстыдный скрытъ.

46.

«И воли вамъ, въ мелькань лѣтъ,
Надъ волей собственною нѣтъ,
Но что другіе захотятъ,
Въ то вашу волю превратятъ.

47.

«Когда жъ вы издадите вздохъ,
Что сонъ вашъ скуденъ, хлѣбъ вашъ плохъ,
Тогда тиранъ къ вамъ войско шлетъ,
И васъ, и вашихъ женъ онъ бьетъ,
И кровь изъ вашихъ ранъ течетъ.

48.

«И месть горитъ, и хочетъ вновь
За пытку—пытку, кровь—за кровь:
Не поступайте такъ, когда
Настанетъ ваша череда.

49.

«Да, птицы носятся вездѣ,
Но отдохнутъ въ своемъ гнѣздѣ.
И есть берлога у звѣрей
Въ суровый холодъ зимнихъ дней.

50.

«Для лошадей и для быковъ
Въ ихъ стойлахъ кормъ всегда готовъ,
Собакъ дворовыхъ впустятъ въ домъ,
Когда бушуютъ вихрь и громъ.

51.

«Есть хлѣвъ, и кормъ есть у ословъ,
И для свиней пріютъ готовъ,

О, Англичанинъ, только ты
Бездоменъ въ мракѣ нищеты.

52.

«Вотъ это Рабство—посмотри,
Терпѣть не станутъ дикари,
И звѣрь доселѣ не терпѣлъ
То, въ чемъ обычный твой удѣлъ.

53.

«Въ чемъ ты, Свобода? О, когда бъ
Сказалъ, въ живой могилѣ, рабъ
Отвѣтъ,—тиранъ бѣжалъ бы прочь,
Какъ отъ лучей побѣдныхъ—ночь.

54.

«О, Вольность, міръ огнемъ одѣнь,
Пусть говорятъ, что ты лишь тѣнь,
Что изъ пещеры Славы ты—
Лишь суевѣріе мечты.

55.

«Нѣтъ, для работника ты хлѣбъ,
Чтобъ онъ, насытившись, окрѣпъ,
Чтобы, окончивъ трудъ дневной,
Онъ счастливъ былъ съ своей семьей.

56.

«Ты всѣмъ, кто знаетъ скорбь и мракъ,
Одежда, пища, и очагъ:
Въ краяхъ, гдѣ свѣтъ твой не погасъ,
Не могъ бы голодъ мучить насъ,
Какъ видимъ въ Англіи сейчасъ.

57.

«Ты для богатаго, когда
Онъ топчетъ слабыхъ,—какъ узда:
Отдвинетъ ногу онъ свою,
Какъ наступивши на змѣю.

58.

«Ты Справедливость: никогда
Не купишь твоего суда;
Продаженъ въ Англіи законъ,
Тобой же всякій огражденъ.

59.

«Ты Мудрость: въ Вольномъ не горятъ
Огни, твердящіе про адъ,
Онъ не подумаетъ, что онъ
Навѣки будетъ осужденъ.

60.

«Ты Міръ: сокровища и кровь
Не тратишь, чтобъ сбирать ихъ вновь,
Какъ тратили тираны ихъ,
Чтобъ пламень въ Галліи затихъ.

61.

«Но, если пролилась изъ ранъ
Кровь слишкомъ многихъ Англичанъ,
Свобода, ты затемнена,
Но заблистать опять должна.

62.

«Ты свѣтъ Любви: къ тебѣ припалъ
Богатый, ноги цѣловалъ,
Свое богатство отдалъ имъ,
Кто былъ тиранами гонимъ,—

63.

«Оружье выковалъ себѣ,
Чтобъ въ благородной встать борьбѣ
На притѣсненье и обманъ,
Кому весь міръ былъ въ жертву данъ.

64.

«Познанья, Мысли, и Мечты—
То свѣточи средь темноты.

Зажженные для тѣхъ тобой,
Кто въ жизни истомленъ борьбой.

65.

«Въ Терпѣньи, въ Нѣжности, во всемъ,
Что расцвѣтаетъ намъ цвѣткомъ,
Ты скрыта: не слова, дѣла
Намъ говорятъ, что ты свѣтла.

66.

«Пусть соберутся тѣ толпой,
Что вольны смѣлою душой,
Пусть соберетъ ихъ духъ одинъ
На свѣжей зелени долинъ.

67.

«Пусть голубыя небеса,
Земля и свѣтлая роса
И все, что вѣчно, не мертво,
Увидятъ это торжество.

68.

«Изъ самыхъ дальнихъ уголковъ,
Отъ всѣхъ Англійскихъ береговъ,
Изъ городовъ и деревень,
Гдѣ люди, чахлые, какъ тѣнь,
Живутъ и стонутъ каждый день,

69.

«Изъ тюремъ, гдѣ, какъ тощій трупъ,
Съ дрожаньемъ жалкимъ блѣдныхъ губъ,
Толпа дѣтей и стариковъ
Ѣстъ горькій хлѣбъ подъ звонъ оковъ,

70.

«Изъ всѣхъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ жизнь идетъ,
И каждый мигъ усилій ждетъ,
Встаютъ заботы, бьется страхъ,
И сѣютъ плевелы въ сердцахъ,

71.

«И наконецъ, изъ всѣхъ дворцовъ,
Гдѣ точно дальній гулъ вѣтровъ,
Звучатъ, то слабо, то слышнѣй,
Глухіе отзвуки скорбей,

72.

«Изъ тѣхъ блистательныхъ темницъ,
Гдѣ жестокъ видъ холодныхъ лицъ,
И гдѣ немногимъ слышенъ стонъ
Тѣхъ, кто нуждой обремененъ,—

73.

«Вы всѣ, чьимъ горестямъ нѣтъ словъ,
И кто сочувствовать готовъ
Странѣ, гдѣ кровь невинныхъ льютъ,
И гдѣ страданье продаютъ,—

74.

«Въ Собраньи смѣломъ и живомъ,
Сберитесь, съ пышнымъ торжествомъ,
Пусть скажутъ ваши голоса,
Что вольнымъ каждый родился.

75.

«Какъ заостренные мечи,
Слова пусть будутъ горячи,
И полны смѣлой широты,
Какъ въ бой подъятые щиты.

76.

«И пусть тогда, со всѣхъ сторонъ,
Тираны къ вамъ, подъ шумъ и звонъ,
Придутъ воинственной толпой,
Какъ море громкое въ прибой.

77.

«Пусть артиллерія гремитъ,
И пылью воздухъ продымитъ,

Чтобъ все пространство потряслось
Подъ стукъ копытъ и звукъ колесъ.

78.

«Пускай, блестя, пройдутъ полки,
И неподвижные штыки
Сольются, сѣть одну соткавъ,
Англійской крови возжелавъ.

79.

«Пусть сабли всадниковъ, свѣтло,
Подъ звукъ команды: «Наголо!»
Горятъ, чтобъ погасить свой свѣтъ
Въ пучинѣ гибели и бѣдъ.

80.

«Спокойный сохраните видъ,
Какъ лѣсъ, что сомкнутъ и молчитъ,
Съ такими взорами, гдѣ свѣтъ,
Которому преграды нѣтъ.

81.

«Пусть Паника, чей бѣгъ быстрѣй
Проворныхъ боевыхъ коней,
Сквозь ваши плотные ряды
Пройдетъ, какъ только тѣнь бѣды.

82.

«Пускай законъ родной страны,—
Ему мы всѣ подчинены,—
Въ раздорѣ томъ, рука съ рукой,
Стоитъ единственнымъ судьей.

83.

«Законъ Англійскій старыхъ дней
Блистаетъ мудростью своей,
Умнѣй онъ нашихъ новыхъ дней;
Въ немъ вспыхнетъ,—какъ тогда возникъ,—
Свобода, твой могучій крикъ.

84.

«Священный вѣстникъ онъ, —и тотъ,
Кто на герольда посягнетъ,
Пусть приметъ кровь, такъ суждено,
Но будетъ не на васъ пятно.

85.

«И разъ насильники дерзнутъ,
Пусть между васъ съ мечомъ пройдутъ,
Пусть рубятъ, колютъ, и дробятъ,
Пускай поступятъ, какъ хотятъ.

86.

«Не отводя упорныхъ глазъ,
На нихъ глядите въ этотъ часъ,
Не удивляясь, не сробѣвъ,
Пока не кончится ихъ гнѣвъ.

87.

«Тогда они придутъ домой
Съ позоромъ, жалкою толпой,
И кровь, что пролили они,
На ихъ щекахъ зажжетъ огни.

88.

«И женщины всѣхъ мѣстъ родныхъ
Укажутъ пальцами на нихъ,
И стыдно будетъ имъ встрѣчать
Друзей, и близкимъ отвѣчать.

89.

«И тѣ, что были на войнѣ,
И бились въ Смерти и въ огнѣ.
Гнушаясь обществомъ такимъ,
Уйдутъ къ свободнымъ и благимъ.

90.

«И для народа та рѣзня
Зажжетъ огонь иного дня,

Въ немъ будетъ знакъ для вольныхъ данъ,
Далеко прогремитъ вулканъ.

91.

«Промчатся звучныя слова,
И будетъ сила ихъ жива,
Сквозь каждый разумъ ихъ печать
Блеснетъ опять—опять—опять:

92.

«Возстаньте ото сна, какъ львы,
Васъ столько жь, какъ стеблей травы;
Развѣйте чары темныхъ сновъ,
Стряхните гнетъ своихъ оковъ,
Васъ много—скуденъ счетъ враговъ!»

БЛИОТЕКА
К. Маркса
ородный кан. 114
7982
3078
Н639

# 1820.

# ПИСЬМО КЪ МАРІИ ДЖИСБОРНЪ.

Ливорно, 1-го іюля, 1820.

Паукъ вездѣ плететъ узоръ свой лѣтомъ,
Въ вѣтвяхъ, въ амбарѣ, въ башнѣ—надъ поэтомъ;
Плететъ подъ темной тутовой листвой
Червь шелковичный домъ и саванъ свой;
Такъ я, предъ моралистомъ—червь, мечтаю,
Вкругъ этой хрупкой формы я сплетаю
Изъ тонкихъ нитей рѣдкостной мечты—
Не сѣти словъ блестящей красоты,
Чтобъ однодневокъ уловлять въ нихъ праздныхъ,
Но келью съ тканью чертъ разнообразныхъ,
Чтобы, когда угаснетъ этотъ ликъ,
Я въ памяти витающей возникъ,
Чтобъ для меня раскрылись златооки
Въ садахъ сердецъ, которыя глубоки,
Гдѣ буду жить и возрождаться вновь,
Гдѣ мнѣ безсмертье подаритъ любовь.

Когда бъ меня увидѣлъ кто, я знаю,
Онъ думалъ бы, я здѣсь изобрѣтаю,
Съ искусствомъ Архимеда умъ свой сливъ,
Какой-нибудь таинственный извивъ,
Чтобы въ желѣзномъ сердцѣ у машины
Проснулся духъ,—иль строю для пучины
Какой-нибудь невиданный снарядъ,
Чтобъ чарой числовой зажечь въ немъ взглядъ,
И по морямъ потомъ его отправить,
Его играть средь дикихъ волнъ заставить;
Кругомъ, вдоль стѣнъ—чудовищность машинъ,

Какихъ, чтобъ Прометея средь вершинъ
Юпитеръ могъ сковать во мглѣ тумана,
Наврядъ ли много было у Вулкана;
И врядъ ли зналъ ихъ добрый духовникъ
Еретиковъ и Турокъ, Доминикъ;
Ихъ врядъ ли человѣколюбцы знали,
Что предвкушенье ада пожелали
Шекспиру дать, Сиднею, и другимъ,
Кто край нашъ блескомъ озарилъ своимъ,
Въ то время какъ Испанія, чье пламя
Вновь ожило теперь, тогда подъ знамя
Имперіи поставила свой духъ,
И въ ней огонь блистательный потухъ,—
Дать ада предвкушеніе—зубцами,
И колесомъ, съ гвоздями и щипцами,
Что рыбаки нашли близь острововъ,
Подъ склономъ Корнваллійскихъ береговъ,
Гдѣ море воетъ, точно звѣри въ клѣткѣ,
И гдѣ улыбки неба слишкомъ рѣдки,
Гдѣ грубы волны, только иногда
Предательски безмолвствуетъ вода,
Когда, насытивъ жадность бездны темной,
Подъ утро, волны, въ нѣгѣ вѣроломной,
Какъ сытыя пантеры, щуря взглядъ,
Съ добычей изуродованной спятъ;
Еще лежатъ здѣсь, на полу кирпичномъ,
Другія формы, съ видомъ необычнымъ,
Протей, когда въ металлахъ онъ возникъ,
Такъ не былъ страшно, странно многоликъ,
Какъ эта мѣдь въ непостижимыхъ спайкахъ,
Свинецъ съ желѣзомъ, въ полосахъ и гайкахъ,
Чудовищныхъ нагроможденье кучъ,
Чей образъ металлически-могучъ,
И дерево, цвѣтовъ непостижимыхъ,
Всѣхъ образцовъ и формъ вообразимыхъ,
Что въ голову Тубалу не придутъ,
И всѣхъ его потомковъ изведутъ;
Чтобъ выдержать вѣтровъ и волнъ давленье,

И времени дробящее теченье,
Винты, колеса, конусы, станки,
Тяжелый блокъ, и въ блокѣ желобки.—
А на столѣ еще лежатъ затѣи,
Но, хоть стихи изгибисты, какъ змѣи,
Я чувствую, что я не въ силахъ ихъ
Всѣ вынудить въ мой уложиться стихъ:—
Изъ дерева бокалъ—не съ винной влагой,
Со ртутью; этой дьявольскою брагой
Другъ друга угощаетъ темный гномъ,
Прахъ роя въ подземеліи глухомъ,
И цѣлый сонмъ бѣсовъ землетрясенья
Въ отвѣтъ на тостъ, въ припадкѣ восхищенья,
Кричатъ «Ура!»—и лавой возгласъ шлютъ,
Ея потокъ въ людское царство льютъ,
И сквозь прорывъ расщелинъ распростертыхъ
Къ нимъ падаютъ тѣла живыхъ и мертвыхъ,
Святилища, дома, и города,
И духи подземельные тогда,
Хвативъ еще услады этой ртутной,
Схватившись за бока, толпой безпутной
Хохочутъ. Этой ртути не пилъ гномъ:
Стоитъ бокалъ изъ дерева, и въ немъ
Она лежитъ, по цвѣту точно воды
Тосканскія, въ тотъ тихій часъ природы,
Когда изъ сокровенностей луны
Лучи струятся влажной бѣлизны,
И тихо въ мірѣ все подъ небесами,
И спитъ лазурь надъ блѣдными морями;
И въ этой чашѣ съ ртутью я, шутя,—
И въ зрѣлыхъ лѣтахъ человѣкъ дитя,—
Пустилъ бумажный челнъ, вотъ онъ блуждаетъ,—
Съ зубцами гайка,—Генри понимаетъ,
Что говорю я, и смѣется онъ,
Коль только опасеньемъ не смущенъ,
Что я смѣшаю важные предметы.
Еще бы: вотъ лежатъ счета и смѣты,
И въ желтыхъ, въ синихъ краскахъ, возлѣ смѣтъ,

Фрегаты, парохода силуэтъ.
Рядъ инструментовъ, чтобы безъ изъяновъ
Созданье мореплавательныхъ плановъ
Могло осуществляться; тамъ смола,
Обломокъ изумруднаго стекла,
И въ немъ чернила; чашка изъ фарфора,—
Уста, весьма желанныя для взора.
Отсюда влагу пили, чья игра
Въ людскомъ умѣ, твердятъ намъ доктора,
Вредна—ее я все же поглощаю:
Когда умремъ,—чья смерть была отъ чаю,
Узнаемъ, только бъ намъ ихъ повстрѣчать:
«Орелъ иль рѣшка?» будемъ имъ кричать.
Предъ чашкой ящикъ крашеный, и крючья,
Какъ будто пасть акулы, или щучья,
Три книги, и на нихъ слоями пыль,
Кусокъ слоновой кости, и фитиль,
Кристальности коническихъ сѣченій,
И логариѳмы, войско исчисленій,
Кто можетъ, зри,—они какъ нѣкій стихъ,
Въ гармоніи нѣмыхъ фигуръ своихъ,
Считаній ускоренье и прикраса,
Отъ Сандерсона съ Симсомъ до Лапласа.
Баронъ де Тоттъ, *Замѣтки*, здравый умъ,
И рядомъ старой химіи волюмъ.
Вблизи—непостижимое явленье,
Въ умѣ перебираю всѣ сравненья,
Чтобъ Генри могъ меня теперь понять,
Но ничего не въ силахъ подобрать:
Нѣтъ, лучше ужъ оставить, вмѣстѣ съ прочимъ,
Какъ Спенсеръ говоритъ: мы тѣмъ упрочимъ
Возможность, что родится тайна дней,
Что въ пѣснѣ не вмѣщается моей.

И вотъ, какъ Архимагъ, я возсѣдаю,
И волхованья здѣсь изобрѣтаю,
Въ нихъ геніальность Дьявола сама:
Я на колесахъ паровыхъ ума

Выкачивать хочу, безъ перемѣны,
Хулы, что произносятъ клэрджимэны,
И нѣжный духъ журналовъ весь смолоть
Въ муку, гдѣ, возродясь, ихъ кровь и плоть
Соленой пѣной злоупотребленья
Взмутитъ затонъ ихъ самоупоенья;—
Вздыхаю, улыбаюсь, но отъ грезъ,
Нѣтъ, не отъ нихъ; Либечьо, добрый песъ,
Кидается съ визжаньемъ и ворчаньемъ,
И съ бо̀льшимъ я за нимъ слѣжу вниманьемъ,
Чѣмъ за мечтой о глупыхъ; между горъ
Ползетъ туманъ, скрываетъ ихъ просторъ,
И, точно плащъ на ихъ плечахъ широкихъ,
Ростетъ, и жаждетъ молній свѣтлоокихъ;
Какъ океанъ, что зыбитъ свой приливъ,
Волнуются колосья спѣлыхъ нивъ;—
Дрожатъ лозы, темнѣютъ ихъ рѣшетки,
И ропоты морскіе, нѣжно-кротки,
Поютъ, журчатъ, напѣвъ ихъ въ слухъ мой влитъ,
Когда на время вѣтеръ замолчитъ;—
Подъ бѣлой электрической волною
Сѣдѣетъ холмъ, и за его стѣною
И отъ долинъ, загрезившихъ кругомъ,
Въ лѣнивыхъ взрывахъ возникаетъ громъ;
Провалъ небесъ вверху свѣтло сверкаетъ,
Какъ будто вѣкъ любви въ нашъ міръ вступаетъ;—
Пока такія вещи есть,—какъ тотъ,
Кто другъ вамъ, взоръ отъ нихъ свой оторветъ,
Чтобъ на червей смотрѣть, внимать трещанью
Мірскихъ сорокъ, быть тронутымъ ихъ бранью?

Васъ нѣтъ. Колдунья-Память, въ этотъ часъ,
Въ пустыя кресла усадила васъ,
И близь друзей отсутствующихъ бродитъ,
И съ ними рѣчь безмолвную заводитъ.—
Ее я вопрошаю, что̀, опять
Смогу ль я васъ, какъ прежде, увидать;—
И, тканью нѣжно-легкаго убора,

Скрывъ блески ясновидящаго взора,
Она мнѣ шепчетъ: «Знаю лишь одно:
Что въ прошломъ,—что вернуться не должно;
Но пусть Надежду твой призывъ пробудитъ,
Ея слова—всегда о томъ, что будетъ».
Но я, угадчикъ старый, пѣнье строкъ,
Солгавшихъ мнѣ не разъ, принять не могъ,
Съ Надеждою не молвилъ я ни слова,
И къ Памяти, къ колдуньѣ грустной, снова
Я обратился, вспомнилъ вмѣстѣ съ ней
Всю нашу дружбу, сказку прошлыхъ дней,
Чтобъ усладить теплом воспоминанья
Мое томленье нѣжнаго страданья.—
Припомнилъ я, какъ тучки, словно дымъ,
Просторомъ итальянски-голубымъ,
Надъ берегомъ морскимъ въ лазури плыли,
И мы за ними, легкими, слѣдили;—
Какъ въ прошломъ я году бѣжалъ домой,
Захваченный гремящею грозой,
И молнія, въ капризности теченья,
Моей щеки коснулась на мгновенье;—
Какъ угощали—вы меня, я васъ,
И дружба возмѣщала намъ не разъ
Пробѣлы въ тѣхъ пирахъ неприхотливыхъ,
Свѣтя своей улыбкой для счастливыхъ;—
И какъ сплетали мы изъ нашихъ словъ
Отъ солнца повседневности покровъ,
Что кажется какъ будто бы реальной,
Но есть лишь сонъ, насмѣшка; и съ печальной
Улыбкой осуждали мы порой
Весь этотъ міръ, необъяснимо-злой;
Потомъ мы планы, мысли обсуждали
Тѣхъ, чьи глаза давно ужь отблистали,
Или, душою унесясь впередъ,
Гадали мы, къ чему земля придетъ,
Когда въ мельканьи дней, въ иной ихъ смѣнѣ,
Идя, иныя мы пройдемъ ступени;
Какъ кумушки-болтуньи были мы,

Что слышать свистъ вѣтровъ и вой зимы,
Но не трепещутъ;—вспомнилъ я мгновенья,
Въ которыя внимали вы теченье
Прерывистыхъ самозабвенныхъ строкъ,
Быть можетъ, должнымъ образомъ не могъ
Я въ нихъ вложить все то, что было плѣнно
Въ моемъ умѣ, въ немъ жило сокровенно;—
И какъ касались мы до родниковъ
Мечты и страсти, мысли, звучныхъ словъ,
Которые поэты отыскали
Въ пустынѣ лѣтъ,—и, полные печали,
Къ той влагѣ льнули мы, въ ней свѣтъ, любовь,
И пили мы, чтобъ жаждать вновь и вновь;—
Какъ я сроднялся съ рѣчью благородной
Страны, что нынѣ сдѣлалась свободной,
Съ той рѣчью, что въ величіи своемъ
Вкругъ скипетра тирана—точно громъ,
Встаетъ въ глуши темницъ, какъ пламя въ тучѣ,
«Мнѣ имя—Легіонъ», кричитъ пѣвуче,
Съ той рѣчью, чьи созвучья Кальдеронъ
Вознесъ надъ мглой столѣтій и племенъ;
Она въ насъ откликъ эхо находила,
И звуками забвеніе будила;
Ты какъ бы няней мнѣ въ тѣ дни была,
И знанія свои передала,
Въ родителяхъ такъ рѣчь звучитъ живая,
Когда дитя лепечетъ, подростая.
Что-жь, если вѣтеръ ловитъ облака,
И ястребы летятъ издалека
За горлицами, полными мечтаній,
Охотники отыскиваютъ ланей,
И за добычей мчится хищный звѣрь,
Зачѣмъ бы вихремъ духа намъ теперь
Не пробудить завѣтныхъ наслажденій
Въ лѣсахъ минувшихъ дней, гдѣ дремлютъ тѣни?

Вы въ Лондонѣ, въ пучинѣ, чей прибой—
Одновременно громкій и глухой,

И на берегъ обломки извергаетъ,
И хочетъ новыхъ жертвъ, реветъ, играетъ.
Но сколько тамъ сокровищъ въ глубинѣ!
Увидите вы Годвина. А мнѣ
Такъ ясно, что, хотя онъ палъ во мнѣньи,
Въ измѣнѣ дней, въ капризномъ ихъ теченьи,
Но больше, ярче онъ, чѣмъ кто-нибудь
Изъ тѣхъ, кто намъ указываетъ путь,
И смѣло встанетъ онъ предъ трибуналомъ
Грядущаго, въ сіяньи запоздаломъ,
Хула же, поблѣднѣвши, замолчитъ.
Увидите вы Кольриджа; сидитъ
Онъ, ослѣпленъ чрезмѣрностью сіянья,
Лучистымъ озареньемъ созерцанья,
Блестящій умъ, открытый красотѣ,
И тягостно идущій въ темнотѣ,
Комета въ безднахъ, тучами объятыхъ,
Орелъ слѣпой межь совъ подслѣповатыхъ.
Увидите вы Гёнта, одного
Изъ тѣхъ, кто соль земли, безъ нихъ мертво
Все было бъ въ мірѣ; что въ другихъ лишь маска,
Въ немъ точный ликъ и подлинная краска;
Рядъ бюстовъ, какъ всегда, сомнѣнья нѣтъ,
Его рабочій нѣжатъ кабинетъ,
Украшенъ онъ и нѣжными цвѣтами,
Изящными лавровыми вѣнками,
Красуется вѣнокъ тамъ не одинъ, --
Дары подругъ, свояченицъ, кузинъ.
А онъ себѣ остритъ, его остроты
Хоть у кого прогонятъ мракъ заботы,
Проникнутъ въ дверь умовъ, что съ давнихъ поръ
Замкнуты,—какъ проникнетъ кредиторъ
Къ поэту,—и бѣдняжкѣ не поможетъ
Признаніе, что онъ платить не можетъ;
Нерѣдко же совсѣмъ не шутитъ онъ,
Въ свѣтъ мудрости душою погруженъ,
И ей найдешь сравненье въ книгахъ міра
Въ одной лишь мудрой нѣжности Шекспира.

Увидите вы Хогга, рядъ его
Достоинствъ—свыше слова моего,
Какъ описать ихъ, разумъ мой не знаетъ,
Но онъ свои богатства запираетъ,
И дверь баррикадируетъ потомъ,
Чтобы никто не могъ проникнуть въ домъ;
Какъ онъ остеръ, постигнете вы сами,
Узнавъ, что умъ его снабженъ зубами;
Жемчужина, изъ лучшихъ съ глуби дна,
Хоть въ раковинѣ устричной она.
Увидите павлина вы, Пикока,
Что сталъ фламинго,—въ Индіи, далеко
Той птицѣ суждено блистать. Когда
Кто женится, иль,—разъ уже бѣда
Такая,—умираетъ, иль на службѣ
Индійской состоитъ, конецъ тутъ дружбѣ,
Для самыхъ близкихъ больше онъ незримъ.
Но вы его увидите, и съ нимъ
Его любовь, газель со склоновъ Снодна,
Которой было въ бракъ вступить угодно
Съ жирафой этой; если онъ остритъ,
Такъ рана глубока, что ножъ въ ней скрытъ;
Днямъ пошлымъ, себялюбцамъ лицемѣрнымъ
Тотъ умъ не нуженъ, съ блескомъ непомѣрнымъ;
Его страница, въ свѣтѣ яркихъ словъ,
Услада лучшихъ избранныхъ умовъ,
Свернется пусть, до нѣжныхъ дней, грядущихъ,
До дней наградъ, изысканнаго ждущихъ.
Умъ, тонкость, добродѣтель, знаній лучъ,
Все, чѣмъ нашъ міръ, что въ скукѣ такъ тягучъ.
Быть можетъ сдѣланъ свѣтлымъ наслажденьемъ,
Въ Хорэсѣ Смитѣ слито единеньемъ.—
За исключеньемъ нѣсколькихъ, о комъ
Теперь мы рѣчь пока не поведемъ,
Чтобъ вамъ не надоѣсть,— вотъ всѣ, кого мы
Оцѣнимъ,— съ кѣмъ мы въ Лондонѣ знакомы.
Отъ нихъ я мысли отзываю прочь,
И васъ теперь зову взглянуть на ночь.

Какъ губка наполняется водою,
Такъ воздухъ міра лунной красотою
Исполненъ. Поглядите: міръ чудесъ!
Плѣнителенъ бездонный сводъ небесъ,
Замкнулась ли луна въ чертогѣ спящемъ,
И полночь звѣздамъ отдала блестящимъ,
Иль въ уменьшенной блѣдной красотѣ
Восходитъ по лазурной высотѣ.
Иль тучи надъ обратной глубиною
Плывутъ, влекомы вѣтерковъ струею,
И между ними быстро иногда
Мелькнетъ, упавъ, туманная звѣзда.
Въ томъ всюду красота и радость взглядамъ.
Но что еще увидите вы рядомъ?
Стоянка кэбовъ жалкая видна,
Какой-то дворъ, кирпичная стѣна,
На ней наклейки жалкихъ измышленій
Политиковъ, чей скуденъ тусклый геній:—
Иль, что еще похуже, подъ хмѣлькомъ
Отверженная, сторожъ съ ней вдвоемъ,
О низости своей, бранясь, не тужатъ,
Проклятья ихъ вамъ серенадой служатъ:—
Или Поллонья Генри, въ забытьи,
Твердитъ неизреченности свои.

Я вижу листья, зелень ихъ съ плодами,
Вкругъ темныхъ впадинъ, стебли тамъ корнями
Проникли въ глубь; сомкнутые цвѣты,
Въ росѣ, лелѣютъ сонныя мечты;
Тамъ дальше спятъ невыжатыя нивы,
И въ нихъ не дышутъ воздуха порывы:
Какъ рой крылатыхъ звѣздъ, и вверхъ, и внизъ,
Свѣтлянки мчатся, въ хороводъ сплелись,
Въ сіяніи луны они блѣднѣютъ,
Но въ сумракѣ деревьевъ ярко рдѣютъ,
Какъ маленькія солнца, иль какъ свѣтъ
Ручныхъ непотухающихъ кометъ,
Что, Млечный Путь покинувъ серебристый,

Семьею звѣздъ играютъ здѣсь лучистой.
Поетъ крестьянинъ, пѣсня мнѣ слышна,
Она вліяньемъ дали смягчена;—
И пѣнье птицы слышно въ отдаленьи,
Не соловья, но такъ воздушно пѣнье,
Что право я не знаю, въ этотъ часъ,
Какая жь птица услаждаетъ насъ:—
А тамъ все тихо:—Что же, выбирайте,—
Ну, Лондонъ иль Италія, рѣшайте.

Давайте, зиму вмѣстѣ проведемъ;
Я обѣщаюсь превратить мой домъ
Въ гробницу всѣхъ заботъ, глухой печали,
Всѣхъ сновъ дурныхъ, что раньше насъ терзали.
О, если бъ Гёнтъ, Пикокъ, и Хоггъ, и Смитъ,
Съ богатствами, что разумъ ихъ хранитъ,
Здѣсь были! Книги дали бъ намъ услады
Испаніи, Италіи, Эллады;
Недѣля за недѣлей, безъ конца,
Была бы сыномъ-двойникомъ отца,
Другъ съ другомъ бы они сходились вѣчно,
Какъ мало сходства, (въ чемъ вина, конечно
Не моего отца), межь мной и имъ.
И если мало мяса мы ѣдимъ,
И если мы не пьемъ вина,—веселья
У насъ не мало будетъ безъ похмѣлья;
Пить чай мы будемъ, будемъ ѣсть гренки,
Желе, варенье, кремы, пирожки,
Все то, что женщинъ нѣжитъ, услаждая,—
И будемъ философствовать, вкушая.
Зажжемъ дрова изъ Герцогскихъ лѣсовъ,
Въ крови у насъ не будетъ холодовъ.
И будемъ говорить,—не будемъ нѣмы,
Есть сложныя запутанныя темы;—
А что до нервовъ, если вы со мной,
Я ихъ лѣчить рѣшился кривизной
Различныхъ линій, параллелограма,
И конуса,—но только прочь отъ хлама

Терзаній ихъ,—и опій запрещенъ
Имъ будетъ, что давалъ имъ Геликонъ
Или Гимеръ;—такъ пріѣзжайте, право!
Что̀ Богъ, что̀ Дьяволъ! Намъ во всемъ забава
Возникнетъ, побѣдимъ мы зимній міръ,
Создавъ философическій нашъ пиръ;
Покуда почки нѣжнаго цвѣтенья
Не поторопятъ темныя мгновенья,
И возвѣстятъ, что ожилъ блескъ чудесъ:—
«На завтра къ новымъ травамъ, въ свѣжій лѣсъ!»

# 1820.

# ВОЛШЕБНИЦА АТЛАСА.

# КЪ МЭРИ,

(въ отвѣтъ на ея замѣчаніе, что данная поэма не содержитъ въ себѣ никакого человѣческаго интереса)

1.

Какъ, Мэри, значитъ ты уязвлена
Какимъ-нибудь журнальнымъ обозрѣньемъ
(Змѣя отравна, пусть мертва она):
Ты эту пѣснь встрѣчаешь осужденьемъ,
За то, что мной въ немъ повѣсть не дана.
Котенокъ можетъ прыгать съ наслажденьемъ,
Хотя бъ еще онъ не ловилъ мышей.
Итакъ, прими мой гимнъ, гдѣ сонмъ тѣней.

2.

Кто мошку съ шелковистыми крылами
Сотретъ за то, что, въ блескѣ красоты,
Она не возлетитъ надъ облаками,
Гдѣ лебедь пѣснь поетъ? О, нѣтъ, не ты!
Ты знаешь: вечеръ темными крылами
Свой скроетъ взоръ, блестящій отъ мечты, —
Она умретъ, погаснетъ упоенье
Улыбки, давшей жизнь ей на мгновенье.

3.

Смотри, у ногъ плѣнительныхъ твоихъ—
Видѣнье, полно нѣжнаго безсилья,
Оно, въ сверканьи красокъ огневыхъ,
Передъ тобою развернуло крылья,

Сводъ радуги—на небесахъ нѣмыхъ:
Но Солнце утомилось отъ усилья,
Ушло—Видѣнье умерло.- -О, да,
Все, что—мое, погаснетъ безъ слѣда.

4.

Какъ Вордсвортъ сообщаетъ намъ, онъ цѣлыхъ
Тягучихъ девятнадцать бился лѣтъ,
Чтобъ *Питеръ Белль* явился въ формахъ зрѣлыхъ:
Слезами лавры орошалъ поэтъ,
Ихъ корни въ адскихъ быть могли предѣлахъ.
А вѣтви запятнать небесный свѣтъ:
Возможно: и Земля, и Сводъ Небесный
Рѣшили- -прочь садовникъ неумѣстный.

5.

Волшебница, плѣнившая меня,
Не Руоь, и не Люси, о, нѣтъ, не дѣва.
Что разодѣлъ онъ—правнуковъ маня,
Но Питеръ можетъ зрѣть ее безъ гнѣва,
Хотя она рядилась лишь три дня.
Ей ловко въ платьи плавнаго напѣва,
А онъ, какъ дэнди, прямъ, и сухъ, и зрѣлъ,
Лохмотья Лира, кажется, надѣлъ.

6.

Снимите только съ Питера хламиду,
Предстанетъ парень съ адскихъ береговъ,
Сѣрнисто-желтый, молвить не въ обиду,
И очень мало годный для стиховъ,
Съ лица Отелло, Скоморохъ—по виду:
Когда же съ Фен снимете покровъ,
Съ васъ грѣхъ не сниметъ самъ первосвященникъ,
Разъ грѣхъ- любовь, и грѣшенъ нѣжный плѣнникъ.

## ВОЛШЕБНИЦА АТЛАСА.

1.

Предъ тѣмъ какъ два жестокихъ близнеца,
Которыхъ родила намъ Перемѣна,
Отъ Времени, отъ своего отца,
Предъ тѣмъ какъ появились, точно пѣна,
Обманъ и Правда, мрачныхъ два лица,
И скрылись чада свѣта, какъ изъ плѣна,—
На Атласѣ волшебница жила,
Въ пещерѣ, гдѣ ключи, и сонъ, и мгла.

2.

Одна изъ Атлантидъ ее вскормила.
Всевидящее Солнце, съ высоты,
Еще ни разу здѣсь не озарило
Такія безупречныя черты;
Та фея время въ нѣгѣ проводила,
Подъ теплой тѣнью нѣжной красоты:
И Солнце золотило сводъ пещеры,
И фея млѣла въ счастіи безъ мѣры.

3.

И говорятъ, что въ первый разъ она
Въ туманъ, потомъ въ одну изъ тучъ проворныхъ,
Вліяньемъ чаръ была превращена;
Межъ тучъ, что, вродѣ бабочекъ узорныхъ,
Вкругъ солнца вьются, легкой тѣнью сна
Она вилась: потомъ въ тѣснинахъ горныхъ

Была·какъ метеоръ; потомъ звѣздой
Она была межь Марсомъ и Землей.

4.

Мать Мѣсяцевъ ужь десять разъ склонила
Свой полукругъ близь утренней звѣзды,
И знаменья блистательнаго сила
Была понятна для морской воды,
Волна песокъ покорно бороздила,
Своей другая ждала череды,
Въ пещерѣ было теплое созданье,
Росистый блескъ замкнулся въ очертанья.

5.

То дивная красавица была,
Одѣтая въ сіянье упоенья:
Бездонная во взорахъ ночь жила,
Разлятость тучъ, ихъ бурное теченье:
Въ волнѣ волосъ--плѣнительная мгла,
Ее увидѣть только-- опьяненье:
Нѣжна была улыбка, а слова
Влекли къ ней всѣ живыя существа.

6.

Сперва пришла жирафа, въ темныхъ пятнахъ,
Потомъ явился мудрый смѣлый слонъ,
Затѣмъ змѣя, какъ бы въ сверканьяхъ латныхъ:
Ей каждый жадный звѣрь былъ прирученъ,
Предъ нею струй испивши благодатныхъ,
Они глядѣли ласково, какъ сонъ,
И стали смѣлы тѣ, въ комъ духъ трусливый,
Увидя ликъ столь властный и красивый.

7.

Къ ней львица привела пятнистыхъ львятъ,
Чтобъ научить ихъ, какъ имъ воздержаться
Отъ чувствъ, что въ нихъ убійственно горятъ:
И леопардъ, съ жестокостью разстаться

Рѣшивши, умягчилъ блестящій взглядъ,
И мускуламъ онъ не велѣлъ сжиматься;
Волшебнымъ кругомъ голоса и глазъ
Всѣхъ дикихъ въ Рай ввела она въ тотъ часъ.

8.

Пришелъ, тряся стеблями лилій, старый
Силенъ, пришли веселою толпой
Лѣсные боги, какъ полдневной чарой
Цикадъ согрѣтыхъ опьяненный рой:
За ними вслѣдъ явились дружной парой
Фавнъ и Дріопа, приставая—«Спой,
Силенъ, намъ пѣсню!» Вдругъ предъ ними—чудо,
Волшебница на камнѣ изумруда.

9.

И даже, говорятъ, Всемірный Панъ
Былъ тамъ, хотя никто не видѣлъ бога;
Но сквозь алмазъ глубокихъ горныхъ странъ,
Сквозь воздухъ, гдѣ безслѣдная дорога,
Сквозь души всѣхъ живыхъ, какъ сквозь туманъ,
Въ тиши глубокой вѣчнаго чертога,
Гдѣ бьется сердце міра, ощутилъ
Онъ фею, и угаданъ ею былъ.

10.

И каждая изъ свѣтлыхъ нимфъ потока
И всѣхъ густыхъ развѣсистыхъ вѣтвей,
Пастушки Океана, что широко
Ведутъ стада по зелени морей,
Самъ Океанъ сѣдой, чье странно око,
Пріапъ, съ капризной свитою своей,
Сойдясь, дивились, какъ могли здѣсь горы
Ее родить, и такъ плѣнить ихъ взоры.

11.

Сошлися пастухи. и дѣвы горъ,
И Гараманта грубые владыки,

Ихъ духъ былъ—какъ подъ бурею костеръ,
Пигмеи, Полифемы, видомъ дики,
Центавровъ и Сатировъ странный хоръ,
И, вродѣ глыбъ, безформенные лики,
Гдѣ грудь, тамъ глазъ, ни мертвый, ни живой,
Съ ногою птичьей, съ песьей головой.

12.

Она была прекраснѣй всѣхъ видѣній.
Міръ поблѣднѣлъ предъ этой красотой,
И каждый таялъ, точно образъ тѣни,
Къ ней приближаясь; каждый духъ живой
Забылъ о чарахъ прежнихъ упоеній,
О всемъ, что скрыто въ безднѣ міровой;
Вселенную забывъ, съ ея просторомъ,
Всѣ мысли шли къ ея глубокимъ взорамъ.

13.

Лишь фея увидала ихъ, она
За прялку сѣвъ, три нити закрутила
Изъ дымно-нѣжно-бѣлаго руна,
Три пряди свѣта, чья побѣдна сила,
И три луча тѣхъ звѣздъ, чей блескъ луна
Блѣднитъ, когда свой дискъ она явила,—
Всѣ нити сочетавъ, она сплела
Себѣ покровъ, и въ немъ свѣтла была.

14.

Пещера, съ ароматностью дыханья,
Была сокровищъ сказочныхъ полна,
Въ кристальныхъ кельяхъ свѣтлаго молчанья
Была тамъ тайныхъ звуковъ глубина,
Намъ въ юности поютъ ихъ сочетанья,
Та нѣжность—мнится, навсегда она,
Но не замѣтишь, какъ исчезнутъ звуки,
И чувства нѣтъ, и въ сердцѣ только муки.

15.

Какъ хризалиды, въ оболочкахъ, тутъ
Причудливыя нѣжились Видѣнья;
Чтобъ вырваться, иныя только ждутъ,
Въ другихъ—покой, восторгъ изнеможенья:
Къ святымъ, что на алтарь Любви кладутъ
Свой духъ, нести восторгъ—ихъ назначенье:
Рой бѣлыхъ, сѣрыхъ, черныхъ, цѣлый рядъ,
Велѣнье имъ—ея, хоть бѣглый, взглядъ.

16.

Была у ней и ароматовъ свита,
Въ питомникѣ Эдемовыхъ цвѣтовъ,
Сѣть изъ росы была имъ Сильфой слита,
Когда луна спала межь облаковъ;
И каждый, если дверь была открыта,
Скорѣй спѣшилъ на крыльяхъ изъ вѣтровъ,
Чтобъ въ душахъ, предназначенныхъ къ скитаньямъ,
То грусть будить, то ихъ склонять къ мечтаньямъ.

17.

Напитковъ нѣжныхъ влага, —свѣтлый сонъ,—
Въ сосудахъ сохранялась тамъ хрустальныхъ,
Больной могъ быть ихъ силой исцѣленъ,
И въ радость сновъ навѣки-безпечальныхъ
Мракъ смерти могъ быть ими превращенъ,
Кто плакалъ, счастье зналъ въ слезахъ кристальныхъ;
Когда бы человѣкъ отъ нихъ испилъ,
Онъ, говорятъ, навѣкъ бы счастливъ былъ.

18.

Въ пещерѣ не одинъ былъ странный свитокъ,
Сатурновскій ихъ создалъ Архимагъ,
Училъ онъ, какъ вернуть землѣ избытокъ,
Какъ побѣжденъ быть можетъ грѣхъ, нашъ врагъ,
Чтобъ стала скорбь—лишь слабый пережитокъ,
Земля была бъ не гибели очагъ,

И такъ-же въ жизни были бъ стройны люди,
Какъ звѣзды, что проходятъ въ вѣчномъ чудѣ.

19.

Они учили, какъ все то, что намъ
Является неукротимо-страстнымъ,
Способно быть покорнымъ—ихъ словамъ,
И заговору мудрости подвластнымъ:
Землѣ, Огню, и Морю, и Вѣтрамъ,
И Человѣку—въ мирѣ быть согласномъ
Они велятъ,— и тайны въ нихъ Любви,
Но ихъ непосвященный не зови.

20.

Изъ сущности безвѣстной изваянья
Тамъ были между дикихъ глыбъ камней:
Ея отца явилось въ нихъ вліянье,
Фіалы, въ яркомъ золотѣ лучей.
Рѣзныя лампы, каждое созданье
Цвѣтку подобно, въ красотѣ своей.
Изъ чаши чьей струится, спозаранокъ,
Подъ кинарисомъ, нѣжный блескъ свѣтлянокъ.

21.

Одна, вплоть до назначеннаго дня,
Жила она, ей слуги—мысли были.
То въ бурный вихрь, то въ быстроту огня
Они ее послушливо рядили,
То въ пѣну, что волна родитъ, звеня:
Такой ихъ властью боги надѣлили,
Что всѣ пространства, зримыя вдали,
Пересѣкать легко они могли.

22.

Къ ней Нимфы Океана, Орсады,
Наяды, съ волосами изъ стеблей,
Сошлись, ее прося имъ дать услады
Служить ей подъ землей, среди морей.

Въ скалахъ, въ пещерахъ, свѣжихъ отъ прохлады,
Въ сердцахъ деревьевъ, между ихъ корней,—
Лишь съ ней бы жить она имъ разрѣшила,
Быть спутницами яснаго свѣтила.

23.

«Нельзя, нельзя», отвѣтила она,
«Ключъ, гдѣ Наяды волосы купаютъ,
Изсякнетъ; разъ исчерпана весна,
Всѣ листья съ дуба на земь упадаютъ;
Какъ капля, испарится глубина,
Пучины Океана высыхаютъ;
Упорный центръ—разсѣется, какъ пыль,
И станетъ сказкой памятная быль.

24.

«И вы должны погибнуть вмѣстѣ съ ними;
Разъ я вздыхаю, думая о томъ,
Разъ плачу я, что Солнце, въ свѣтломъ дымѣ,
Взойдетъ надъ вашимъ траурнымъ холмомъ,
Быть не желайте сестрами моими,
Вы смертны, я полна безсмертнымъ днемъ,
Потоки, гдѣ живете вы, путями
Мнѣ будутъ—я прощаюсь нынѣ съ вами».

25.

И плакала сама отъ этихъ словъ:
Ключъ задрожалъ отъ влажныхъ трепетаній,
И образъ свѣтлыхъ маленькихъ кружковъ
Возникъ на кровлѣ въ видѣ очертаній;
Донесся хоръ печальныхъ голосовъ,
Какъ звонъ, какъ похоронный гимнъ рыданій,
Онъ отъ Видѣній этихъ исходилъ,
Ихъ рой ушелъ, но издали свѣтилъ.

26.

Волшебница весь день во мглѣ читала
Тѣ свитки, гдѣ невнятенъ смыслъ для насъ,

Иль по канвѣ поэму вышивала,
Таинственный возвышенный разсказъ,
Ея улыбка повѣсть облекала
Въ огонь, нѣжнѣй, чѣмъ день въ закатный часъ,—
И каждый мигъ въ поэзіи ростущей
Былъ новый смыслъ, сянье нѣжно льющій.

27.

А въ очагѣ пылали, пламень сливъ,
Сандалъ, камедь, и тонкія куренья:
Не знаютъ люди, какъ огонь красивъ,
Въ немъ, въ каждой вспышкѣ, цѣнные каменья
Горятъ, себя въ текучесть превративъ,
И всѣмъ, кто взглянетъ, будетъ наслажденье.
Но фея не видала тѣхъ огней,
Ткань ярче ихъ горѣла передъ ней.

28.

Та фея не спала, но, вся—мечтанье,
У струй лежала ночью, какъ во снѣ;
Сквозь водное зеленое сіянье
Ей ясно было видно въ глубинѣ,
Какъ пляшутъ звѣздъ небесныхъ сочетанья,
Свѣтлянки неба въ синей вышинѣ:
Недвижная, съ открытыми глазами,
Она слѣдила мыслью за мечтами.

29.

Когда же вихри, съ башенъ снѣговыхъ,
Сошли на землю, быстры и широки,
Она пришла, въ часъ нѣги рось ночныхъ,
Къ лужайкѣ, гдѣ свѣтились златоки,
Межь сосенъ, между кедровъ вѣковыхъ;
Тамъ ключъ зіялъ, и пурпуръ былъ въ потокѣ,
Онъ до краевъ и пѣнистъ былъ и алъ,
И берега цвѣтные заливалъ.

30.

Здѣсь отдыхала фея молодая,
Когда зима, подъ рокотъ звонкихъ струнъ,
Надъ влагой проносилась, намѣчая
На ней изображенья многихъ лунъ
И звѣздъ: змѣя, въ дремотѣ уползая,
Ползла и все дремала. А бурунъ
Межь тѣмъ гудѣлъ, и созерцала фея,
Какъ таялъ снѣгъ, надъ пурпуромъ бѣлѣя.

31.

Ладья была волшебная у ней;
Какъ говорятъ, Вулканъ звѣздѣ Венеры
Ее сковалъ, но не могла огней
Она вмѣстить той безпокойной сферы,
И Аполлонъ, для дочери своей
Ее купивъ, довелъ до той пещеры:
И колесница, отсвѣтъ звѣздъ струя,
Предстала, какъ легчайшая ладья.

32.

Другіе говорятъ, Любовь, играя,—
Она еще лишь три часа жила,—
Прыгнувъ за колыбель, и разсѣкая
Угрюмый Хаосъ золотомъ крыла,
Зерно, въ которомъ жизнь была нѣмая,
Какъ юный садоводъ, тайкомъ взяла,
И на звѣздѣ Венеры посадила,
Росой питала, за стеблемъ слѣдила.

33.

И вотъ окрѣпъ, зазеленѣлъ ростокъ,
Осыпался, какъ снѣгъ, расцвѣтъ растенья,
Плодъ, вродѣ тыквы, замѣнилъ цвѣтокъ,
Свѣтъ обращалъ въ свое онъ украшенье,
Помчался жилокъ вверхъ и внизъ потокъ,
Какъ кружева, возникли развѣтвленья,

Любовь въ ладью преобразила плодъ.
Толчокъ—и вкругъ Земли она плыветъ.

34.

Она плыветъ въ круженьи Океана,
И вотъ въ ключѣ ладья закрѣплена.
Духъ быстроты въ ней, но среди тумана
Лежитъ ручной пантерою она.
Одной изъ двухъ, что ждутъ у ногъ Эвана:
Какъ искра Весты, чарою полна.
Какъ мысль Гомера, въ свѣтлый мигъ созданья,
Ладья дремала, въ счастьи ожиданья.

35.

Потомъ, искусствомъ страннымъ дивно сливъ
Огонь и снѣгъ, звеномъ любви согласной
Она смѣсила ихъ въ одинъ порывъ:
Всѣ вещи слиты, если чарой страстной
Любовь въ нихъ; этотъ Образъ былъ красивъ,
И превзошелъ онъ нѣжностью прекрасной
Ту тѣнь, которой былъ Пигмаліонъ,
Влюбленный въ изваяніе, плѣненъ.

36.

То существо безполое, взростая,
Всѣхъ недостатковъ было лишено,
Но все, что въ двухъ полахъ живетъ блистая,
Все то, въ чемъ чары, было здѣсь дано.
Мужская сила, нѣжность женщинъ, тая,
Сливались, въ цвѣтѣ юности, въ одно:
Создай художникъ этотъ ликъ блаженный,
Онъ былъ бы вѣченъ въ грезѣ совершенной.

37.

Отъ гладкихъ плечъ шли въ воздухъ два крыла,
Маня въ лазурь, въ ея седьмые своды,
Текучесть быстрыхъ молній въ нихъ была,
Въ нихъ сочетались краски всей природы.

Она свое созданье привела
Къ ладьѣ, туда, гдѣ дивны были воды;
Вошли, она усѣлась у руля,
И плыли, зыбко влагу шевеля.

38.

Межь струй потоковъ, разсѣкавшихъ горы,
Они поплыли возлѣ островковъ,
Тамъ, гдѣ лѣса сплетаются въ узоры,
Роняя ароматъ своихъ цвѣтовъ,
Межь снѣжныхъ горъ, что услаждаютъ взоры
Пирамидальнымъ скатомъ изо льдовъ,
Подъ свѣтомъ звѣздъ въ лазури обагренной,
Среди пещеръ, гдѣ мракъ зіялъ бездонный.

39.

День серебристый слабо упадалъ
На этотъ долъ, какъ вечеръ золотистый
Среди вѣтвей косымъ лучомъ блуждалъ,—
Блескъ свѣтляковъ идетъ такъ въ сумракъ мглистый
Изъ лиліи, раскрывшей свой фіалъ,
Когда погасъ на небѣ день лучистый;
Въ выси, среди разъединенныхъ горъ,
Виднѣлся неба выгнутый узоръ.

40.

Пока они такъ плыли надъ волнами,
Тотъ Образъ, полный тайной глубины,
Лежалъ съ непробужденными глазами,
Тревожные надъ нимъ играли сны,
Какъ мошки лѣтомъ, гнались за мечтами,
Дышали, точно тихій вздохъ весны,
Грусть пробуждали въ этомъ сердцѣ полномъ,
Въ умѣ, кипѣвшемъ мыслью, хоть безмолвномъ.

41.

Ладья плыла вдоль склона, все впередъ,
Какъ тучка, вѣтерка принявъ теченье,

То медля на прудкахъ, гдѣ сумракъ льетъ
Въ ихъ глубину дремотность упоенья.
То между бѣлыхъ неглубокихъ водъ,
Что пляшутъ надъ пескомъ отъ восхищенья,
Такъ мелокъ былъ нерѣдко здѣсь порогъ,
Что смертный челнъ здѣсь плавать бы не могъ.

42.

И внизъ по водопадамъ громогласнымъ,
Что снѣгъ бросаютъ въ воздухъ золотой,
По пропастямъ, безмѣрнымъ и ужаснымъ,
Что служатъ имъ гробницею глухой,
Покуда не прорвутъ въ порывѣ страстномъ
Они проходъ вскипѣвшею водой,
Ладья неслась, и радуги-громады
Свѣтили въ срывахъ пѣны, какъ лампады.

43.

Когда по лабиринту тѣхъ долинъ
Къ горамъ стремилась фея сокровеннымъ,
Она вскричала громко: «Андрогинъ!»—
И тусклый мракъ, въ чьихъ чарахъ взоръ былъ плѣнъ
Ушелъ, и блескъ царилъ, какъ властелинъ,
Въ немъ волшебствомъ играя перемѣннымъ,
Тѣнь съ глазъ ушла въ глубь водъ, въ темнѣвшій ключъ
Какъ внизъ подъ холмъ уходитъ тѣнь отъ тучъ.

44.

И Ликъ взмахнулъ крылами золотыми,
Блескъ пятенъ огнезвѣздныхъ промелькнулъ
На глади водъ, и, точно въ яркомъ дымѣ,
До высренихъ предѣловъ свѣтъ взметнулъ,
Въ немъ съ хлопьями воздушно-снѣговыми
Весенній изумрудъ, дрожа, сверкнулъ,
И лунный свѣтъ, что иней проницаетъ,
Когда морозъ на иглахъ хвой мерцаетъ.

45.

Движеніемъ эоирныхъ крыльевъ онъ
Развѣялъ Элизійскій воздухъ, нѣжный,
Которымъ образъ феи окруженъ,—
И какъ звѣзда летитъ въ ночи безбрежной,
Иль какъ орелъ, что, солнцемъ озаренъ,
Влетаетъ въ вихрь, надъ тучей бѣлоснѣжной,
Какъ веслами, ладью онъ устремилъ
Къ ключамъ верховнымъ, къ бѣшенству ихъ силъ.

46.

Вода зажглась, какъ отблескъ метеорный,
Ея теченье искрами зажглось.
Спокойный воздухъ въ той пустынѣ горной
Сверкнулъ, и внизъ теченье понеслось.
У феи, подъ волной вѣтровъ упорной,
Горѣлъ огонь разметанныхъ волосъ,
И, пѣнясь, волны быстрый киль встрѣчали,
И негодуя бились, и рычали.

47.

Когда была ущербною луна,
Иль въ средоточье ночи междулунной,
Волшебница, подъ дивной чарой сна,
Плыла, и звѣздный дождь, какъ трепетъ струнный,
Свѣтилъ; сказала Призраку она,
Чтобъ онъ, чей взмахъ быстрѣй, чѣмъ взмахъ бурунный,
Тамондоконы миновалъ предѣлъ,
Чтобъ къ Австралійскимъ онъ морямъ летѣлъ.

48.

Тамъ, точно лугъ, что между горъ окружныхъ,
Грозы не зналъ, былъ незнакомъ съ косой,
Затонъ былъ, въ немъ узоръ созвѣздій Южныхъ,
Канопъ съ своей семьею золотой;
Здѣсь гавань между волнъ его жемчужныхъ
Она изъ мглы скрѣпила кружевной,

Въ ней башни тучекъ были бастіономъ.
Для шторма. пролетавшаго со звономъ.

49.

Въ той гавани. въ бездонной глубинѣ.
Дрожали звѣздъ нѣмые караваны:
Утесами вздымаясь къ вышинѣ.
Тяжелые кругомъ легли туманы.
И. точно царство горъ въ ихъ зимнемъ снѣ.
Провалами исполненныя страны.
Пещеры, бухты, межь сѣдыхъ стремнинъ.
Гдѣ не былъ изъ живущихъ ни одинъ.

50.

И въ часъ, когда, какъ раненыя, воды
Свирѣпый вихрь бичомъ своимъ хлесталъ.
И градъ ихъ. въ дикомъ воѣ непогоды,
Взрывалъ, какъ бы камнями, и взметалъ.
И какъ пятно чернильное природы
Бакланъ обрывкомъ дыма трепеталъ.
Та гавань, точно камень драгоцѣнный.
Была какъ сводъ Небесъ безпеременный.

51.

Здѣсь фея рѣзвымъ играмъ предалась.
Свою ладью повсюду направляя,
Вкругъ образа падучихъ звѣздъ кружась.
Такъ, антилопъ проворныхъ обгоняя,
На берегахъ Гидаспа тигръ не разъ
Носился, какъ она неслась, играя.
Пока съ востока не взошла луна,
Какъ женщина тоскливая, блѣдна.

52.

Тогда изъ облаковъ, изъ ихъ узора,
Изъ башенокъ ихъ призрачныхъ, какъ сонъ.
Она призвала духовъ, радость взора,
Пришелъ за милліономъ милліонъ,

Покорно каждый знамя метеора
Несъ, бѣлый, желтый, алый, легіонъ,
И на затонѣ, численны безъ мѣры,
Раскинулись шатры изъ атмосферы.

53.

Для Королевы царственный шатеръ
Изъ вытканныхъ воздвигся испареній,
Какъ будто мозаическій соборъ,
Слоновой кости, полонъ отраженій
Отъ алыхъ шелковъ; тамъ и сямъ узоръ
Росы вечерней падалъ на ступени,
И былъ коверъ надъ уровнемъ волны,
Изъ мглы, окрашенъ въ цвѣтъ лучей луны.

54.

И на престолѣ, яркомъ отъ сверканій
Съ пловучихъ острововъ росы ночной,
Которыхъ не разрушатъ даже грани
Высокихъ горъ, она съ своей толпой
Внимала всѣмъ словамъ повѣствованій,—
Что было межь землею и луной,
Съ послѣдней встрѣчи ихъ,—и то блѣднѣла,
И то смѣялась звонко, веселѣла.

55.

Жила въ забавахъ.—Лѣстницей крутой
Нестройныхъ тучекъ, къ самой ихъ вершинѣ,
Взбиралась ввысь, до мыса тучъ, съ ихъ мглой,
Подобно Аріону на дельфинѣ
Носилась по воздушности нѣмой,
И пѣла, и въ безбрежной той пустынѣ
За молніей излучистымъ путемъ
Гонялась, хохотала, слыша громъ.

56.

Порой она блуждала въ томъ теченьи,
Въ томъ воздухѣ, что землю навсегда

Сопутствуетъ въ дневномъ ея вращеньи.
Просила допустить ее туда
Гѣхъ духовъ, что проводятъ время въ пѣньи.
И смертнымъ снился въ небѣ свѣтъ тогда,
И музыка, что слишкомъ рѣдко снится,
И слишкомъ обольстительна, чтобъ длиться.

57.

Всего жъ пріятнѣй было для нея
Скользить въ часъ сна по старымъ водамъ Нила,
Гдѣ чрезъ Египетъ онъ струитъ свое
Теченье,—гдѣ какъ темная могила
Страны Эоіопійской забытье,
Отъ Аксума до мѣстъ, гдѣ млѣетъ сила
Волнъ среброрунныхъ, городовъ, ихъ плитъ,
И храмовъ, и высокихъ пирамидъ.

58.

Ей нравилось бродить близъ водъ Мареи,
Мареотиды; тамъ среди воды
Ростутъ, блѣднѣя, стройныя лилеи;
На нѣжныхъ водахъ мощные слѣды
Огромныхъ формъ: ручныя видны змѣи,
На нихъ нагія дѣти; свѣтъ звѣзды;
Спитъ Лабиринтъ за мѣдными дверями,
Спятъ люди, звѣри: Озирисъ —съ ихъ снами.

59.

Гдѣ тѣни храмовъ приняла вода,
И каждый мигъ дрожатъ ихъ вереницы.
Отъ каждой тучки смерти ждутъ всегда,
И гдѣ каналы, лотосы, и птицы,
Гдѣ дѣлъ людскихъ различна череда,
Гдѣ капища, и башни, и гробницы,—
Вездѣ она, подъ сѣнью мглы ночной.
Блуждая услаждала разумъ свой.

60.

Какъ вѣтеръ тотъ, чье легкое движенье
Лишь укрѣпляетъ глуби зыбкихъ сновъ,
Черезъ людскія шла она селенья,
Внушая сны,—межъ храмовъ и дворцовъ,
По лабиринтамъ, чье уединенье
Подъ Ниломъ, далеко отъ облаковъ,
Вьетъ сѣть подземныхъ улицъ; въ разныхъ зданьяхъ
Ей зрѣлся ликъ людей въ ночныхъ мечтаньяхъ.

64.

О, видѣть перемѣну безъ конца,
Сны смертныхъ, это радость, всякій знаетъ!
Вотъ двѣ сестры, два чада-близнеца;
Вотъ юноша, одинъ, во снѣ рыдаетъ;
Два любящихъ, здѣсь нѣженъ свѣтъ лица,
И ткань волосъ обоихъ ихъ сплетаетъ,
Какъ плющъ густой вкругъ одного ствола;
Старикъ, сѣдой, спокойный, чуждый зла.

62.

Но также и другія сновидѣнья,
Мятежныя, увидѣла она,
Имъ нѣтъ въ священной пѣснѣ отраженья,
Ихъ судорога мерзкая страшна,
Страхъ казни сверхприродной, голосъ тлѣнья,
Законовъ незаконныхъ пелена,
«Вотъ эта-то борьба», сказала фея,
«Людскую жизнь взметаетъ, тяготѣя».

63.

Но не смутилъ волшебницу тотъ видъ.
Мы, слабые пловцы въ морскихъ равнинахъ,
Плывемъ вездѣ, гдѣ гулъ волны гремитъ,
Мы безъ руля, безъ звѣздъ, плывемъ въ пучинахъ,
Къ безвѣстной цѣли насъ судьба стремитъ,—
Ея же путь—въ безтрепетныхъ глубинахъ,

Гдѣ рой безсмертныхъ ликовъ такъ красивъ,
Куда не вноситъ зыбь свою приливъ.

64.

Въ сіяніи каменій, въ сонныхъ чарахъ,
Царевичей увидѣла она;
Священниковъ, въ церковныхъ дортуарахъ,
Похожи всѣ, и участь ихъ одна;
Крестьянъ въ лачугахъ жалостныхъ и старыхъ;
И въ бухтѣ,—гдѣ баюкаетъ волна,—
Матросовъ; и въ тиши могильной—мертвыхъ,
Безъ сновъ, въ гробахъ, рядами распростертыхъ.

65.

Всѣ формы видѣть было ей дано,
Въ которыхъ эти духи мирно спали,
Очарованье было сплетено
Вкругъ нихъ, какъ ткань, какою облекали
Красавицы себя не разъ—одно
Скрывая: что красоты не скрывали;
Но эти духи, въ чарѣ сновъ своихъ,
Не думали, что фея видитъ ихъ.

66.

Какъ на живыхъ, смотрѣла взоромъ ласки
Волшебница на эти тѣни сна,
Незримыя ей видны были краски,
Предъ ней душа была обнажена,
И часто сквозь изношенныя маски
Красивый образъ видѣла она,—
Беззвучно прошептавши заклинанье,
Тотъ духъ съ своимъ влекла она въ сліянье.

67.

Чего бы ты, Аврора, не дала
За талисманъ такой, когда сѣдины
Возникли у Тифона? Чтобы зла
Избѣгъ твой Адонисъ отъ Прозерпины,

Венера, ты бъ охотно отдала
Серебрянаго неба всѣ долины!
Но тайны, феѣ вѣдомой вполнѣ,
Не вѣдала Эллада въ свѣтломъ снѣ.

68.

Молва идетъ, что духъ тотъ благородный
Позднѣй, узнавъ любовь, коснулся зла,
Но до Эндиміона,—призракъ сродный,—
Діана не безстрастнѣе была;
Какъ остается межь цвѣтовъ свободной,
Касаясь ихъ, безполая пчела,
Такъ вольно проходила, сномъ прекраснымъ,
Межь смертныхъ формъ, та дѣва съ ликомъ яснымъ.

69.

Тѣмъ, кто ея плѣнилъ особо взоръ,
Въ хрустальной чашѣ пить давала фея
Чудесное питье. И съ этихъ поръ
Какъ будто власть какая-то, сильнѣе,
Чѣмъ жизнь сама, вводила ихъ въ узоръ
Волшебныхъ грезъ; когда же смерть, лелѣя
Ихъ сонъ, скрывала ихъ во тьмѣ могилъ,
Рой звѣздъ-цвѣтовъ межь травъ дышалъ и жилъ.

70.

Въ ту ночь, какъ ихъ свершалось погребенье,
Все, что бальзамировщикъ разрушалъ,
Въ ея рукахъ встрѣчало возрожденье,
И въ траурныхъ лампадахъ свѣтъ сверкалъ.
И, развернувъ узорныя сплетенья,
Въ которыхъ, какъ въ пеленкахъ, трупъ лежалъ,
Отъ узъ его она освобождала,
И гробъ его съ презрѣньемъ въ ровъ бросала.

71.

И годы тѣло такъ лежало тамъ,
Безмолвное, но теплое, съ біеньемъ,

Съ дыханьемъ, -точно кто, предавшись снамъ,
Притихъ, и, отвѣчая сновидѣньямъ,
Дрожатъ рѣсницы, нѣтъ конца мечтамъ,—
Что̀ жизнь, что̀ смерть, съ ихъ вѣчнымъ измѣнен
Межь тѣмъ какъ, быстрый, жадный, родъ людской
Еще, еще нарядъ мѣняетъ свой.

72.

Въ умы, что были менѣе прекрасны,
Причудливые вписывала сны,
И дѣлались уродства ихъ напрасны,
И лихоимецъ, чьи всегда полны
Карманы,—къ нищетѣ не безучастный
Вставалъ, и барыши ему смѣшны
Казались, онъ былъ щедръ, и, безъ оглядки,
Лжецъ, ложь свою раскрывъ, не жаждалъ взятки.

73.

Переводя на Греческій языкъ
Гіероглифы, всѣмъ жрецы сказали,
Что Аписъ былъ не богъ, а просто быкъ,
И это объясненье приказали
Прибить на храмахъ, чтобъ любой проникъ
Въ ту истину, достойную скрижали:
Быть разрѣшили вольными въ рѣчахъ
О ястребахъ, и кошкахъ, и гусяхъ.

74.

Царь обезьяну посадилъ въ узорныхъ
Одеждахъ на достойнѣйшій свой тронъ,
И птицей-пересмѣшникомъ всѣхъ вздорныхъ
Ея рѣчей былъ лепетъ повторенъ.
И, подползая, каждый изъ придворныхъ,
Величіемъ властителя плѣненъ,
Лобзать стремился царственныя ноги...
Лобзанія подобныя суть многи!

75.

Солдатъ себя увидѣлъ кузнецомъ,
И вотъ, какъ въ лунатическомъ недугѣ,
Солдаты собрались передъ огнемъ,
Оружье перековывали въ плуги,
Какъ бы Циклопы въ множествѣ своемъ;
Тюремщики всѣмъ тѣмъ, что въ тѣсномъ кругѣ
Томились, дали прочь уйти, въ Мемфисъ,
Хоть недоволенъ царь былъ, Амазисъ.

76.

Любовники, что были боязливы
И врядъ ли знали, любятъ или нѣтъ,
Вставъ съ ложа, были сладостно счастливы;
На завтра же, дневной увидѣвъ свѣтъ,
Краснѣли другъ предъ другомъ, и, стыдливы,
Мечтали—это сонъ, и въ снѣ обѣтъ;
И каждый заблужденьемъ жилъ объятый—
До проблесковъ лучей луны десятой.

77.

И Фея не хотѣла, чтобы имъ
Какое-нибудь встрѣтилось страданье.
Изъ разныхъ плановъ задалась однимъ,
Ихъ въ брачное сліяла сочетанье.
Друзей, что клеветой,—чей духъ, какъ дымъ,
Слѣпитъ, разъятыхъ точно мглой изгнанья,
Соединила мыслями о томъ,
Какъ каждый былъ согрѣтъ и жилъ въ другомъ.

78.

Такъ вотъ какъ забавлялась эта Фея
Средь городовъ, гдѣ дышетъ сонмъ людей;
А какъ она, семьей боговъ владѣя,
Велѣла имъ служить мечтѣ своей,
О томъ разсказъ я поведу позднѣе,
Для зимнихъ зачарованныхъ ночей
Онъ больше годенъ, чѣмъ для полдня лѣта.
Когда лишь въ явность вѣримъ, въ царствѣ свѣта.

1821.

# ЭПИПСИХИДІОНЪ.

# ЭПИПСИХИДІОНЪ.

Стихи, посвященные благородной и несчастной лэди, Эмиліи В., нѣ заточенной въ монастырь св. Анны, въ Пизѣ.

L'anima amante si slancia fuori de l creato, e si crea nel infinito un Mondo tutto per essa, diverso assai da questo oscuro e pauroso baratro.

Любящая душа устремляется за предѣлы созданнаго, и создаетъ, себѣ въ безконечности Міръ, всецѣло ей одной принадлежащій, и совершенно отличный отъ этой темной бездны, полной ужасовъ.

*Ея собственныя слова.*

# ПРЕДИСЛОВІЕ.

Авторъ нижеслѣдующихъ стиховъ умеръ во Флоренціи, въ то время какъ онъ приготовлялся къ путешествію въ одну изъ самыхъ дикихъ мѣстностей; онъ пріобрѣлъ ее въ собственность, возстановилъ руины стариннаго зданія, и надѣялся осуществить здѣсь схему жизни, быть-можетъ, согласную съ тѣмъ лучшимъ и болѣе счастливымъ міромъ, гдѣ онъ теперь, но врядъ-ли осуществимую въ этомъ. Его жизнь была необычна, не столько въ силу романтическихъ превратностей, ее отличавшихъ, сколько въ силу идеальной окраски, которую ей придали его характеръ и чувства. Настоящая поэма, такъ же какъ *Vita Nuova* Данте, въ достаточной степени понятна для извѣстнаго класса читателей— и безъ ознакомленія съ ея фактической основой: для другого извѣстнаго класса читателей она вѣчно будетъ непонятна, благодаря отсутствію общаго органа для воспріятія мыслей, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь. Но во всякомъ случаѣ, «да будетъ стыдно тому, кто, воспѣвая что-нибудь подъ покровомъ образа, или риторическихъ украшеній, и будучи спрошенъ, что̀ это значитъ, не сумѣлъ бы совлечь съ своихъ словъ это одѣяніе настолько, чтобы обнаружился ихъ истинный смыслъ». (Gran vergogna sarebbe a colui, che rimasse cosa sotto veste di figura o di colore rettorico: e domandato non sapesse denudare le sue parole da cotal veste, in guisa che avessero verace intendimento *Dante*).

Настоящая поэма, согласно замыслу автора, должна была повидимому, являться только посвященіемъ къ другой, болѣе обширной. Стихотворный отрывокъ, помѣщенный на слѣдующей страницѣ представляетъ изъ себя почти дословный переводъ знаменитой канцоны Данте:

Voi, ch'intendendo, il terzo ciel movete, etc.

Притязательное примѣненіе заключительныхъ строкъ къ собственному произведенію, которое дѣлаетъ мой несчастный другъ, можетъ вызвать улыбку: пусть это будетъ улыбка не презрѣнія, а состраданія.

*Шелли.*

***

*Мой Гимнъ. я полонъ опасенья,*
*Что мало кто тебя, какъ слѣдуетъ, поиметъ.—*
*Въ тебѣ такъ много думъ и тайнаго значенья.*

*Ты въ темномъ ульѣ скрытый медъ.*
*Но, если ты придешь случайно*
*Къ тому, кто холодно посмотритъ на тебя,*
*Упьешься, будь собой, мистическая тайна,*

*Живи всецѣло для себя.*
*Что значитъ для тебя чужихъ непониманье?*
*Заставь ихъ увидать, что въ ихъ душѣ темно,*
*И вынуди у нихъ признанье,*
*Что ты и красота—одно!*

О, нѣжный Духъ! Сестра той сироты,
Чье царство только въ имени условномъ!
Въ душѣ влюбленной, въ храмѣ безгрѣховномъ
Сплетаю я поблекшіе цвѣты.
Прими гирлянды розъ обѣтованныхъ,
Воспоминаній блѣдныхъ и туманныхъ.

О, птичка! Бѣдный плѣнный Соловей!
Ты плачешь въ клѣткѣ. Вздохъ тоски твоей
Такъ сладокъ, такъ плѣнителенъ для слуха.
Что могъ бы и тюремщиковъ смягчить,
Когда бъ ихъ сердце не было такъ глухо.
Пусть этихъ словъ измѣнчивая нить
Для глазъ твоихъ сплетается букетомъ:
Они, мерцая, свѣтятъ Соловью;
Хотя они горятъ померкшимъ свѣтомъ,
Въ нихъ нѣтъ шиповъ, чтобъ ранить грудь твою.

Ты, Сердце, окрыленное стремленьемъ!
Надъ жизнью повседневной и тупой
Парила ты заоблачнымъ видѣньемъ.
Теперь же, оскорбленная судьбой,
Ты тратишь безполезныя усилья,
Ты бьешься въ мертвомъ царствѣ душной тьмы,
О жесткую рѣшетку ранишь крылья,
Пятнаешь нѣжной кровью сводъ тюрьмы,
Я плачу, я къ тебѣ свой взоръ склоняю,
Хочу помочь, и какъ помочь, не знаю.

О, Духъ, небеснымъ призракамъ родной,
Сверхчувственная нѣжность Серафима,

Ты скрыла въ формѣ Женщины земной
Все, что въ тебѣ для глазъ невыносимо
По яркости, любви, и чистотѣ,
И пламенно-безсмертной красотѣ!
Ты Славы блескъ во мракѣ безконечномъ!
Святая Благодать въ Проклятьи вѣчномъ!
Луна превыше Тучъ! Къ Добру Ступень!
Звѣзда надъ Бурей! Въ Царствѣ Смерти—День!
Ты Лучъ, что гаснетъ, еле обнаружась!
Ты чудный Сонъ ты Красота, ты Ужасъ!
Гармонія Природы! Жизнь Мечты!
Ты Зеркало, въ которомъ всѣ черты,
Всѣ формы блещутъ свѣтомъ отраженнымъ,
Все дышетъ и живетъ преображеннымъ!
А! Даже эти тусклыя слова,
Которыми тебя я затемняю,—
Съ тобой соприкасаяся едва,
Блестятъ нежданно,—что̀ со мной, не знаю,
Въ себѣ самомъ я чувствую зарю,
Какъ молнія, сверкаю и горю.
Молю: взгляни безсмертными глазами
На этотъ гимнъ любви, на вздохъ больной,
Росой священной, чистыми слезами
Омой его отъ всей тщеты земной,
Рыдай надъ нимъ рыданіемъ кипучимъ,
Пока не станетъ скорбь восторгомъ жгучимъ,
Тогда взгляни съ улыбкой на него,
И онъ навѣкъ останется пѣвучимъ,
Вкусивши отъ безсмертья твоего.

Не смѣлъ я ждать подобнаго блаженства,
Не думалъ, что увижу наяву
Тотъ сонъ, которымъ съ юности живу,
Такое воплощенье совершенства.
И я не въ царствѣ смерти? Я не сплю?
Эмилія! Люблю тебя! Люблю!
Я знаю, что мишурными словами
Никто не освятитъ моей любви,

Но ты сама ее благослови.
О, если бы мы были близнецами,
О, если бъ ты была сестрою той,
Кто также свѣтитъ нѣжной красотой,
Кому я отдалъ сердце! Если бъ сила
Моей любви могла васъ вмѣстѣ слить,
Какъ два луча единаго свѣтила!
Но я не знаю, какъ мнѣ говорить,
Какъ выразить всю преданность, всю нѣжность,
Любви къ тебѣ кипучую безбрежность!
Я твой во всемъ, что чувствую любя.
О что̀ я! Нѣтъ, не твой: я—часть *тебя*.

Лампада ночи! Духъ мой неумѣлый,
Стремясь къ тебѣ, какъ жадный мотылекъ,
Въ любви своей безумной крылья сжегъ.
А то запѣлъ бы я какъ лебедь бѣлый,
Когда онъ видитъ смерть. О, такъ любя,
Я жить въ вѣкахъ заставилъ бы тебя!
Скажи, не рождена-ли ты для счастья
Любить и быть любимой навсегда?
Вѣдь ты во тьмѣ вражды—огонь участья?
Вѣдь ты одна недвижная Звѣзда
Среди Небесъ, исполненныхъ движенья?
Ты нѣжный вздохъ средь криковъ раздраженья?
Блаженства гармоническій языкъ?
Особый міръ, гдѣ все необычайно?
Еще никѣмъ не познанная тайна?
Запечатлѣнный сладостный родникъ?
Прибѣжище, Восторгъ, Уединенье?
Святая Лютня, чей нѣвучій звукъ
Отъ черныхъ думъ, отъ самыхъ горькихъ мукъ
Даетъ бальзамъ цѣлебнаго забвенья?
Я цѣлый міръ фантазій прохожу,
Но всюду, вмѣсто свѣтлаго сравненья,
Лишь собственную слабость нахожу.

На жизненномъ пути средь жесткихъ терній
Она ко мнѣ, Чужому, подошла,

И нѣжно къ сладкой Смерти увлекла.
Смѣнился яркимъ Утромъ часъ Вечерній,
Печаль смѣнилась мирной Тишиной,
Зима, уснувъ, проснулася Весной.
Когда газель, прислушавшись пугливо,
Застынетъ вся, какъ будто въ чарахъ сна,
Она не такъ воздушна и красива,
Она не такъ плѣнительно-нѣжна.
Когда Луна въ безвѣтренномъ пространствѣ
Сквозь облако проходитъ, неспѣша,
Она не такъ свѣтла въ своемъ убранствѣ,
Какъ въ этомъ тѣлѣ свѣтлая душа.
Ея уста съ улыбкою румяной
Какимъ-то страннымъ ропотомъ полны,
Какъ чашечки цвѣтовъ росой медвяной
Въ сіяньи опьяняющей весны.
И эти звуки будятъ вздохъ отвѣтный,
И кажутся туманной сказкой мнѣ,
Какъ дальній трепетъ музыки планетной,
Услышанной въ безумно-сладкомъ снѣ.
Въ глазахъ безсмертныхъ пляшутъ духи свѣта,
Безмолвная сверкаетъ глубина,
И тщетно разумъ ищетъ въ нихъ отвѣта,
И тонетъ чувство, тщетно ищетъ дна.
И таетъ воздухъ, дышетъ напряженно
Единымъ вездѣсущимъ Божествомъ,
И шепчетъ, проникаяся влюбленно
Ея движеньемъ, свѣтомъ, и тепломъ.
И какъ по высямъ горъ воздушно-снѣжнымъ
Скользитъ румянцемъ юная заря,
Такъ въ этомъ тѣлѣ, женственномъ и нѣжномъ,
Краснѣетъ кровь, о жизни говоря.
Воздушныя трепещутъ очертанья.
Стремясь уйти на лоно Красоты,
Что льетъ вездѣ, во все, свое сіянье,
Чуть видное отъ высшей чистоты.
Одежды теплымъ дышутъ ароматомъ.
Живетъ волна распущенныхъ кудрей,

Озарены немеркнущимъ закатомъ,
Они горятъ въ объятіяхъ лучей.
И если прядь одна освободится,
Струей отдѣльной въ воздухѣ блеснетъ,
Влюбленный вѣтеръ вкругъ нея томится,
Къ любимицѣ блестящей нѣжно льнетъ.
Смотри! Она стоитъ, и въ формѣ смертной
Ты видишь свѣтъ, и жизнь, и божество,
Ты видишь образъ пламенно-безсмертный,
Блаженства сверхземного торжество.
То высшій Свѣточъ, кормчій третьей сферы,
Предѣлъ всего, чѣмъ живо наше «я»,
То сонъ, что выше разума и мѣры,
Владыка волнъ тяжелыхъ бытія.

О горе мнѣ! На что дерзнулъ я? Горе!
Куда я поднялся? Куда идти?
О, какъ мнѣ быть теперь въ такомъ просторѣ,
И какъ опять на землю путь найти?
Любовь равняетъ всѣхъ. Любя упорно,
Я въ сладость этой истины проникъ:
Я знаю, что червякъ подъ глыбой дёрна,
Любя, въ своей любви, какъ Богъ великъ.

Сестра! Супруга! Ангелъ! Свѣтъ надъ бездной!
Звѣзда ладьи, чей путь во тьмѣ беззвѣздной
Былъ такъ угрюмъ! Хочу тобой дышать.
Ты слишкомъ поздно стала мной любима,
Я слишкомъ скоро началъ обожать,
Тебя, мой кормчій, призракъ серафима.
Тебя я долженъ былъ бы повстрѣчать
Впервые тамъ, въ заоблачномъ пространствѣ,
Въ поляхъ безсмертья, въ свѣтлой полумглѣ,
Божественность въ божественномъ убранствѣ.
Тебя я долженъ былъ бы на землѣ
Сопровождать отъ самаго рожденья,
Какъ тѣнь дрожать, склоняясь и любя,
Горѣть тобой и жить, какъ отраженье.

Не какъ теперь: о, я люблю тебя!
Я чувствую въ своей душѣ влюбленной
Родникъ запечатлѣнныхъ чистыхъ водъ;
Онѣ трепещутъ жизнью полусонной,
И для тебя проснутся въ свой чередъ.
Не созданы ли мы съ тобою оба,
Чтобъ слиться здѣсь въ единое звено,
Рука съ рукой идти до двери гроба?
И развѣ намъ, скажи, не суждено
Предстать четой двухъ звуковъ гармоничныхъ,
Живущихъ внѣ вражды, хотя различныхъ,
Исполниться дыханьемъ красоты,
Въ сліяніи восторженномъ и гордомъ
Звучать такимъ магическимъ аккордомъ,
Чтобъ, слыша насъ, всѣ духи, какъ листы
Подъ вѣтромъ безпрерывнымъ, трепетали,
Подъ блескомъ звуковъ бились и блистали!

Твой мудрый умъ живетъ въ моихъ словахъ,
Въ моей душѣ ты будишь дерзновенье,
Велишь зажечь маякъ на тѣхъ скалахъ,
Что вѣчно были мѣстомъ преткновенья
Для лучшихъ благороднѣйшихъ умовъ.
Я не былъ никогда въ числѣ рабовъ,
Я не былъ членомъ секты многолюдной,
Гдѣ каждый долженъ выбрать для себя
Подругу или друга доли скудной,
И жить вдвоемъ любя и не любя,
Изъ долгой жизни сдѣлать умиранье,
Другихъ же,—пусть на нихъ добра печать.—
Изгнать изъ узкой сферы обожанья,
И цѣлый міръ забвенію предать.
И такъ идти избитыми путями
И каждый день предъ тусклымъ очагомъ
Томиться съ другомъ, скованнымъ цѣпями,
Иль, можетъ быть, съ ревнивѣйшимъ врагомъ.

Любовь не прахъ, не золото, не глина,
Дѣлить ее не значитъ отнимать.

Она какъ умъ: кто хочетъ понимать,
Предъ тѣмъ весь міръ—знакомая картина,
И та картина свѣтитъ все яснѣй
Отъ созерцанья истинъ разнородныхъ.
Любовь свѣтлѣе всѣхъ земныхъ огней,
Она какъ блескъ мечтаній благородныхъ,
Она какъ свѣтъ фантазіи живой,
Межь тысячью зеркалъ она блуждаетъ,
Въ землѣ глубокой, въ тверди голубой,
Сквозь бездну призмъ измѣнчиво блистаетъ,
Безбрежный міръ исполненъ ей вездѣ,
О ней во тьмѣ звѣзда поетъ звѣздѣ,
Она сверкаетъ въ радостяхъ улыбки,
И некому поставить ей предѣлъ,
И остріемъ ея блестящихъ стрѣлъ
Вездѣ убитъ зловредный червь ошибки.
Какъ узки тѣ сердца и тѣ умы,
Что, выбравъ искру свѣта въ царствѣ тьмы,
Въ ней видятъ все! Какъ узки тѣ стремленья,
Что, позабывъ огромный міръ тѣней
И выбравъ между формъ одно видѣнье,
Въ немъ строятъ гробъ для вѣчности своей.

Когда мы дѣлимъ съ кѣмъ-нибудь страданье,
Настолько можемъ мы уменьшить зло,
Чтобъ горе навсегда совсѣмъ прошло.
Когда же дѣлимъ свѣтлыя мечтанья,
Мышленіе, восторги, и любовь,—
То, что мы дѣлимъ, мы сливаемъ вновь,
И цѣлое въ сравненьи съ каждой частью
Ничтожнѣе и меньше,- и опять,
Любви кипучей творческою властью,
Мы можемъ эти блага раздѣлять
И тѣмъ полнѣй служить людскому счастью,
Полнѣе зло и горе устранять.
То истина великая, святая,
Въ ней кроется родникъ живой воды,
Въ ней бьется лучъ негаснущей звѣзды,

Дрожитъ надежда вѣчно-молодая.
И каждый, кто вкушалъ отъ этихъ водъ,
Склонившись, поднимался освѣженный,
Яснѣе видѣлъ синій небосводъ
И эту землю, садъ опустошенный.
Здѣсь мудрые, чей умъ горитъ свѣтло,
Чьи радостны священныя печали,
Смотря на этихъ чистыхъ водъ стекло,
Грядущимъ поколѣньямъ завѣщали
Воздѣлывать забытыя поля,
Служить зачатьямъ нѣжно-ароматнымъ,
Чтобъ въ лучшій часъ пустынная земля
Забрезжилась Эдемомъ благодатнымъ.

Есть Существо, есть женственная Тѣнь,
Желанная въ видѣніяхъ печальныхъ,
На утрѣ лѣтъ моихъ первоначальныхъ
Она ко мнѣ являлась каждый день,
И каждый мигъ среди лѣсныхъ прогалинъ,
Среди завороженныхъ дикихъ горъ,
Среди воздушныхъ замковъ и развалинъ
Она плѣняла дѣтскій жадный взоръ.
Мѣняясь въ очертаньяхъ несказанныхъ,
Чуть видимо скользя по ткани сновъ,
Она пришла съ далекихъ береговъ,
Изъ областей загадочныхъ-туманныхъ,
Красавицей нездѣшнихъ острововъ.
И въ лѣтній день, ликующій и жаркій,
Когда небесный сводъ огнемъ блисталъ,
Она прошла такой чудесно-яркой,
Что я—увы!—ея не увидалъ.
Въ глубокой тишинѣ уединенья,
Среди благоуханія цвѣтовъ,
Подъ шумъ ручьевъ, подъ звонкое ихъ пѣнье,
Сквозь гулъ неумолкающихъ лѣсовъ,
Она со мною тихо говорила,
И все дышало только *ей* одной,
Рѣка съ своей серебряной волной,

И сонмы тучъ, и дальнія свѣтила,
Влюбленный воздухъ, теплый вѣтерокъ,
И дождевой, сверкающій потокъ,
И пѣнье лѣтнихъ птицъ, и все, что дышетъ,
Что чувствуетъ, звучитъ, живетъ, и слышитъ.
Въ словахъ высокихъ вымысловъ и сновъ,
И въ пѣсняхъ и въ пророчествахъ глубокихъ,
Въ наслѣдіи умчавшихся вѣковъ,
Отшедшихъ дней и близкихъ и далекихъ,
Въ любви къ другимъ, въ желаньи свѣтлымъ быть,
Въ сказаньяхъ благороднаго ученья,
Что намъ велитъ навѣкъ себя забыть
И познавать блаженный смыслъ мученья,—
Во всемъ она сквозила и жила,
Въ чемъ правда и гармонія была.

И я покинулъ сонныя пещеры
Фантазій смутныхъ, юношескихъ грезъ,
Порывъ стремленья въ высь меня унесъ,
Къ звѣздѣ полярной, въ облачныя сферы.
Какъ мотылекъ предъ пышной смертью дня,
Презрѣвъ цвѣты, бѣжавъ отъ аромата,
Безумно мчится вверхъ къ лучамъ заката,
Себя своей поспѣшностью гоня,
И видитъ смерть, и смерть ему отрадна,—
Такъ я бѣжалъ стремительно и жадно
Въ сандаліяхъ изъ яркаго огня.
Но Та, предъ кѣмъ я все забылъ на свѣтѣ,
Не вняла ни рыданьямъ, ни мольбамъ,
На огнекрылой искристой планетѣ,
Какъ Богъ, она прошла по небесамъ.
Быстрѣй и все быстрѣй впередъ стремилась,
И тщетно къ ней рвалась душа моя,
Она прошла, сверкнула, и сокрылась—
За тѣневой пустыней бытія.
Угрюмо предо мной разверзлась бездна,
И сброситься хотѣлъ я съ дикихъ скалъ,
Но чей-то голосъ властно мнѣ сказалъ:

«Слѣпецъ! твое стремленье безполезно.
Куда скользишь безумною стопой?
Ты ищешь тѣни,—эта тѣнь съ тобой».
Я вскрикнулъ: «Гдѣ?» И, точно геній смѣха,
Стозвучнымъ «Гдѣ?» отвѣтило мнѣ эхо.
Я вопрошалъ листы въ ночной тиши,
Я вопрошалъ безмолвіе лазури,
Я спрашивалъ у молніи, у бури,
Куда ушла душа моей души.
Завѣтныя шепталъ я заклинанья,
Волшебныя твердилъ я имена,
Но скрылась тѣнь, ушло очарованье,
И мракъ густѣлъ, и ночь была темна.
И все же тлѣло, теплилось мерцанье,
Я видѣлъ сновидѣнье наяву.
Еще я полонъ былъ воспоминанья,
Ушедшему молился Божеству;
И, движимый дыханіемъ надежды,
Средь Хаоса пошелъ я наугадъ,
Въ предчувствіи лучей дрожали вѣжды,
Искалъ весны тревожно-смутный взглядъ,
Но всюду предо мной была завѣса
Замерзшаго безлиственнаго лѣса.
Безплодная дышала темнота.
И я спѣшилъ, я падалъ, поднимался,
Къ ошибкѣ отъ ошибки тщетно рвался.
Вселенная кругомъ была пуста.
И новыя видѣнья возникали
И къ новымъ заблужденьямъ увлекали.
Скитался я средь жителей лѣсныхъ,
Моя душа искать не уставала:
Быть можетъ, тѣнь сокрылась между нихъ.
Не здѣсь-ли гдѣ-нибудь она скрывала
Свой обликъ неземной въ чертахъ земныхъ.
Тогда Одна, вся полная отравы,
Склонилась у завѣтнаго ключа,
И ключъ сверкалъ, заманчиво журча.
Дышали сладкимъ сномъ ночныя травы.

Манилъ и жегъ закрытый дымкой взглядъ
Изъ-подъ куста лазурной белладоны,
И въ воздухѣ незримый таялъ ядъ,
И, точно отзвукъ струнъ, дрожали стоны;
Какъ искры синеватаго огня,
Желанія окутали меня,
Дурманомъ сладострастнымъ охватили,
Горѣла грудь, горѣло пламя щекъ,
И въ сердцѣ каждый юный лепестокъ
Воспринялъ гнетъ цвѣточной сладкой пыли.
И лживый вздохъ срывался съ женскихъ устъ,
И жадно росъ дышавшій страстью кустъ,
Потомъ листы украдкой поблѣднѣли,
Надъ юной чуть расцвѣтшею весной
Они склонились грязной сѣдиной,
Свернулись, разошлись, окоченѣли,
И стиснули меня средь черной тьмы
Въ объятьяхъ преждевременной зимы.

Скользя по смертнымъ формамъ бѣглымъ взглядомъ,
Вездѣ искалъ я отблеска мечты:
Въ однихъ дышала радость красоты,
Но съ красотой превратность дремлетъ рядомъ,
И быстро вянутъ нѣжные цвѣты;
Другія были мудры,—мудрость лжива,
И лишь Одна была всегда правдива,
Увы, со всѣми, только не со мной.
И вотъ, уставъ бѣжать въ глуши лѣсной,
Дрожа, изнемогая, задыхаясь,
Какъ раненый затравленный олень,
Я всталъ, росой кровавой обливаясь;
И хмурился холодный тусклый день,
Невольнымъ состраданьемъ проникаясь.
И думалъ я, что жизни въ жизни нѣтъ,
Что все кругомъ—сплошное заблужденье,
Какъ вдругъ зарей нежданной вспыхнулъ свѣтъ,
Заискрилось опять освобожденье.
Стояла на моемъ пути Одна,

Чья свѣтлая улыбка походила
На тѣнь того сверхчувственнаго сна,
Какъ вѣчно-перемѣнная Луна
На вѣчно-неизмѣнное свѣтило
Побѣднаго зиждительнаго дня.
Холодная безстрастная Богиня,
Ковчегъ иловучій блѣднаго огня,
Чьей лаской смягчена небесъ пустыня,
Кто свѣтитъ, но не грѣетъ никогда,
Чей ликъ, смотря загадочно и странно,
Блѣднѣя и мѣняясь безпрестанно,
Одинъ и тотъ же всюду и всегда.
Какъ юный Духъ, сошедшій съ этой сферы,
Она меня мерцаньемъ обняла,
Къ магическому склепу привела,
Проникла въ глубь таинственной пещеры;
Какъ легкій дымъ, влекомый вѣтеркомъ,
Я шелъ за ней, и въ сердцѣ было ясно;
Она была мистически прекрасна,
И блѣдный свѣтъ, струясь, дрожалъ кругомъ.
Я легъ, я спалъ, она сидѣла рядомъ,
Она за мной слѣдила долгимъ взглядомъ,
И страненъ былъ таинственный мой сонъ:
Средь сумерекъ, мерцанья, и тумана
Ко мнѣ склонялась блѣдная Діана,
А я душою былъ Эндиміонъ.
Когда она съ улыбкою склонялась,
Улыбкой я блисталъ въ глубокомъ снѣ,—
И все темнѣло горестно во мнѣ,
Когда она мгновенно затемнялась.
Такъ море чутко спитъ во мглѣ ночной,
Смѣется или хмурится съ Луной.
И я застылъ въ постели непорочной,
Увы, я не былъ мертвъ, я не былъ живъ:
На нѣжный мелодическій призывъ,
Забывши о борьбѣ своей урочной,
Сошлися Жизнь и Смерть, какъ двѣ сестры,
Какъ два ребенка въ радостяхъ игры;

Два дѣтища одной нѣмой печали,
Въ пещерѣ мглистой всюду видя ночь,
Они безъ крылъ носились и кричали:
«Здѣсь спитъ чужой, не нашъ! Умчимся прочь!»
Я горько плакалъ,—и хотя бы это
Все было сномъ, я плачу безъ конца.

Что было дальше? Блескъ ея лица
Блѣднѣлъ и гасъ, все меньше было свѣта,
Безжизненныя дрогнули уста,
Какъ будто вдругъ, проклятіемъ затменья,
Луны померкшей стерлась красота.
Душой владѣло темное волненье,
Лазурь моихъ небесъ была пуста,
И встала Буря въ этой тьмѣ беззвѣздной,
И чей-то Духъ парилъ надъ дикой бездной,
И чьи-то дуновенья проползли,
Морозомъ жесткимъ сжали ширь пучины,—
И къ берегу отъ берега легли
Недвижныя безжизненныя льдины;
И вновь пучина дрогнула до дна,
Подъ силой новой Бури льды распались,
И снова серебрилася Луна,
Ея лучи, какъ прежде улыбались.
Но не хочу, чтобъ кто-нибудь проникъ
Въ сокрытый смыслъ моихъ рѣчей туманныхъ,
Иначе въ нихъ откроется родникъ
Безсмѣнныхъ слезъ, рыданій несказанныхъ.

И, наконецъ, за горемъ и стыдомъ,
Среди снѣговъ, шиповъ, и запустѣнья,
Какъ вздохъ Весны, желанное Видѣнье
Повѣяло сквозь темный лѣсъ кругомъ.
Оно пришло, и сонныя растенья,
Услыша звукъ медлительныхъ шаговъ,
Украсились мерцаньемъ лепестковъ;
Подъ нѣжными воздушными стопами
Цвѣты, сплетаясь, выткали коверъ:

Чтобъ радовать такой любовный взоръ,
Деревья сочетались вѣтвями:
И всѣ листы слились въ одинъ узоръ,
Заботливо склоняясь легкой сѣнью
Надъ формой, возродившей міръ чудесъ,
Надъ женственной зиждительною тѣнью;
И вѣтеръ смолкъ, и слушалъ старый лѣсъ,
Пѣвучій вздохъ мелодіи лучистой,
Сіяньемъ разливавшейся вокругъ,
И въ звукахъ лѣса жилъ единый звукъ.
И слезы счастья въ зелени росистой,
Внимая, какъ листы кругомъ поютъ,
Лучамъ давали искристый пріютъ:
Повѣяло душистымъ ароматомъ
Отъ свѣжихъ пышно вьющихся волосъ,
И таялъ между снѣжныхъ горъ морозъ,
Съ тепломъ обнявшись, точно съ кроткимъ братомъ.
Она пришла въ мой скленъ, какъ Символъ Дня,
Какъ Воплощенье Солнца золотого,
Своимъ тепломъ наполнила меня;
Какъ дымъ встаетъ отъ дѣйствія огня,
Мой Духъ воскресъ, любовь дышала снова.
Я всталъ, я жилъ, я чувствовалъ зарю.
Я зналъ, какимъ я пламенемъ горю.
Я ждалъ давно желаннаго привѣта,
И вотъ святая Тѣнь ко мнѣ пришла,
Я видѣлъ блескъ сверхчувственнаго свѣта—
Передо мной Эмилія была.

О, сестры-близнецы, союзъ любовный,
Двѣ Сферы свѣта, въ морѣ бытія
Вы правите землей безпрекословной,
Вы правите моимъ влюбленнымъ *я*.
Даете жизнь листамъ, плодамъ душистымъ,
Лелѣете нѣмыя сѣмена,
Могуществомъ магически-лучистымъ
Весь темный міръ пронзаете до дна.
И влагу претворяете въ туманы,

Даруете законы облакамъ,
И волнъ морскихъ сѣдые караваны
Къ назначеннымъ влечете берегамъ;
Изъ радуги сплетаете постели,
Смягчая дымныхъ тучекъ полумракъ,
Для шумныхъ бурь въ ихъ прежней колыбели
Возводите роскошный саркофагъ;
И какъ весь міръ земной равно украшенъ
Луной и солнцемъ, братскою четой,
Когда они горятъ съ небесныхъ башенъ
Различной, но единой красотой,—
Такъ вы, мои лучистыя царицы,
Пусть правите по очереди мной,
Во всѣ мгновенья ночи—до денницы,
Во всѣ мгновенья дня—до мглы ночной.
И ты, Любовь, не презри блескъ заемный,
Когда начнешь царить надъ пышнымъ днемъ;
И ты, Луна, блистая ночью темной,
Не спорь съ далекимъ пламеннымъ огнемъ;
Свѣтите мнѣ отъ ласковаго Мая
До Осени печальной и сухой,
И пусть, въ могилѣ Зимней засыпая,
Я встану снова—съ лучшею мечтой.
И ты, о, чудно-дикая Комета,
Мой хрупкій духъ привлекшая къ себѣ,
Ты—вся вражда, ты—вся восторгъ привѣта,
Крушенье потерпѣвшая въ борьбѣ,
Зажгись опять, приди въ предѣлы наши,
Свѣти любви —предутренней звѣздой,
Въ лазурномъ царствѣ пей изъ полной чаши,
Вкушай напитокъ Солнца золотой.
Когда твоей послѣднею улыбкой
Царица Ночи будетъ смущена,
Покровомъ легкихъ тучъ въ лазури зыбкой
Свой нѣжный серпъ окутаетъ она.
Въ вуали изъ сквозного перламутра
Передъ тобой пойдетъ по небесамъ,
Передъ тобой и Сумерки и Утро

Струить не перестанутъ виніамъ.
Ты будешь духомъ Смерти и Рожденья.
Тебя Надежда выберетъ царемъ,
Передъ тобой померкнетъ Опасенье,
Весь Міръ твоимъ предстанетъ алтаремъ.

Владычица моя, не будь сурова
Къ цвѣтамъ поблекшимъ помысловъ моихъ,
Взгляни съ улыбкой солнечной на нихъ,—
Цвѣткомъ инымъ они возникнутъ снова,
Какъ пышный цвѣтъ Эдема.

День пришелъ.
И ты со мной бѣжишь отъ черныхъ золъ
Къ странѣ иной, лучистой и свободной.
Для тусклыхъ чувствъ, чѣмъ связанъ я съ землей,
Останься навсегда моей сестрой,
Весталкой цѣломудренно-холодной.
Но для души, горящей сквозь меня,
Глубокой, напряженной, и нетлѣнной,
Для свѣточа небеснаго огня
Подругой будь, невѣстой нареченной.
Твой часъ насталъ:—твоей судьбы Звѣзда
Зайдетъ надъ опустѣвшею тюрьмою,
Хоть стража здѣсь не дремлетъ никогда,
Хоть дверь крѣпка, и плотною стѣною
Тюремный дворъ, какъ панцыремъ, одѣтъ -
Для истинной любви преграды нѣтъ.
Какъ молнія, она прорвется всюду,
Прорѣжетъ тьму, скрывающую твердь.
Подвластно все ея живому чуду.
Она во всемъ, она сильна, какъ смерть,
Чей бѣгъ—стремленье мысли, чье движенье
Вездѣ влачитъ губительную тѣнь,
Средь городовъ, и мирныхъ деревень,
Среди морей, среди полей сраженья.
Любовь сильнѣй, чѣмъ смерть: она всему
Дастъ блаженство новаго рожденья.

Разрушивъ склепъ, оттуда гонитъ тьму,
И пріобщаетъ къ свѣту своему
Всѣхъ мертвыхъ, кто раздавленъ былъ скорбями,
Кто въ хаосѣ стоналъ, гремя цѣпями.

Эмилія, сестра моей души,
Насъ ждетъ корабль, онъ дышетъ парусами,
И шепчетъ шорохъ волнъ: «Спѣши, спѣши!»
Подвижными живыми полосами
Блуждаетъ пѣна, ждетъ морской просторъ,
И легкій вѣтеръ вѣетъ съ дальнихъ горъ.
Есть путь въ просторѣ водъ, среди тумана,
Никто не бороздилъ его до насъ,
Не слышно тамъ о козняхъ океана,
Тамъ дремлютъ острова,—и каждый часъ,
И каждый мигъ чуть слышно плещутъ волны,
Волна бѣжитъ любовно за волной.
Отъ кротости они почти безмолвны:
Скажи, ты хочешь плыть туда со мной?
Довѣримся испытаннымъ матросамъ,
Пусть искрится и пѣнится потокъ,—
Корабль нашъ будетъ мчаться альбатросомъ
Туда, гдѣ спитъ пурпуровый Востокъ;
И между крылъ его сидѣть мы будемъ,
И День пройдетъ, и Ночь придетъ за Днемъ,
Мы будемъ плыть, мы все кругомъ забудемъ,
И Бурю мы въ союзницы возьмемъ.
Подъ небомъ Іоническимъ, въ просторѣ
Прозрачныхъ водъ есть островъ голубой,
Жемчужина, взлелѣянная въ морѣ,
Готовая принять меня съ тобой.
Съ землей въ союзѣ, тамъ живетъ безъ крова
Пастушескій безхитростный народъ,
Хранящій здѣсь отъ вѣка золотого
Негаснущихъ восторговъ сочный плодъ.
Излюбленный пріютъ песковъ огнистыхъ,
Ласкаемыхъ Эгейскою волной,
Сѣдыхъ пещеръ, загадочныхъ и мглистыхъ,

Исполненныхъ священной тишиной.
Мелодіи порою возникаютъ
То здѣсь, то тамъ, то тише, то звучнѣй,
И чѣмъ-то смутнымъ въ воздухѣ мелькаютъ,
Воздушной смѣной красокъ и тѣней.
Встаютъ и таютъ свѣтлые туманы,
Вдоль берега живетъ семья вѣтровъ,
Въ лѣсахъ изъ-за вѣтвей глядятъ сильваны,
И прячутся опять среди стволовъ.
А сколько тамъ озеръ, лѣсныхъ затоновъ,
Ручьевъ, чей звонкій рокотъ нѣжитъ слухъ,
Тропинокъ мшистыхъ вдоль зеленыхъ склоновъ
Гдѣ только разъ въ году идетъ пастухъ.
Въ глуши какъ будто что-то вродѣ сада,
Сплетаетъ цѣпкій плющъ листы свои,
И въ ладъ съ могучимъ гуломъ водопада
Полдневные грохочутъ соловьи:
Вездѣ ростутъ душистые лимоны,
Ихъ сладкимъ цвѣтомъ воздухъ отягченъ,
Къ жонкилямъ наклонились анемоны,
И нѣжной мукой сонный духъ смущенъ.
Какъ отзвуки давно забытой сказки,
Сливаются всѣ вмѣстѣ въ унисонъ
Движенья, ароматы, звуки, краски;
Въ душѣ души встаетъ давнишній сонъ,
Что снился ей когда-то до рожденья.—
То островъ между Небомъ и Землей,
Средь воздуха и Моря,—отраженье
Нездѣшнихъ думъ;—прозрачной полумглой
Взлелѣянъ, убаюканъ, спитъ онъ, чудный,
Какъ Люциферъ небесно-изумрудный,
Предвѣстникъ утра, ласковый Эдемъ.
Его покой не возмущенъ никѣмъ,
Ничѣмъ, и никогда. Угрюмый Холодъ,
Волна, Чума, Землетрясенье, Голодъ
Не зажигали здѣсь костровъ своихъ;
Какъ коршуны слѣпые въ часъ фатальный,
Несутъ они толпою погребальной

Свой бичъ въ предѣлъ иной, для странъ другихъ:
Крылатыхъ Бурь безжизненные хоры,
Другимъ краямъ въ суровый день зимы
Поютъ свои громовые псалмы,—
Когда жь случайно видятъ эти горы,
Весь этотъ миръ луговъ, полей, лѣсовъ,
Они смущенно смотрятъ съ облаковъ,
И плачутъ, и алмазною росою
Сверкаютъ золотистыя поля,
Луга смѣются, дышетъ вся земля
Безсмертной, обновленной красотою.
И съ моря поднимаются, съ небесъ
Медлительно спускаются туманы,—
То волны зыбко-вьющихся завѣсъ,
Измѣнчиво-живые караваны,
За ними чьи-то очи и уста,
Смѣются, незнакомыя съ печалью,
За каждой тучкой скрыта красота,
И каждый разъ, когда за синей далью
То Солнце вспыхнетъ, то Луна блеснетъ,
То вѣтеръ упоительный дохнетъ,
Вуаль спадаетъ въ небѣ за вуалью.
И все лазурнѣй блещутъ небеса,
И все яснѣй становятся лѣса,
Отчетливѣй цвѣты и травы луга,
И, наконецъ,—какъ юная супруга,
Смущенная своею наготой,
И полная восторженности жгучей,—
Весь островъ блещетъ цѣльной красотой.
Но здѣсь еще свѣтильникъ есть могучій,—
Хотя и сокровенный, онъ царитъ,
Онъ въ самомъ сердцѣ острова горитъ,
Безсмертная Душа, лучистый атомъ,
Отъ Вѣчности отпавшій,—онъ во всемъ,
Въ листахъ, въ цвѣтахъ съ ихъ юнымъ ароматомъ,
Въ сѣдыхъ утесахъ, въ небѣ голубомъ,
Во всемъ его улыбка ощутима,
Хотя для смертныхъ глазъ она незрима.—

Но главнымъ украшеньемъ той страны
Является таинственное зданье,
Что спитъ среди священной тишины,
Высоко поднимая очертанья.
Кто выстроилъ его, когда, зачѣмъ?
Никто изъ мѣстныхъ жителей не знаетъ,
А голосъ дней давно минувшихъ нѣмъ.
Предъ этимъ зданьемъ гордый дубъ склоняетъ
Свою главу, но то не крѣпость, нѣтъ:
Какой-нибудь Владыка Океана
Въ той свѣтлой мглѣ еще невинныхъ лѣтъ,
Когда земля не вѣдала обмана,
Здѣсь выстроилъ, на зависть островамъ,
Пріютъ своей сестрѣ, своей супругѣ,
Восторговъ чистыхъ радостной подругѣ,
И передалъ позднѣйшимъ временамъ
Святилище непонятаго чувства.
И мы едва въ томъ зданьи узнаемъ
Людскую мысль, созданіе искусства:
Есть что-то Титаническое въ немъ.
Взлелѣяно родимою землею,
Оно какъ будто выросло изъ горъ,
И такъ стоитъ и дремлетъ съ давнихъ поръ,
Исполнившись безмолвіемъ и мглою.—
Созданіе изъ камня и мечты.
Всѣ надписи фантазіи забытой
Поблекли, стерлись. Вмѣсто нихъ кусты
Развѣсились гирляндой перевитой,
То плющъ и виноградные листы.
Межъ ними чужеядныя растенья
Мерцаютъ изумрудною росой,
Слезу роняютъ съ листьевъ за слезой,
Чтобъ дать заснувшимъ сводамъ освѣщенье;
Когда жъ они завянутъ,—въ часъ ночной
Роняетъ небо искристыя пятна
Въ отверстья этой ткани кружевной,
Въ нихъ смотрятъ звѣзды съ блѣдною Луной,
Потомъ Заря, чья свѣжесть ароматна,

Разсыплетъ брызги новаго огня,
И свѣтятъ здѣсь живыя краски Дня.
Мозаикой сквозною покрывая
Парокіе полы. И такъ всегда,
Зажжется ль вновь вечерняя звѣзда,
Заря ли снова глянетъ золотая,
Всегда благословенный мирный часъ
Гармоніей плѣнительной украшенъ.
И чудится въ безмолвіи террасъ,
И кажется съ высокихъ стройныхъ башенъ,
Что все кругомъ чуть дышетъ въ полуснѣ,
Отдавшись благодатной тишинѣ,
Что Море спитъ съ Землей въ объятьи нѣжномъ,
И снятся имъ луга, цвѣты, лѣса,
Сѣдыя скалы, тучи, небеса,
Они смѣются этимъ снамъ безбрежнымъ,
И мы, когда улыбки ихъ прочтемъ,
Тѣ сны своей реальностью зовемъ.

Тотъ островъ мой. Тѣ смутные чертоги
Тебя своей царицей назовутъ.
Есть между ними избранный пріютъ,
Гдѣ утромъ солнце дремлетъ на порогѣ,
И вѣтры, улыбаясь, плывутъ,
Какъ волны надъ лазурными волнами.
Туда послалъ я много чудныхъ книгъ,
Тамъ лютня будетъ звучно плакать съ нами,
Я ввелъ туда зиждительный родникъ,
Чьи воды лучшимъ въ мірѣ сладко пѣли,
И вызвать заклинаньями умѣли
Минувшее изъ тьмы его гробницъ,
Грядущее изъ хрупкой колыбели,
Гдѣ еле брезжутъ тѣни дѣтскихъ лицъ,
А радостямъ и мыслямъ настоящимъ
Рыдали гимномъ звонко-золотымъ.
Такимъ могучимъ, звучнымъ, и блестящимъ,
Что Вѣчность наклонилась жадно къ нимъ.
И будемъ мы, страницу за страницей,

Читать святую книгу бытія,
Жить вмѣстѣ,— всюду только ты и я,—
Не нуженъ намъ наемникъ блѣднолицый,
Что Роскошью зовется у людей:
Напрасной ухищренностью своей
Онъ только портитъ свѣтлое блаженство—
Быть съ Матерью-Природой заодно,
Сливаться съ ней въ могучее звено,
Вкушать невинность, кротость, совершенство.
Намъ дикій голубь станетъ ворковать
О томъ, какъ любитъ онъ свою подругу,
Какъ сладко знать любовь и тосковать,—
И мы съ улыбкой склонимся другъ къ другу.
Когда погаснетъ вечеръ золотой,
Вкругъ башенъ, молча, совы будутъ виться,
Звѣзда зажжется въ небѣ за звѣздой,
И дѣтски будутъ всѣ они дивиться
На этотъ миръ, любовь, и тишину;
Волна пробудитъ сонную волну,
И безъ конца мгновенья будутъ длиться;
Надъ гладью водъ Луна свой дискъ зажжетъ.
Покинувъ тьму заморскаго чертога:
Лѣсная лань погрѣться къ намъ придетъ,
И будетъ спать у нашего порога,
И ночь задержитъ медленный полетъ.
Вотъ нашъ очагъ. Здѣсь будемъ жить съ тобою.
Когда же годы къ Вѣчности уйдутъ,
И всѣ мечты, гонимыя судьбою,
Поблекшими листами опадутъ,
Пусть будемъ мы зарею незакатной,
Душой страны,— лучисто-ароматной,
Сознательной, единой навсегда.
Но эти дни отъ насъ еще далеко:
Пока намъ свѣтитъ юности звѣзда,
Мы будемъ жить и чувствовать глубоко,
Бродить вдвоемъ по зелени луговъ,
Подъ небомъ перламутрово-лазурнымъ,
Любить, мечтать, внимать вѣтрамъ безбурнымъ.

Слѣдить полетъ воздушныхъ облаковъ,
А то смотрѣть на море съ береговъ,
И видѣть, какъ встаютъ и таютъ струи,
Бѣгутъ ласкать прибрежные пески,
Какъ быстрые морскіе поцѣлуи
Запѣнились отъ страсти и тоски.
И все, въ чемъ есть блаженство и безпечность,
Зажжетъ для насъ привѣтные огни,
И мы благословимъ и мигъ, и вѣчность,
Всегда вдвоемъ, всегда, вездѣ одни,
Другъ въ другѣ, словно тучки, нѣжно тая,
Другъ другомъ такъ любовно обладая,
Что жизнь съ любовью будетъ свѣтъ одинъ.
Потомъ, уставъ бродить среди долинъ,
Уйдемъ къ какой-нибудь пещерѣ мрачной,
Гдѣ лунный свѣтъ, забывъ, что ночь прошла,
Какъ будто спитъ,—и насъ покроетъ мгла,
И къ намъ смотрѣть не станетъ день прозрачный.
И нашъ восторгъ на время отдохнетъ,
И свѣжій сонъ, роса любви усталой,
Крѣпительной прохладою дохнетъ,—
И вновь проснется страсть зарею алой.
Мы будемъ говорить: потомъ, когда
Теченье мысли будетъ слишкомъ нѣжно,
Уста вздохнутъ и смолкнутъ безмятежно,
И нашей страсти юная звѣзда
Зажжется въ долгихъ взглядахъ; сердце станетъ
Шептать слова, которыхъ не забыть,
Другое сердце, дрогнувъ, нѣжно взглянетъ,
И скажетъ: «Я хочу тебя любить»—
И тишина звучать не перестанетъ.
Прижмется къ груди грудь; въ блаженный мигъ
Смѣшаются дыханія стыдливо;
Уста къ устамъ прильнутъ краснорѣчиво,
И въ каждомъ тотъ завѣтнѣйшій родникъ,
Что въ самой сокровенной кельѣ бьется,
Для радости ликующей проснется,
И эти волны высшей красоты

Сольются въ яркомъ свѣтѣ чистоты,
Объятыя одной безгрѣшной страстью,
Заискрятся, какъ горные ключи,
Когда они бѣгутъ навстрѣчу счастью,
Привѣтствуя весенніе лучи.
И будемъ мы однимъ созданьемъ свѣта,
Одной душой влюбленной въ двухъ тѣлахъ,
Одною страстью въ двухъ родныхъ сердцахъ.
Зачѣмъ же въ двухъ? Ты будешь, какъ комета,
Я буду, какъ летучій метеоръ,
И мы сплетемъ лучи въ одинъ узоръ,
Смѣшаемся, другъ другомъ озаримся,
Въ сліяньи огневомъ преобразимся,
Себя самихъ сіяніемъ затмимъ,
Другъ въ другѣ поселимъ восторги Рая,
Всегда горя и вѣчно не сгорая,
Давая жизнь свѣтильникамъ своимъ
Взаимной страстью, яркимъ совершенствомъ,
Той сущностью, что свѣтитъ только намъ,
И дышетъ нескончаемымъ блаженствомъ,
И рвется къ безграничнымъ небесамъ:
Огонь одной надежды въ двухъ желаньяхъ,
Одно желанье въ царствѣ двухъ умовъ,
Одинъ восторгъ весенній двухъ громовъ,
Одинъ Эдемъ въ двоякихъ очертаньяхъ.
Однихъ Небесъ немеркнущая твердь,
Одна любовь, одна нѣмая смерть,
Одно уничтоженье въ мукѣ жгучей,
Одинъ восторгъ безсмертья.

Горе мнѣ!
Своей душой, крылатой и кипучей,
Хочу взлетѣть къ надзвѣздной вышинѣ,
Гдѣ вѣчно, ночь за ночью, дни за днями,
Любовь горитъ, какъ свѣточъ Божества,
Но мой полетъ свинцовыми цѣпями
Влекутъ къ землѣ безсильныя слова.
Стремясь душой къ заоблачному Раю,
Я падаю, дрожу, изнемогаю!

О, слабые Стихи! Идите къ ней,
Къ Владычицѣ моихъ печальныхъ дней,
И, навъ къ стопамъ блистательной Царицы,
Промолвите:—«Твой рабъ смиренный ждетъ,—
Вели,—и онъ, какъ тѣнь, къ тебѣ придетъ!»
И въ сумрачномъ забвеніи гробницы
Найдите вашихъ братьевъ и сестеръ,
И, слившись съ ними въ дружный звучный хоръ,
Запойте громко:—«Свѣтъ любви чудесенъ,
Прекрасна даже скорбь любовныхъ мукъ;
Но міръ земной—для высшей нѣги—тѣсенъ:
Лишь кто свершилъ земныхъ стремленій кругъ,
Въ иныхъ мірахъ извѣдаетъ отраду,
Любви блаженной высшую награду».
И станете вы жить, когда меня
Не будетъ здѣсь. И, спѣвши гимнъ согласный
Подъ свѣточемъ немеркнущаго дня,
Найдите вы въ толпѣ людей безстрастной
Марину, Ванну, Прима, и другихъ,
Скажите имъ, чтобъ ласковѣй любили,
Чтобъ въ пылкости любви друзьями были;
Потомъ, бѣжавъ отъ всѣхъ для васъ чужихъ,
Отдайтесь чистой нѣгѣ думъ влюбленныхъ,
И весело ко мнѣ вернитесь вновь:
Я буду ждать въ предѣлахъ отдаленныхъ,
Гдѣ царствуетъ безсмертная Любовь.

# 1821.

# АДОНАИСЪ.

Элегія на смерть Джона Китса,
автора *Эндиміона*, *Гиперіона*, и др.

Αστήρ πρὶν μὲν ἔλαμπες ἐνὶ ζωοῖσιν Ἑῷος.
Νῦν δὲ θανὼν λάμπεις Ἕσπερος ἐν φθιμένοις.

*Plato.*

Ты блисталъ сперва среди живыхъ какъ утрен—
няя звѣзда: теперь, когда ты умеръ, ты горишь —
какъ Веспер, среди тѣхъ, которые жили.

*Платонъ.*

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Φάρμακον ἦλθε, Βίων, ποτὶ σόν στόμα, φάρμακον εἶδες,
Πῶς τευ τοῖς χείλεσσι ποτέδραμε, κοὐκ ἐγλυκάνθη;
Τίς δὲ βροτὸς τοσσοῦτον ἀνάμερος, ἢ κεράσαι τοι,
Ἢ δοῦναι λαλέοντι τὸ φάρμακον; ἔκφυγεν ᾠδάν.

*Moschus, Epitaph. Bion.*

Какой ядъ, о, Біонъ, осквернилъ твои уста, какой роковой ядъ могъ коснуться твоихъ устъ и не смягчиться? Какой смертный могъ быть настолько дикимъ, чтобъ налить и дать тебѣ яду, когда ты говорилъ, или чтобы бѣжать отъ твоей пѣсни?

*Мосхъ, Эпитафія Біону.*

Я намѣренъ присоединить къ Лондонскому изданію этой поэмы критическое разсужденіе о правахъ того, кто здѣсь оплаканъ, на мѣсто въ ряду геніальнѣйшихъ писателей, украсившихъ собою нашъ вѣкъ. Моя хорошо извѣстная непріязнь къ тѣмъ узкимъ эстетическимъ принципамъ, сообразно съ которыми были написаны нѣкоторыя изъ его раннихъ произведеній, доказываетъ, по меньшей мѣрѣ, что я безпристрастный судья. Я нахожу, что отрывокъ *Гиперіона* не былъ превзойденъ ни однимъ изъ произведеній какого бы то ни было писателя въ такомъ возрастѣ.

Джонъ Китсъ умеръ въ Римѣ отъ чахотки, 23-го февраля 1821-го года, на двадцать-четвертомъ году своей жизни. Онъ похороненъ на Протестантскомъ кладбищѣ, романтическомъ и уединенномъ, подъ пирамидальной гробницей Цестія, и подъ массивными стѣнами и

башнями, которыя служили когда-то окружной чертой древняго Рима, а теперь, разрушаясь, находятся въ безутѣшномъ небреженіи. Кладбище представляетъ изъ себя открытое пространство между руинами, усѣянное зимою фіалками и маргаритками. Можно было бы полюбить смерть при мысли, что будешь похороненъ въ такомъ очаровательномъ мѣстѣ.

Геній оплаканнаго поэта, памяти котораго я посвятилъ эти недостойные стихи, былъ столько же деликатенъ и хрупокъ, сколько прекрасенъ: и удивительно ли, что молодой его цвѣтокъ увялъ, не раскрывшись, если онъ выросъ тамъ, гдѣ изобилуютъ черви? Дикій критическій разборъ *Эндиміона*, появившійся въ *Quarterly Review*, произвелъ самое болѣзненное впечатлѣніе на его впечатлительную натуру; волненіе, вызванное этимъ, причинило разрывъ кровеноснаго сосуда въ легкихъ, послѣдовала скоротечная чахотка,— и выраженіе симпатій со стороны болѣе справедливыхъ критиковъ, видѣвшихъ истинные размѣры его творческихъ силъ, было безсильно залѣчить рану, нанесенную такъ неосмотрительно.

Поистинѣ, эти несчастные не знаютъ, что творятъ. Они распространяютъ свои оскорбленія и клеветы, не заботясь о томъ, коснется ли ядовитая стрѣла сердца, сдѣлавшагося зачерствѣлымъ отъ множества ударовъ, или такого, какъ сердце Джона Китса, созданное изъ болѣе проницаемаго вещества. Одинъ изъ этихъ, лично мнѣ извѣстный, представляетъ изъ себя самаго низкаго и безчестнаго клеветника. Что касается *Эндиміона*, каковы бы ни были недостатки этой поэмы, можетъ ли она быть обсуждаема презрительно тѣми, кто прославилъ въ панегирикахъ *Paris* и *Women*, и *Syrian Tale*, и мистрисъ Лефаню, и М-ра Барретта, и М-ра Говарда Пайна, и цѣлый рядъ знаменитыхъ неизвѣстностей? Не эти ли господа, въ своей продажной угодливости, возъимѣли мысль провести параллель между почтеннымъ М-ромъ Мильманомъ и Лордомъ Байрономъ? На какую мошку они здѣсь напали, пожравши всѣхъ этихъ верблюдовъ? Въ какую женщину, застигнутую на прелюбодѣяніи, дерзнетъ бросить камень осужденія первый изъ этихъ литературныхъ прелюбодѣевъ? Несчастные! будучи самымъ низкимъ изъ низкихъ, вы посмѣли безразсудно исказить одно изъ лучшихъ созданій Бога. Плохое оправданіе для васъ, что, убивая, вы убивали словами, а не кинжаломъ.

Обстоятельства, сопровождавшія послѣдніе дни Китса, сдѣлались мнѣ извѣстными лишь послѣ того, какъ данная Элегія уже вся

была написана. Мнѣ разсказывали, что рана, нанесенная этой впечатлительной душѣ отзывами объ *Эндиміонѣ*, была усилена горькой мыслью о неотплаченныхъ благодѣяніяхъ; какъ кажется, бѣдный поэтъ былъ удаленъ съ жизненной сцены не только тѣми, для которыхъ онъ истратилъ свой многообѣщающій геній, но и тѣми, кому онъ отдалъ все свое достояніе и всѣ свои заботы. За нимъ послѣдовалъ въ Римъ, бывшій около него въ послѣдніе дни, Мистеръ Северинъ, молодой художникъ, подающій большія надежды; какъ мнѣ сообщили, «онъ почти рисковалъ своею жизнью, и отказался отъ всякихъ заботъ о себѣ, всецѣло посвятивъ себя ухаживанію за умирающимъ другомъ». Если бы я зналъ объ этихъ обстоятельствахъ прежде, чѣмъ моя поэма была окончена, у меня было бы истинное искушеніе прибавить мою слабую дань одобренія той, болѣе прочной, наградѣ, которую человѣкъ достойный находитъ въ воспоминаніи о своихъ собственныхъ побудительныхъ мотивахъ. М-ръ Северинъ можетъ обойтись безъ награды, сотканной «изъ того вещества, изъ котораго созданы сны». Его поведеніе есть счастливое предзнаменованіе успѣшности его будущей дѣятельности,—и пусть неугасимый Духъ его знаменитаго друга оживитъ созданія его кисти, и будетъ предстательствовать за него предъ лицомъ Забвенія.

1.

Онъ умеръ, Адонисъ — умеръ онъ!
Я плачу! Плачьте всѣ о немъ, въ печали,
Хоть онъ не будетъ ею воскрешенъ!
Ты, грустный Часъ, кого Года избрали,
Чтобъ то оплакать, что мы потеряли,
Скажи другимъ Часамъ: его ужь нѣтъ,
Скрытъ Адонисъ въ безвозвратной дали;
Пока въ Грядущемъ память Прошлыхъ Лѣтъ
Живетъ,—его судьба прольетъ сквозь Вѣчность свѣтъ!

2.

Гдѣ ты была, о, Мать, въ какой стихіи,
Когда твой сынъ пронизанъ былъ стрѣлой?
Къ кому лицо склонялось Уранiи,
Въ тотъ часъ какъ Адонисъ взятъ былъ мглой?
Закрывъ покровомъ взоръ блестящій свой,
Она въ Раю впивала упоенья,
Средь Откликовъ,—одинъ, своей душой,
Возсоздалъ всѣ созвучья пѣснопѣнья,
Чѣмъ, какъ цвѣтами, скрылъ онъ призракъ Разрушенья.

3.

Онъ умеръ, Адонисъ — умеръ онъ!
О, плачьте! Мать его, скорби съ тоскою!
Но нѣтъ... Какъ онъ, храни безмолвный сонъ,
Не жги лица горячею слезою:
Туда ушелъ онъ, тайною стезею,
Куда уходитъ пламя мыслей всѣхъ: —

Нѣтъ, Бездна сбережетъ его съ собою,
Она въ немъ ищетъ радостныхъ утѣхъ;
Смерть слушаетъ его, ей наши слезы—смѣхъ.

4.

Пѣвучая межь плакальщицъ, плачь снова!
Печалься, Уранія, безъ конца!—
Онъ умеръ, тотъ, кто былъ Властитель слова,
Кто былъ великъ въ призваніи пѣвца;
Рабы, святоши, не дали вѣнца
Тому, чья мысль огнемъ была одѣта,
Но онъ, слѣпой, былъ твердымъ до конца;
И, свѣтлый Духъ, все полонъ онъ привѣта,
Какъ третій межь сыновъ властительнаго свѣта.

5.

Пѣвучая межь плакальщицъ, рыдай!
Не всѣ дойти посмѣли до вершины;
Счастливы тѣ, что въ жизни знали Рай,
Чей свѣтъ струитъ свои лучи въ долины,
Сквозь ночь временъ, гдѣ солнца-исполины
Погибли; есть иные, гнѣвный Рокъ
Имъ помѣшалъ дойти до половины
Подъема; и еще, что выждутъ срокъ,
И въ Храмѣ завершатъ свой жизненный урокъ.

6.

Но самаго живого, молодого
Липнилась ты, погибъ питомецъ твой;
Пѣвучая межь плакальщицъ, плачь снова!
Онъ былъ цвѣткомъ, что вскормленъ былъ росой,
Влюбленной дѣвой, нѣжно-молодой;
Увы, послѣдній цвѣтъ твоей надежды
Увялъ, не вспыхнувъ всею красотой,
Не развернувъ роскошныя одежды;
Гроза прошла—цвѣтокъ лежитъ, склонивши вѣжды.

7.

Онъ прибылъ въ отдаленнѣйшій предѣлъ,
Достигъ онъ той возвышенной Столицы,
Гдѣ Смерть—какъ царь, что пышный блескъ одѣлъ,
И вкругъ нея—видѣнья, блѣднолицы
И стройны, свита странной чаровницы.
Въ Италіи сводъ неба голубой
Ему—какъ надлежащій сводъ гробницы.
Онъ тихо спитъ, обрызганный росой;
О, не буди его—глубокъ его покой!

8.

Онъ отошелъ въ предѣлы Разрушенья,
И не проснется больше никогда!—
Тѣнь бѣлой Смерти жаждетъ расширенья,
Ростетъ въ чертогѣ сумрачномъ всегда;
И Тлѣнье отведетъ его туда,
Въ послѣдній путь, въ туманное жилище;
И Голода настанетъ череда,
Добычу видя, онъ дрожитъ, какъ нищій,
Измѣнчивость и тьма его наполнятъ пищей.

9.

О, плачьте! Адонаисъ умеръ!—Сны,
Прислужники крылатыхъ Помышленій,
Стада его плѣнительной весны,
Которыя питалъ воздушный Геній
Близь родниковъ мечты и вдохновеній,
Не устремятся отъ ума къ уму,
Принявъ любовь, какъ звуки пѣснопѣній;
Нѣтъ, къ сердцу, что навѣкъ одѣлось въ тьму,
Они, скорбя, сошлись, и, плача, льнутъ къ нему.

10.

Одинъ изъ Сновъ, дрожащими руками
Коснувшись до холоднаго чела,
Воскликнулъ, вѣя лунными крылами,

«Нѣтъ, наша боль, любовь, не умерла,
На бахромѣ рѣсницъ—слеза, свѣтла,
Какъ въ чашечкѣ цвѣтка—роса ночная.»
Не зналъ онъ, что его она была,
Прекрасный Духъ потерянаго Рая!
Сказалъ, и вдругъ исчезъ, какъ тучка въ утро Мая.

11.

Другой изъ урны съ звѣздною росой
Какъ будто бальзамировать сталъ тѣло;
Тотъ прядью, что обрѣзалъ онъ, густой,
Гдѣ жемчугомъ слеза его блестѣла,
Чело украсилъ мертвое несмѣло;
Другой, какъ бы желая умертвить,
Утратой малой, горе безъ предѣла,
Старался лукъ упорный свой сломить,
О щеку мертвую огонь свой остудить.

12.

Еще витало нѣжное Сіянье
Вкругъ устъ его, откуда каждый часъ
Оно привыкло извлекать дыханье,
Чтобъ проникать въ тотъ умъ, гдѣ свѣтъ угасъ,
Въ сердцахъ же загоралось какъ алмазъ,
Но Смерть, лишивъ его того убора,
Оледенила свѣтъ на этотъ разъ;
Оно блеснуло вспышкой метеора
Сквозь члены блѣдные—и скрылось ото взора.

13.

Сошлись туда воздушною толпой
Желанья, Убѣжденья, Поклоненья,
Рѣшенія Судьбы, туманный рой,
Сіянья, Мраки; въ блескахъ, Воплощенья
Надеждъ и страховъ, сны Воображенья,
Восторгъ, отъ слезъ ослѣпшій,—вмѣсто глазъ
Его вела улыбка; Огорченье
Съ семьею Вздоховъ: свѣтъ ихъ жилъ и гасъ,
Какъ осенью туманъ рѣчной въ вечерній часъ.

14.

Все, что любилъ онъ, все, что онъ въ ваяньѣ
Мечты включалъ,—созвучья нѣжныхъ словъ,
Благоуханья, краски, очертанья,
Все говорило:—Нѣтъ пѣвца пѣвцовъ!
Заря, среди восточныхъ облаковъ,
Взошла на башню, кудри распустила,
Подъ стоны опечаленныхъ Громовъ
Глаза, что зажигаютъ день, затмила,
И Океанъ гудѣлъ, подъ вой вѣтровъ, уныло.

15.

Тоскуетъ Эхо межь безгласныхъ горъ,
Его припоминаетъ пѣснопѣнья,
И отклика не шлетъ вѣтрамъ въ просторъ,
Безъ отзвука—ручьи и птичекъ пѣнье,
Пастушій рогъ, и гулкое гудѣнье
Отъ колокола въ часъ передночной;
Нѣжнѣй тѣхъ устъ, изъ-за чьего презрѣнья
Оно возникло тѣнью звуковой,
Любя его уста, оно молчитъ съ тоской.

16.

Весна безумной сдѣлалась въ печали,
И сбросила на землю всѣ листы,
Какъ будто вѣтры Осень къ ней примчали,
Иль стали почки красныя желты;
Къ чему будить ей годъ, рождать мечты?
Былъ Гіацинтъ для Феба упоенье,
И для себя—Нарциссъ,— не такъ, какъ ты:
Для нихъ обоихъ: въ нихъ изнеможенье,
И весь ихъ ароматъ—какъ вздохи сожалѣнья.

17.

О, Адонаисъ, братъ твой, соловей,
Не такъ скорбитъ, подругу воспѣвая,
Не такъ орелъ, средь солнечныхъ зыбей.

Духъ юный свѣтомъ утреннимъ питая,
Кричитъ, когда орлица молодая
Погибла, какъ тоскуетъ Альбіонъ,
Навѣки Адонаиса теряя;
Да будетъ проклятъ Каинъ, кѣмъ, пронзенъ,
Пѣвецъ невинный былъ съ душою разлученъ!

18.

О, горе мнѣ! Зима пришла и скрылась,
Но скорбь вернулась въ новомъ бытіи;
Поютъ ручьи, и зелень распустилась,
И ласточки кружатся въ забытьи,
И живы пчелы, живы муравьи,
Могила Года вся блеститъ цвѣтами,
И птицы строятъ домики свои,
И золотыми свѣтится огнями
Рой ящерицъ и змѣй, разбуженныхъ лучами.

19.

Черезъ поля, потоки, и лѣса,
Отъ безднъ Земли до глуби Океана,
Порывъ могучей жизни разлился;
Все движется, какъ въ зыби каравана,
Какъ было въ утро міра,—въ мірѣ, рано,
Надъ Хаосомъ впервые вспыхнулъ свѣтъ;
И все живетъ, все рвется изъ тумана;
Во мглѣ нѣжнѣй сіянія планетъ,
Мельчайшій изъ живыхъ въ восторгъ любви одѣтъ.

20.

И чумный трупъ, согрѣтъ прикосновеньемъ
Той ласки, превращается въ цвѣты,
Горящіе лучистымъ упоеньемъ,
Какъ звѣзды, что ниспали съ высоты;
У смерти озаряются черты;
Нѣтъ смерти. Неужели же въ богатомъ
Расцвѣтѣ гибнутъ наши лишь мечты?
Лишь то, что знаетъ,—напряженный атомъ,—
Горитъ, чрезъ мигъ погасъ, и мертвымъ скрытъ закатомъ!

21.

Увы, все то, что въ немъ любили мы,
Сокрылося подобно легкой пѣнѣ,
И наша скорбь—въ объятьяхъ смертной тьмы.
Кто мы? Откуда? На какой мы сценѣ
Актеры или зрители,—о плѣнѣ
Скорбящіе? Въ одинъ водоворотъ
Всѣхъ Смерть ввергаетъ, въ вѣчной перемѣнѣ;
Пока лазуренъ синій небосводъ,
Ночь дню печаль несетъ, годъ омрачаетъ годъ.

22.

Онъ больше не проснется, не проснется!
«Возстань, о, Мать бездѣтная, отъ сна»,
Вскричало Горе, «сердце ужаснется,
Но радость слезъ тебѣ еще дана».
Близь Уранiи всѣ, кого она
Любила,—Сны, и Эхо, и Сверканья,
Вскричали: «Пробудись!» И какъ волна,
Отравленнаго Памятью, Мечтанья,
Прочь изъ своей тиши ушло, дрожа, Сіянье.

23.

Осенняя такъ возникаетъ Ночь,
Вставая изъ туманнаго Востока,
И День лучистый убѣгаетъ прочь,
Земля, какъ трупъ, тоскуетъ одиноко,
Но вольный свѣтъ дневной уже далеко.
Такъ Уранію темный страхъ сразилъ,
Какъ бы туманъ кругомъ налегъ широко,
И бурный вихрь ее, совсѣмъ безъ силъ,
Помчалъ туда, гдѣ скорбь, гдѣ Адонаисъ былъ.

24.

Изъ тайнаго она умчалась Рая
Сквозь лагери и глыбы городовъ,
Гдѣ, сталь и камень вѣчно созерцая,
Сердца грубѣютъ; тяжки отъ оковъ,

Не открываясь для ея шаговъ,
Они ступни воздушныя терзали,
И острія отравныхъ языковъ
И жесткость думъ ту Форму разрывали,
И тамъ цвѣли цвѣты, гдѣ капли крови пали.

25.

Смерть въ склепѣ, на мгновенье пристыдясь
Присутствіемъ живымъ Очарованья,
Вся вспыхнула, и жизнь на мигъ зажглась
Неясно въ тѣлѣ, на устахъ дыханье
Мелькнуло, какъ минутность обаянья,
«Не брось меня, какъ тьму бросаетъ въ ночь
Мигъ молніи!» возникло восклицанье,
Вопль Уранiи!—«Смерть, ты мчишься прочь?»
Смерть обняла ее, но не могла помочь.

26.

«Постой еще! поговори со мною;
Цѣлуй меня,—твой поцѣлуй во мнѣ
Останется, его въ себѣ я скрою,
Твои слова мой мозгъ, горя въ огнѣ,
Въ себя вберетъ, въ непреходящемъ снѣ,
И грустная мечта не прекратится.
О, Адонаисъ, я въ одной странѣ
Съ тобой хотѣла бъ жить и тѣсно слиться,
Но съ Временемъ, увы, нельзя мнѣ разлучиться!

27.

«О, нѣжное дитя, зачѣмъ уйти
Ты поспѣшило, быстрыми шагами,
Отъ торнаго пробитаго пути,
И съ мужествомъ, но съ слабыми руками,
Вступило въ бой съ дракономъ? Онъ съ когтями.
Ты беззащитенъ, онъ въ берлогѣ скрытъ.
Когда бъ ты подождалъ,—взрощенный днями.—
Съ копьемъ-презрѣньемъ, взялъ бы мудрость-щитъ,
Чудовищамъ пустынь твой былъ бы страшенъ видъ.

28.

«Шакалы-трусы, храбрые лишь въ стаѣ,
И вороны, что ищутъ мертвеца,
Объѣдки Разрушенья доѣдая,
Роняя съ крылъ заразу безъ конца, –
Какъ всѣ они бѣжали отъ Пѣвца,
Когда стрѣлой изъ лука золотого
Онъ каждаго коснулся наглеца!
Быть наглыми они не смѣли снова,
Лежатъ у гордыхъ ногъ, что топчутъ ихъ сурово.

29.

«Восходитъ солнце,—гадовъ рой кишитъ,
Зайдетъ,—и въ непроглядной смерти таетъ,
Во мракѣ стынетъ рой эфемеридъ,
И вновь узоръ безсмертныхъ звѣздъ блистаетъ;
Такъ межь людей: вотъ полубогъ витаетъ,
Окуталъ небо, землю обнажилъ,
Исчезъ,– и рой, что блески раздѣляетъ,
Или собою свѣтъ его темнилъ,
Оставилъ ночь души сіяньямъ сродныхъ силъ!»

30.

Она умолкла; пастухи толпою
Отъ горъ пришли, и каждый былъ томимъ,
Въ вѣнкѣ увядшемъ, скорбною мечтою;
И Вѣчности явился Пилигримъ,
Чья слава какъ лазурь была надъ нимъ,
Въ которой были молніи и тучи;
Эринъ, въ усладу горестямъ своимъ,
Послалъ пѣвца воздушнѣйшихъ созвучій,
И сдѣлала любовь—его печаль пѣвучей.

31.

Среди другихъ явился хрупкій Ликъ,
Тѣнь межь людей; онъ тучкой утомленной
Той бури, что ужь кончилась, возникъ:

Я думаю, что грезою безсонной
На красоту Природы обнаженной
Глядѣлъ онъ слишкомъ долго, и за нимъ,
За Актеономъ, стаей разъяренной,
Тѣ мысли, чьимъ огнемъ онъ былъ томимъ,
За жертвою гнались и за отцомъ своимъ.

32.

Подобный леопарду, Духъ прекрасный;—
Любовь, что сквозь отчаянье видна;—
Духъ Силы, что въ борьбѣ живетъ напрасной
Со слабостью;—едва несетъ она
Ту тяжесть, что въ минутѣ намъ дана;
Свѣтъ гаснущій, волна, что вдругъ дробится;—
Вотъ рѣчь о ней, но гдѣ теперь волна?
Цвѣтокъ увялъ, хоть лучъ къ нему стремится,
И сердце порвано, хотя румянецъ длится.

33.

Онъ былъ въ вѣнкѣ увядшемъ, изъ цвѣтовъ
Зовущихся веселыми глазами,
И изъ фіалокъ, чей расцвѣтъ лиловъ;
Онъ легкое копье держалъ руками,
Въ плющѣ, и все обвитое огнями
Лѣсной росы, а на концѣ его
Плодъ кипариса былъ; онъ межь тѣнями
Одинъ былъ, хоть глядѣли на него,
Какъ лань, отставшую отъ стада своего.

34.

Сквозь слезъ всѣ улыбнулись на пристрастье
Его тоски: скорбя, чужое зло
Онъ слилъ съ скорбью своего несчастья,
Оно въ созвучья новыя вошло;
И Уранія, на него свѣтло
Взглянувъ, шепнула: «Кто ты?» Онъ, смущенный,
Вдругъ обнажилъ кровавое чело
Съ клеймомъ, и такъ стоялъ, окровавленный,
Какъ Каинъ, или Христосъ.—О, ликъ тоски безсонной!

35.

Чей голосъ надъ умершимъ прозвучалъ,
Нѣжнѣй? Онъ смолкъ. Кто, ликъ свой закрывая,
Надъ бѣлой смертью скорбной тѣнью всталъ,
Надгробнымъ изваяньемъ возникая?
Въ чьемъ сердцѣ глухо бьется скорбь нѣмая?
Коль это Онъ, нѣжнѣйшій межь умовъ,
Кто мертваго всегда цѣнилъ, встрѣчая
Сочувствіемъ,—умолкнуть я готовъ,
Чтобъ не смущать его, скорбящаго безъ словъ.

36.

Нашъ Адонаисъ выпилъ чашу съ ядомъ!
Какой глухой, съ змѣиною душой,
Принесъ конецъ чуть начатымъ усладамъ?
Хотѣлъ бы червь быть больше не собой,
Онъ понялъ сладость пѣсни неземной,
Той пѣсни, чье чудесное начало
Будило зависть, мыслей смутный рой,
И лишь въ единой груди зарычало,
Что пѣсенъ ждетъ того, чья лютня отзвучала.

37.

Живи, змѣя, ничтожная средь змѣй,
И отъ меня не бойся воздаянья!
Но будь собой, и быть собой умѣй,
Ты, жалкое пятно воспоминанья!
Копи свой ядъ, злосчастное созданье,
Изливъ его, тѣмъ низкій духъ измѣрь,
Тебѣ—въ Самопрезрѣньи наказанье,
Ты жгучій стыдъ узнаешь, подлый звѣрь,
И виноватымъ псомъ ты вздрогнешь какъ теперь!

38.

Зачѣмъ скорбѣть, что нашъ восторгъ далеко
Отъ коршуновъ, чьимъ крикомъ міръ смущенъ?
Онъ бодрствуетъ иль спитъ въ тиши глубоко,
Не воспаришь туда, гдѣ нынѣ онъ.—

Прахъ въ прахъ! Но долженъ духъ быть возвращенъ
Къ источнику, желанному для взора,—
Часть Вѣчнаго, что въ зыбкости временъ
Незыблемо горитъ въ огняхъ узора,
Межь тѣмъ какъ пепелъ твой грязнитъ очагъ позора.

39.

Молчанье! Онъ не умеръ, онъ не спитъ,—
Отъ жизненнаго всталъ онъ сновидѣнья—
Насъ буря лживыхъ грезъ, взметая, мчитъ,
Вступаемъ мы въ безплодное боренье,
Ножъ духа мы вонзаемъ въ привидѣнья,
Ничто неуязвимыя разимъ—
Мы, точно трупы, въ склепахъ, въ царствѣ тлѣнья,
Ветшаемъ, пыткамъ преданы своимъ,
И рой надеждъ въ себѣ, какъ рой червей, хранимъ.

40.

Онъ выше нашей ночи заблужденья;
Терзанье, зависть, клевета, вражда,
Тревога, что зовется—наслажденье,
Къ нему не прикоснутся никогда,
Мірской заразы въ вольномъ нѣтъ слѣда,
Не будетъ онъ скорбѣть, иль плакать бурно,
Что голова безвременно сѣда,
Что сердце стынетъ, что мечта мишурна,
Что духъ усталъ горѣть, полна лишь прахомъ урна.

41.

Онъ живъ, онъ есть,—Смерть умерла, не онъ;
Живъ Адонаисъ! Вся въ росѣ блистая,
Зажгись, Заря,—съ тобой не разлученъ
Тотъ духъ, о комъ тоскуешь ты, рыдая;
Лѣса, не трепещите такъ, вздыхая!
Цвѣты, цвѣтите, смолкни, глубь пещеръ,
Развѣйся, Воздухъ, Землю обнажая,
Чтобъ ликъ ея цвѣтистъ былъ, а не сѣръ,
Улыбку сонмы звѣздъ ей шлютъ изъ вышнихъ сферъ.

42.

Съ Природою онъ слился воедино:
Во всѣхъ ея напѣвахъ—звукъ его,
Отъ громкихъ гуловъ грома-властелина
До пѣнья соловья: среди всего,
Въ лучахъ, во тьмѣ, вліянье своего
Присутствія сознанью онъ являетъ,
Въ цвѣтахъ, въ камняхъ—путь жизни для него;
Та Власть любви его съ собой сливаетъ,
Что держитъ міръ внизу, и сверху зажигаетъ.

43.

Онъ часть той красоты, что дѣлалъ онъ
Еще, когда-то, болѣе прекрасной:
Когда сквозь міръ, сквозь этотъ тусклый сонъ,
Лѣниво-плотный, Духъ проходитъ властный,
Онъ новымъ сонмамъ ликовъ,—съ нимъ согласный,—
Даетъ черты законченныхъ вещей,—
Всѣмъ выгаркамъ, съ ихъ тупостью напрасной.
Даетъ свое подобье, блескъ лучей,—
Горитъ сквозь міръ звѣрей, деревьевъ, и людей.

44.

На небосводѣ времени—сіянье
Возможно затемнить, убить нельзя;
Смерть—лишь туманъ съ непрочностью вліянья,
У нихъ, какъ у созвѣздій, есть стезя,
И съ высоты они горятъ, сквозя
Сквозь мракъ. Когда возвышенныя думы
Вздымаютъ сердце юное, скользя
Съ нимъ въ воздухѣ, тамъ слышны споры, шумы,—
Что̀ будетъ суждено, свѣтъ или мракъ угрюмый?

45.

Толпою, каждый покидая тронъ,
Наслѣдники мечты недовершенной,
Возстали, тамъ, въ Незримомъ. Чаттертонъ,

Еще предсмертной мукою смущенный;
Сидней, какимъ онъ жилъ, какъ палъ, сраженный,
Какъ, кроткій, онъ возвышенно любилъ;
Луканъ, своею смертью вознесенный;
Забвеніе, при видѣ свѣтлыхъ силъ,
Отпрянуло, и мракъ далеко отступилъ.

46.

И многіе, чьи имена негромки,
Но сущность чья излитая живетъ,—
Какъ пламя, бороздящее потемки,
Мать-искру переживъ, сіянье льетъ,—
Наполнили лучами небосводъ.
«Гори, теперь ты нашъ», они вскричали,
«На Небѣ Пѣсенъ вонъ свѣтильникъ тотъ
Молчалъ такъ долго, ждалъ тебя въ печали.
Займи крылатый тронъ, о, Весперъ нашей дали!»

47.

Кто стонетъ «Адонаисъ»? О, пойми
Себя, его,—взгляни, узнай воочью,
Душой дрожащей Землю обними,
И къ этому прильнувши средоточью,
Лучистому отдавшись полномочью,
Струи свой свѣтъ за грани всѣхъ міровъ;
Потомъ туда, гдѣ день нашъ съ нашей ночью,
Уйди, не то низвергшись съ облаковъ,
Ты въ бездну упадешь, заманенъ лаской сновъ.

48.

Иль въ Римъ иди, что сдѣлался гробницей —
О, не его, а нашихъ сновъ мечты;
И пусть вѣка и царства, вереницей,
Въ обломкахъ тамъ лежатъ средь пустоты,
Что создали они же: красоты
Такой, какъ онъ, у тѣхъ не занимаетъ,
Кто грабитъ міръ; о, нѣтъ, его черты
Средь тѣхъ, кто мыслью всѣмъ завладѣваетъ,
Изъ прошлаго лишь мысль одна не умираетъ.

49.

Да, въ Римъ ступай, онъ сразу—склепъ, Эдемъ,
И городъ, и пустыня вѣковая;
И тамъ, гдѣ сонмъ руинъ старинныхъ—нѣмъ,
Обломками разбитыхъ горъ вставая,
И остовъ Разрушенья одѣвая,
Иди, пока въ томъ царствѣ мертвецовъ
Тебя Духъ мѣста къ склону, гдѣ живая
Улыбка травъ, не приведетъ въ міръ сновъ,
Средь дѣтской радости смѣющихся цвѣтовъ.

50.

Тупое время кормится камнями,
Какъ скрытый блескъ—сѣдою головней,
И, ветхими окружена стѣнами,
Вздымаетъ пирамида обликъ свой,
Пріютъ того, кто создалъ здѣсь мечтой
Завѣтный тихій міръ воспоминанья;
Внизу могилъ позднѣйшихъ виденъ строй,
Они подъ Небомъ, льющимъ къ нимъ сіянье,
Тому, кто дорогъ намъ, шлютъ тайное дыханье.

51.

Помедли здѣсь: могилы всѣ кругомъ
Такъ молоды, что возлѣ каждой, тая,
Скорбь не вполнѣ еще забылась сномъ;
И, если здѣсь печать лежитъ нѣмая
На родникѣ души, въ ней боль скрывая,
Не тронь ее. О, возвратясь домой,
Въ свой духъ взгляни, тамъ желчь найдешь, рыдая.
Отъ бурь укройся въ сѣни гробовой!
Гдѣ Адонаисъ, тамъ бояться ль быть душой?

52.

Единое нетлѣнно остается,
Различности мѣняются, ихъ нѣтъ;
Надъ шаткой тѣнью лучъ отъ вѣка льется:
Жизнь, чьи цвѣта столь многи въ смѣнѣ лѣтъ,

Свѣтъ Вѣчности пятнаетъ, бѣлый свѣтъ,
Пока не глянетъ Смерть.—Коль ты сліянья
Съ тѣмъ хочешь, что ты ищешь,—вотъ завѣтъ:
Умри!—Цвѣты, руины, изваянья,
Все—лишь намекъ на то, въ чемъ безъ границъ сіянье.

53.

О, Сердце, что жь ты медлишь? Погляди,
Ушли твои надежды безъ возврата.
Куда умчалось все, и ты иди.
Во всѣхъ вещахъ поблеклость и утрата,
Годъ кругъ свершилъ, нѣтъ больше аромата,
Ни въ комъ, ни въ чемъ; и, если что пьянитъ,
Такъ лишь затѣмъ, чтобъ сердце было сжато.
Чу! Адонаисъ! Вѣтеръ шелеститъ!
Пусть Жизнь не дѣлитъ то, что Смерть соединитъ.

54.

Тотъ Свѣтъ, что нѣжно дышетъ во Вселенной,
Та Красота, въ которой все живетъ
И движется, та Благодать, что съ плѣнной
Зловѣщей тьмой рожденья бой ведетъ,
Любовь, что свѣтъ сквозь ткани жизни льетъ,—
Сплетаемыя воздухомъ, землею,
Людьми, звѣрьми,—и блескъ различный шлетъ,
Какъ явитъ каждый зеркало собою,—
Все свѣтитъ на меня, и смертность таетъ мглою.

55.

Дыханіе, чью власть я въ пѣснь призвалъ,
Нисходитъ на меня; ладью мечтанья
Отъ береговъ далеко вихрь умчалъ,
Прочь отъ толпы, чей парусъ чуждъ дыханья
Могучихъ бурь; въ разрывахъ міровданья
Разъединенъ съ землею небосводъ.
Такъ страшно въ тьму я мчусь, межь тѣмъ сіянье,
Маякъ-звѣзда, мнѣ Адонаисъ шлетъ
Изъ сокровенныхъ сферъ, гдѣ Вѣчное живетъ.

# 1821.

# ЭЛЛАДА.

*ЛИРИЧЕСКАЯ ДРАМА.*

Я вѣстникъ благородныхъ битвъ.

*Софоклъ. Эдипъ въ Колонѣ*

# ПРЕДИСЛОВІЕ.

Поэма *Эллада*, написанная подъ вліяніемъ событій момента, является простой импровизаціей, и заимствуетъ весь свой интересъ (если только будетъ найдено, что въ ней есть какой-либо интересъ), исключительно изъ глубокаго сочувствія, которое Авторъ испытываетъ къ прославляемому имъ предпріятію.

Въ данномъ своемъ состояніи, этотъ сюжетъ не можетъ быть разрабатываемъ иначе, какъ лирически; и если я назвалъ эту поэму драмой, благодаря тому, что она раздѣлена на діалоги, вольность, допущенная мною, не больше, чѣмъ допускаемая иными поэтами, которые называютъ свои произведенія эпическими поэмами лишь потому, что они раздѣлены на двѣнадцать книгъ, или двадцать четыре книги.

*Персы* Эсхила послужили мнѣ первымъ образцомъ для моего замысла, хотя разрѣшеніе славнаго состязанія, нынѣ предпринятаго въ Греціи, будучи еще неопредѣленнымъ, возбраняетъ катастрофу, подобную возвращенію Ксеркса и истребленію Персовъ. Я ограничился, поэтому, изображеніемъ цѣлаго ряда лирическихъ картинъ, и созданіемъ на занавѣсѣ будущаго, упадающемъ надъ недовершенной сценой, такихъ неясныхъ и призрачныхъ фигуръ, которыя внушаютъ конечное торжество Грековъ, какъ нѣкоторую часть нашей цивилизаціи и общественнаго преуспѣянія.

Драма, однако же (если нужно называть ее драмой), настолько безъискусственна, что я сомнѣваюсь, чтобы, будучи продекламирована на Θеспійской колесницѣ въ какомъ-нибудь Аѳинскомъ селеніи во время празднествъ Діониса, она была увѣнчана, и я получилъ бы, въ вознагражденіе, козла. Я спокойно перенесу и большее наказаніе, чѣмъ потеря такого вознагражденія, всякое наказаніе, которое мнѣ назначатъ Аристархи даннаго часа.

Единственная увѣнчанная пѣснь, которую я до сихъ поръ предпринялъ, признаюсь, несмотря на неблагопріятныя свойства сюжета, снискала бо́льшія и болѣе цѣнныя одобренія, чѣмъ я ожидалъ, или чѣмъ она заслуживала *).

Общіе слухи — единственный источникъ, на который я могу ссылаться, говоря о частностяхъ, послужившихъ основаніемъ для моей поэмы, и я долженъ взывать къ снисходительности моихъ читателей, за выказанную мною газетную эрудицію, къ которой я былъ вынужденъ. Нѣтъ сомнѣнія, что до окончанія войны невозможно будетъ получить вполнѣ достовѣрный разсказъ о ней, который могъ бы служить историческимъ матеріаломъ; но у поэтовъ есть своя привилегія, и нѣтъ сомнѣнія, что Греки совершили дѣянія самой возвышенной храбрости—что они выиграли болѣе чѣмъ одну морскую битву—и что ихъ пораженіе въ Валахіи было отмѣчено обстоятельствами героизма, болѣе славными даже, чѣмъ побѣда.

Равнодушіе правителей цивилизованнаго міра предъ изумительнымъ зрѣлищемъ потомковъ того народа, которому они обязаны своей цивилизаціей, возставшихъ какъ бы изъ пепла своей гибели, представляетъ изъ себя нѣчто совершенно необъяснимое для простого созерцателя панорамы земной сцены. Мы всѣ Греки. Наши законы, наша литература, наша религія, наши искусства имѣютъ свои корни въ Греціи. Не будь Греціи, Римъ, учитель, завоеватель, и столица нашихъ предковъ, не распространилъ бы просвѣщенія своимъ оружіемъ, и мы могли бы еще быть дикими и идолопоклонниками; или, что хуже, мы могли бы достичь того застоя и того жалкаго состоянія общественныхъ учрежденій, какіе мы видимъ въ Китаѣ и въ Японіи.

Человѣческій обликъ и человѣческій умъ достигли въ Греціи совершенства, отпечатлѣвшаго свой образъ въ тѣхъ безупречныхъ созданіяхъ, обломки которыхъ вызываютъ отчаяніе современнаго искусства, и послужили исходной точкой для непрерываемыхъ стремленій — черезъ тысячу каналовъ яснаго или незамѣтнаго дѣйствія— облагораживать и услаждать человѣчество до погашенія расы.

*) Шелли разумѣетъ трагедію *Ченчи*, имѣвшую въ Англіи большой успѣхъ еще при его жизни.

*К. Б.*

Современные Греки представляютъ изъ себя потомковъ тѣхъ славныхъ существъ, которыхъ воображеніе почти отказывается представить себѣ какъ принадлежащихъ къ нашей расѣ, и они унаслѣдовали многое изъ ихъ впечатлительности, ихъ быстроты воспріятія, ихъ энтузіазма, и ихъ храбрости. Если во многихъ отношеніяхъ современный Грекъ низведенъ, моральнымъ и политическимъ рабствомъ, до проявленія самыхъ низкихъ пороковъ, имъ порождаемыхъ, ниже уровня обыкновенной деморализаціи, подумаемъ о томъ, что порча лучшихъ создаетъ худшее, и что нравы, существующіе лишь въ связи съ особеннымъ состояніемъ общественныхъ учрежденій, какъ можно думать, прекратятся, лишь только это соотношеніе исчезнетъ. Дѣйствительно, Греки, съ тѣхъ поръ какъ прекрасная новелла *Анастасій* *) дала вѣрную картину ихъ нравовъ, пережили перемѣны первостепенной важности; цвѣтъ ихъ молодежи, возвращаясь на родину изъ Итальянскихъ, Германскихъ, и Французскихъ университетовъ, сообщилъ своимъ соотечественникамъ послѣдніе результаты того соціальнаго совершенства, первичнымъ источникомъ котораго были ихъ предки. Въ Кіосскомъ университетѣ, передъ тѣмъ какъ разразилась революція, было восемьсотъ студентовъ, и среди нихъ были Германцы и Американцы. Щедрость и энергія многихъ Греческихъ князей и коммерсантовъ, направленныя на обновленіе ихъ родины тѣмъ духомъ и той мудростью, примѣровъ которой очень мало, заслуживаютъ всяческихъ похвалъ.

Англичане позволяютъ своимъ собственнымъ притѣснителямъ дѣйствовать согласно съ ихъ естественной симпатіей къ Турецкому тирану, позволяютъ пятнать свое имя незабываемымъ клеймомъ союза съ врагами домашняго счастья, Христіанства и Цивилизаціи.

Россія хочетъ не освободить Грецію, а завладѣть ей; она съ удовольствіемъ смотритъ, какъ Турки, ея естественные враги, и Греки, ея предполагаемые рабы, ослабляютъ другъ друга, пока одинъ изъ этихъ народовъ или оба не попадутъ въ ея сѣти. Политика Англіи была бы великодушной и мудрой, если бы она установила независимость Греціи, и поддержала бы ее какъ противъ Россіи, такъ и противъ Турціи. Но когда притѣснитель былъ великодушнымъ или справедливымъ?

---

*) Повѣсть Томаса Хопа (Лондонъ, 1819), рисующая Греческіе нравы въ XVIII-мъ вѣкѣ. *К. Б.*

Испанскій полуостровъ уже свободенъ. Франція спокойно наслаждается частичнымъ освобожденіемъ отъ злоупотребленій, которыя ея противоестественное и слабое правительство тщетно старается оживить. Сѣмена крови и злосчастья были посѣяны въ Италіи, и болѣе сильная раса возстаетъ для жатвы. Міръ ждетъ только вѣстей о революціи въ Германіи, чтобы увидать, что тираны, укрѣпившіеся въ ней, благодаря тому, что она повержена навзничь, были низвергнуты въ пропасть, изъ которой они не поднимутся уже никогда. Эти разрушители человѣчества хорошо знаютъ своего врага, когда они приписываютъ возстаніе въ Греціи тому же самому духу, передъ которымъ они трепещутъ въ остальной Европѣ, и этотъ врагъ хорошо знаетъ силу и коварство своихъ противниковъ, онъ ждетъ только момента ихъ приближающейся слабости и неизбѣжнаго раздѣленія, чтобы вырвать изъ ихъ рукъ кровавые ихъ скипетры.

Его свѣтлости

князю Александру Маврокордато,

бывшему секретарю Иностранныхъ Дѣлъ

при Господарѣ Валахіи,

посвящается

ДРАМА ЭЛЛАДЫ,

какъ несовершенный знакъ преклоненія, симпатіи,

и дружбы.

*Авторъ.*

изз, 1-го ноября 1821.

## ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Махмудъ.
Гассанъ.
Даудъ.
Агасферъ, еврей.
Хоръ Греческихъ плѣнницъ.
Вѣстники, рабы, и свита.

Сцена: Константинополь. Время: Закатъ солнца.

Сцена—терраса въ Сералѣ. Махмудъ спитъ; Индійская Рабыня сидитъ около его ложа.

ХОРЪ ГРЕЧЕСКИХЪ ПЛѢННИЦЪ.

Роняемъ мы сонные эти цвѣтки,
Чтобъ съ ними увидѣлъ ты сны,
Они отъ Востока, воздушны, легки,
Индійской волной взрощены.
Пусть будетъ твой сонъ
Ничѣмъ не смущенъ,
Какъ тѣхъ, кто навѣки съ землей разлученъ,
Не нашъ—мы рыдаемъ, сдержавши свой стонъ.

ИНДІАНКА.

Уйди, о, мрака торжество,
Уйди, о, лживыхъ сновъ потокъ.
Пусть будетъ свѣтлый сонъ его
Какъ небо ясенъ и глубокъ.
Пусть въ немъ возникнетъ ласка сна,
Тиха, какъ смерть, какъ тишина,
Какъ ночь Іюньская, ясна,
И, какъ сама любовь, нѣжна.

ХОРЪ.

Усни, наша тихая пѣсня полна
Душою дремотною сна;
Самосская дѣвушка пѣла ее,
Утративъ блаженство свое.
Женихъ у нея—между тѣхъ навсегда,
Чей сонъ—какъ глубокая въ морѣ вода,
Межъ тѣхъ, что не встанутъ для слезъ никогда.

ИНДІАНКА.

Я къ блѣднымъ твоимъ прикасаюсь вискамъ,
Вздохнувши, я душу сливаю съ тобой.
И, если мой зовъ долетитъ къ небесамъ,
Я къ небу съ такой обращаюсь мольбой:
Пусть радость мнѣ больше не будетъ дана,
Пусть буду я жить, чтобъ рыдать, какъ волна.
Но часъ бы узналъ ты спокойнаго сна.

ХОРЪ.

Напѣвъ мы теперь заглушимъ.
Пусть таютъ созвучья, какъ дымъ.
Пусть чара Владычицы мощной свершится.
Когда, напитавши, насытивъ змѣю,
Баюкаетъ Совѣсть ехидну свою,
И деспотамъ сладкое снится,
Пусть Вольность проснется тогда къ бытію.
Пророчество Вольности блескомъ своимъ
Сквозь землю, какъ скрытый огонь, заструится,
Пусть таютъ созвучья, какъ дымъ.
Мы звукъ утишимъ, заглушимъ.

ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Жизнь можетъ измѣняться, не можетъ жизнь уйти;
Надежда можетъ блекнуть, но ей не отцвѣсти;
Затмиться можетъ Правда, но въ ней живая кровь,
Топчи Любовь, исчезнетъ—и возвратилась вновь.

ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Но угрюмымъ бы кладбищемъ жизнь намъ была,
Гдѣ Надежда бъ съ Отчаяньемъ въ гробѣ спала,
Правда стала бъ святилищемъ лжи навсегда.
И Любовь сладострастьемъ бы стала. –

ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Когда
Вольность жизни бы свѣтлой души не дала,
И Надеждѣ бы радугъ своихъ не сплела,

И для Правды устала бы мантію прясть,
И Любви не дала бы щедротную власть.

ХОРЪ.

Въ великомъ утрѣ міра стягъ Свободы
Надъ Хаосомъ духъ Бога развернулъ,
И встали мощные народы,
Рой деспотовъ, услышавъ гулъ
Ихъ голосовъ, постигъ предвозвѣщенье,
И такъ, какъ коршуны испуганно летятъ,
Средь горъ услышавъ шагъ землетрясенья,
Бѣжалъ испуганный ихъ рядъ.—
Во Времени, въ его разсвѣтѣ бурномъ,
Блескъ Вольности, идя путемъ лазурнымъ,
Зажегъ прозрачный небосклонъ:—
Тотъ свѣтъ упалъ на Θермопилы,
Тотъ блескъ упалъ на Мараѳонъ,
Такъ свѣтъ отъ маяка идетъ на горный склонъ.
Съ высотъ огонь лучистой силы
Внизъ на Филиппы снизошелъ,
Какъ съ высоты на мысъ спускается орелъ.
Неутомимыя Свободы свѣтлой крылья
Раздули скрытый жаръ въ золѣ
Милана, спавшаго во мглѣ,
И онъ проснулся отъ безсилья.
Огонь прошелъ изъ вѣка въ вѣкъ,
Отъ человѣка человѣкъ
Сіянье свѣтлое воспринялъ, и, сверкая,
Страна странѣ какъ бы послала звонъ,
Швейцарія блеснула, гнетъ свергая,
Флоренція, и гордый Альбіонъ.
Ниспала ночь; но съ небосвода,
Какъ будто бы изъ тьмы ночной,
Возобновивши бѣгъ огнистый свой,
Явилась быстрая Свобода
Отъ Запада,—отринувъ приговоръ,
Что тьмою затянулъ просторъ,
Вторичнымъ солнцемъ засвѣтилась,—

Чтобъ жечь. сжигать, свѣтить, роскошно озарилась.
Отъ дальней Атлантиды токъ лучей
Развѣялъ сны, прогналъ толпу тѣней.
Кровавымъ чадомъ Франція сокрыла
Ея огонь, но погасить его
Была не въ силахъ; и явила
Она опять весь блескъ сіянья своего,
Сверкнувши отъ границъ Германіи могучей
Вплоть до Испаніи. Какъ на зарѣ орелъ,
Презрѣвши бурный громъ, рожденный черной тучей,
Летитъ къ обрыву горъ, гдѣ кедра мощный стволъ,—
Гнѣзда возжаждавъ своего,—
Гдѣ ждетъ свистѣнья крылъ его,
Вперяя въ воздухъ дикій взглядъ,
Семья голодная орлятъ,—
Такъ нынѣ Вольность вновь пришла
Къ странѣ, что Греціей была.
И сонмъ сѣдыхъ ея руинъ,
Какъ на Востокѣ снѣгъ вершинъ,
Объятыхъ лучезарнымъ днемъ,
Горитъ пылающимъ огнемъ;
И правду молній шлетъ гроза,
Но ослѣпленные глаза
Своихъ птенцовъ орелъ прикрылъ
Широкой тѣнью мощныхъ крылъ.
Вездѣ, о, Вольность, оставляй
Пустыню, или свѣтлый Рай:
Чтобы красивый и смѣльчакъ
Зналъ славу, иль могильный мракъ.

ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Веселья дарами
Эллада твою колыбель осѣнила;

ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Печали слезами
Эллада твой саванъ, скорбя, оросила.

ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Любя, сиротою,
Твой гробъ черезъ Время она провожала;

ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

И, свѣтлой съ тобою,
Въ твоемъ возрожденіи свѣтломъ предстала.

ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Коль въ Небо войдешь ты,
Ввысь, духомъ, на Небо она устремится;

ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Коль въ Адъ снизойдешь ты,
Сойдетъ она въ Адъ, чтобы съ тобою тамъ слиться.

ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Коль Гибель Свободѣ—

ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Пусть блескъ ея, прахомъ, во прахѣ пребудетъ.
И пусть о народѣ,
Объ имени даже все въ мірѣ забудетъ.

ИНДІАНКА.

Чело его хмурится.—Тише—молчите—
Онъ дрогнулъ—онъ вздрогнулъ отъ сна своего.
Любить вы не можете, нѣтъ, не хотите,
Вздыхаете громко, и вотъ, посмотрите,
Вѣдь вы наконецъ разбудили его.

МАХМУДЪ *(судорожно просыпаясь)*.

Ворота укрѣпить! Поставить стражу
Къ Сералю! Какъ, лишь три часа пальбы—
И пораженье? Это невозможно,
Еще нельзя войти въ брешь у Босфора.
Кто суматоху поднимаетъ тамъ?

Стоять у фитилей; коль врагъ нахлынетъ,
Единой искрой можно примирить
Во взрывѣ разрушенья—побѣжденныхъ
И тѣхъ, кто побѣдилъ. Низвергнуть башню
Въ проломъ, разрушить сводъ!

(*Входитъ Гассанъ*)

А! что такое!
Въ мой сонъ день заглянулъ своею правдой,
И я Махмудъ, какъ прежде.

ГАССАНЪ.

Государь
Взволнованъ необычно.

МАХМУДЪ.

Время, тая,
Бросаетъ тѣни странныя на тѣхъ,
Кто долженъ наблюдать его теченье,
Не то они, въ опасности, какъ въ славѣ,
Стоящіе на первомъ мѣстѣ, могутъ
Быть схвачены отливной силой волнъ:—
Такія тѣни и сейчасъ со мною.
Три раза такъ угрюмое видѣнье
Отъ сна меня вогнало въ смутный день:
Оно мутитъ мой духъ, какъ буря—море,
На зеркалѣ моихъ воспоминаній
Не оставляя никакой черты.
Быть можетъ, это... Но объ этомъ будетъ.
Ты говорилъ, что ты Еврея зналъ,
Чей духъ есть свитокъ лѣтописи странной
Забытыхъ и таинственныхъ вещей.
Я повелѣлъ, чтобъ онъ сюда явился:—
Какъ говорятъ, сыны его народа
Сны видятъ, и умѣютъ изъяснять ихъ.

ГАССАНЪ.

Я объ Евреѣ говорилъ: онъ старъ,
Такъ старъ, что можно было бы подумать—

Что нѣкій міръ погибъ, а онъ все живъ;
Сѣдыя горы, океанъ, покрытый
Морщинами, на видъ его моложе;—
И волосы, и борода его
Бѣлѣй, чѣмъ снѣгъ, просѣянный метелью;
Артеріи, въ которыхъ нѣтъ біенья,
И блѣдный цвѣтъ его холодныхъ членовъ—
Какъ бы волокна облака, въ которомъ
Сіяетъ свѣтъ, и для души, чьей властью
Они живутъ, и движутся, суть то,
Что атомы снѣговъ, межь горъ лежащихъ,
Для зимняго дыханья горныхъ бурь;—
Но жизнь неногасимой мысли свѣтитъ
Изъ глазъ его, и проницаетъ все—
Даль этихъ дней, и прошлыхъ, и грядущихъ.
Иные говорятъ, что онъ—тотъ самый,
Кому пророкъ великій, Іисусъ,
Іосифомъ рожденный, за насмѣшку
Въ насмѣшку далъ проклятіе безсмертья;
Иные говорятъ, что онъ Энохъ;
Преадамита видятъ въ немъ другіе.
И говорятъ, что пережилъ онъ циклы
Рожденія и гибели. Мудрецъ,
Воистину, ужаснымъ воздержаньемъ,
И умерщвленьемъ плоти непослушной,
Глубокимъ созерцаньемъ, изученьемъ,
Что внѣ границъ людскихъ лѣтосчисленій,
Верховной могъ достичь и мудрой власти
Надъ сильными и тайными вещами,
Надъ силой мыслей царственныхъ, чьей тайны
Не вѣдаютъ другіе и боятся.

МАХМУДЪ.

Съ Евреемъ этимъ старымъ я хотѣлъ бы
Поговорить.

ГАССАНЪ.

Какъ разъ твое желанье
Содѣлали теперь ему извѣстнымъ,

Тамъ, гдѣ въ морской пещерѣ онъ живетъ,
Межь Демоновъ, и менѣе доступный.
Чѣмъ ты, иль Богъ. Кто хочетъ говорить съ нимъ,
Тотъ долженъ, на закатѣ, плыть одинъ
Къ предѣламъ, гдѣ теченье Океана
Вкругъ острововъ безднѣнныхъ тихо дремлетъ.
Когда на западъ мѣсяцъ молодой
Уходитъ, какъ теперь, и вздохъ вечерній
Плыветъ надъ гладью волнъ: и вотъ, когда
Мракъ сосенъ островныхъ—пчелиныхъ пастбищъ,
Зовущихся зеленымъ Эребинтомъ—
Погаситъ тѣнь огнистую отъ лодки
Въ сафировой водѣ, тотъ смѣлый кормчій
Въ безлюдьи долженъ крикнуть—«Агасферъ!»,
И «Агасферъ»—звучатъ въ отвѣтъ пещеры.
Коль выслушана будетъ просьба, слабый
Возникнетъ предъ просящимъ метеоръ
Надъ блѣдной влагой Мраморнаго моря,
И, вырвавшись изъ чащи, полной вздоховъ,
Шумящихъ сосенъ, вѣтеръ донесетъ
Какъ будто бурю сладостныхъ созвучій,
Неизреченныхъ, и его направитъ
Къ Босфору черезъ мягкій полумракъ:
Отсюда-то, въ тотъ часъ, и въ мѣстѣ томъ,
И при условьяхъ тѣхъ, что благотворны
Для самаго предмета ихъ бесѣды,
Является Еврей. Немного смѣлыхъ,
Которые дерзнутъ, и изъ дерзнувшихъ
Немного тѣхъ, которые получатъ
Возможность разговоръ вести желанный...
Но этотъ крикъ есть вѣсть—

*(Крикъ за сценой)*

МАХМУДЪ.

Конечно, зла.
Какъ всѣ людскіе звуки. Я желаю
Вести бесѣду съ духами.

ГАССАНЪ.

Опять!

МАХМУДЪ.

Итакъ Еврей, котораго призвалъ ты—

ГАССАНЪ.

Здѣсь будетъ—

МАХМУДЪ.

Въ тотъ всевластный мощный часъ,
Съ которымъ слиты мы, онъ, я, всѣ вещи,—
Довольно. Укроти мятежныхъ этихъ,
Заставь умолкнуть пьяныхъ моряковъ,
Что въ бурю возлѣ кормчаго столпились.
Избавь отъ головы того, кто первый,
Покой теперь мнѣ нуженъ,—надоѣли.
Цари—какъ звѣзды; всходятъ и заходятъ,
Ихъ въ мірѣ чтутъ, но имъ покоя нѣтъ.

*(Уходятъ порознь)*

ХОРЪ.

Потокомъ несутся міры за мірами,
Отъ мига созданья до гаснущихъ лѣтъ,
Такъ влага рѣчная встаетъ пузырями,
Мелькнули, блеснули, погибли, ихъ нѣтъ.
Но все еще живетъ твореньe,
И все еще безсмертны тѣ.
Кто сквозь восточный входъ рожденья,
И по смертельной темнотѣ,
Изъ бездны бѣгъ свой устремляетъ,
Всѣ тѣ, что, сердцемъ горячи,
Въ прахъ одѣваются, въ лучи;
Вкругъ колесницъ ихъ жизнь сбираетъ
Мельканье свѣта и тѣней;
Для мысли пламенной своей,
Соткать имъ можно новыя видѣнья,
Законы новые, и новый сонмъ боговъ,
Исполненныя мрака иль горѣнья,

Согласно съ тѣмъ, какой покровъ,
По волѣ своего хотѣнья,
Они на блѣдный Смерти ликъ
Набросили въ послѣдній мигъ.

Власть отъ невѣдомаго Бога,
От Прометеевскаго духа снизошла;
Стыда и смерти трудная дорога
Ему побѣднымъ шествіемъ была.
Ликъ смертный для него, любившаго глубоко,
Былъ какъ туманно-дымный паръ,
Пронизанный сіяньемъ чаръ
Звѣзды плѣнительной Востока:
Неволя, Адъ, и Грѣхъ пришли,
И псами жадными, но кроткими, легли,
И были смирными, пока ихъ Богъ не скрылся;
И полумѣсяцъ, тамъ вдали,
Какъ Магомета знакъ, явился;
Но этотъ серпъ луны зайдетъ,
Межъ тѣмъ какъ яркій крестъ, превыше тьмы и бури,
Блистая для племенъ въ полуденной лазури,
Вести ихъ будетъ все впередъ.

Какъ формы свѣтлыя блаженныхъ сновидѣній
Бѣгутъ отъ глазъ того, кто видѣлъ Рай во снѣ,
И съ несчастливцемъ только тѣни.
Земныя тѣни въ тускломъ днѣ,
Такъ Силы воздуха, и Силъ толпа земная
Бѣжали быстро, отступая
Предъ Вифлеемскою звѣздой:
Панъ, Аполлонъ, Любовь сокрыли обликъ свой,
Самъ Олимпійскій Зевсъ, поникъ, вздохнувъ уныло,
Всезрячей Истины лицо ихъ всѣхъ убило;
И нашъ просторъ холмовъ, ручьевъ,
Морей, лишившись прежнихъ сновъ,
Въ кровь воду превратилъ, одѣлъ цвѣты слезами,—
Вѣкъ золотой прошелъ, навѣкъ разстался съ нами.

*(Входятъ Махмудъ, Гассанъ, Даудъ и другіе).*

МАХМУДЪ.

Какъ, золота еще имъ нужно? Наши
Отцы его побѣдой покупали,
А я его продамъ за пораженье?

ДАУДЪ.

Да, янычары требуютъ уплаты
Того, что имъ назначено.

МАХМУДЪ.

Поди,
Скажи имъ, сами пусть себѣ заплатятъ,
Проливъ потоки крови Христіанской.
Что-жь, дѣвушекъ нѣтъ Греческихъ, чьи крики
И спазмы могутъ имъ усладой быть?
Дѣтей невѣрныхъ нѣтъ—втыкать на копья?
Священниковъ сѣдыхъ тамъ не осталось,
Когда, свой край проклявши, Патріархъ
Пронзилъ тѣмъ самымъ собственное сердце?
Иди, и имъ скажи, чтобъ убивали:
Посѣвъ кровавый золото приноситъ.

ДАУДЪ.

Ужь сѣяли, и получили жатву,
Жнецъ каждый получилъ одно зерно.

МАХМУДЪ.

Ну, если такъ, возьми тогда печать:
Открой седьмую комнату, найдешь въ ней
Сокровища владыки Солимана:
Добыча царства, кладъ на черный день.
О, духъ моихъ побѣдно-смѣлыхъ предковъ,
Ужь не пришелъ ли онъ? Рой хищныхъ птицъ
И волки—поѣдятъ и спятъ спокойно;
А эти, по землѣ окровавленной
Свой пиръ распространивъ, хотятъ еще,
Чтобъ золота имъ дали, хоть оно

Не насыщаетъ.—Накорми ихъ, жадныхъ,
Потомъ сведи къ потокамъ свѣжей смерти.

*(Даудъ уходитъ)*

Позорная заря, за ночью славной,
Славнѣе дня, что ей низвергнутъ былъ!
О, вѣра въ Бога! О, земная власть!
О, ты, завѣтъ великаго пророка,
Который полновластными крылами
Всѣхъ идоловъ на Западѣ затмилъ,
И затѣнилъ могучіе престолы,
Которые теперь свѣтло горятъ!—
Такъ пусть же будетъ проклятъ часъ злосчастный,—
Какъ проклинаетъ сынъ дурной отца,—
Тотъ часъ, когда восточный полумѣсяцъ
Ислама путь свершилъ побѣдоносный
Отъ горъ Кавказа до Керавніи.
Вверху погибель, снизу своевольство,
Извнѣ свирѣпый страхъ, внутри измѣна;
Полна съ краями Чаша разрушенья,
И каждый жаждетъ, всѣ хотятъ испить;
И кто изъ насъ дерзнетъ отъ губъ горячихъ
Ее швырнуть? И гдѣ Надежда есть?

ГАССАНЪ.

Владычество еще высоко наше,
Его свѣтильникъ мчится; кромѣ Бога,
Нѣтъ Бога—Магометъ пророкъ его.
Изъ Азіи, отъ границъ самыхъ дальнихъ,
Четыре сотни тысячъ Мусульманъ
Толпой неудержимою стремятся.
Какъ глыбы тяжкихъ тучъ подъ крикъ сирокко;
Но слезъ у нихъ не будетъ, какъ у тучъ;
Они несутъ огонь палящихъ молній,
Землетрясенье будятъ ихъ шаги,
Чтобъ въ гибели царить, залить, застигнуть.
Олимпъ, Латмосъ, и Тмолъ, и Микале
Покрылися щетиною оружья:
И корабли высокіе, какъ тучи,

Что зацѣпились за края горы,
Съ ихъ грузомъ молній пламенныхъ и вихря,
Вотъ въ этомъ самый мигъ стоятъ у Скáлы,
И ждутъ, чтобъ вѣтеръ имъ попутнымъ сталъ.
Самосъ пьянъ кровью:—Греки заплатили
За мигъ побѣды быстрою утратой,
И длительнымъ отчаяньемъ. Проворно
Бѣжали Молдаванскіе рабы,
Невѣрные, услышавъ крикъ свирѣпый
«Алла, Алла!», который прозвучалъ,
Какъ бранный возгласъ сѣвернаго вѣтра,
Что убиваетъ сонмы тучъ лѣнивыхъ,
И носитъ стаю дикихъ лебедей,
Летящихъ въ схваткѣ съ бурей обнаженной.
Такими были Греки въ день Дуная,
Погибшіе. И, если ночь молчитъ,
Съ разсвѣтомъ солнце снова возвратится
И утреннія птицы вновь поютъ;
Не менѣе, чѣмъ птицы рады солнцу,—
На твой призывъ откликнувшись съ восторгомъ,
Въ приморскихъ Африканскихъ городахъ
Разъялась Смута и крылами хлещетъ,
И вотъ уже затѣяла грозу,
Чтобъ говорить мятежникамъ громами.
Какъ груды тяжкихъ сѣрныхъ облаковъ,
Наполовину раздробленныхъ бурей,
Они взметаютъ гладь Эгеи блѣдной,
Въ то время какъ Царица Океана,
Прикована на островномъ престолѣ,
Тамъ далеко на Западѣ сидитъ,
И плачетъ, что сыны ея, на Вольность
Нахмурившись, тебѣ улыбку шлютъ.
Россія ждетъ и смотритъ, какъ порою
Ждетъ въ облакѣ орелъ, когда сцѣпились
Журавль и коршунъ въ схваткѣ неразрывной, —
Чтобъ на того, обрушиться, кто будетъ
Сильнѣй въ борьбѣ; -названіе Свобода
Ей страшно такъ, какъ ты ей ненавистенъ.

Но ты желаенъ Австріи трусливой,
Какъ для могилы—быстрая чума:
Насытившись кровавою охотой,
Идутъ ея военныя собаки
Лѣниво изъ Италіи и воютъ,
И на границѣ у себя рычатъ:
Пантера, Вольность,—видно имъ,—бѣжала
Въ свое гнѣздо старинное межь горъ
И межь морей, и стая посильнѣе,
Чѣмъ прежде, собралась вокругъ нея.
Какой же Своевольникъ есть въ коронѣ,
Иль въ митрѣ,—помавающій мечомъ,
Или ключи хранящій золотые,—
Чей другъ не другъ твой, недругъ чей не врагъ твой?
Полны оружьемъ наши арсеналы:
Оплоты нашихъ крѣпостей смѣются
Надъ приступомъ; и десять тысячъ пушекъ
Надъ бухтою лежатъ, и часъ за часомъ
Колеса ихъ могучія, раскатомъ,
Пугаютъ городъ и смущаютъ землю:
Галопъ кипучій пламенныхъ коней
Рождаетъ блѣдность въ лицахъ Христіанскихъ
Купцовъ; Еврей же, смуглый, желтоликій,
Въ землѣ невѣрной глубже прячетъ кладъ свой.
Какъ облака, иль тѣни облаковъ,
Надъ травами холмовъ Анатолійскихъ
Наѣздниковъ Татарскихъ станъ мчатся
И все сметаютъ на своемъ пути:—
Въ проворныхъ вспышкахъ ихъ звѣздистыхъ коній
Сверкаетъ свѣтъ слабѣющаго дня.
Единый Богъ у насъ, одинъ Властитель.
Одна Надежда, и одинъ законъ;
Мятежъ многоголовый раздѣлился
Въ самомъ себѣ, и скоро долженъ пасть.

МАХМУДЪ.

Для гордыхъ словъ какъ разъ свободно мѣсто,
Когда нѣтъ дѣлъ, достойныхъ зваться такъ:

Взгляни. Гассанъ, туда, на полумѣсяцъ,
На знамени разорванномъ горящій
Огнистой тучи, и съ собой ведущій
Послѣдній строй оконченнаго дня;
Вотъ символъ нынѣ гаснущаго царства.
Какъ онъ въ кровавомъ воздухѣ трепещетъ!
Какъ онъ, лампадѣ мощной уподобясь,
Чье масло истощилось, задрожалъ
На дальнемъ остромъ краѣ горизонта!
Межь тѣмъ какъ въ высотѣ одна звѣзда
Побѣднымъ, нестерпимо-наглымъ свѣтомъ
Горитъ надъ пораженіемъ его,
И, какъ пронзаютъ стрѣлы антилопу,
Такъ очертанья слабыя его
Она пронзаетъ острыми лучами.

ГАССАНЪ.

Но какъ возобновляется луна—

МАХМУДЪ.

Такъ намъ возобновиться невозможно.
Ладьѣ иной, не нашей, было бъ можно
Всплыть противъ тока нисходящихъ водъ,
Волнъ времени, идущаго къ низинамъ:
Духъ, что раба вздымаетъ предъ владыкой—
По улицамъ идетъ столицъ могучихъ
Царей вооруженныхъ; онъ въ глуши
Свои знамена смѣло развѣваетъ;
Въ цѣпяхъ ликуетъ; если же мятежникъ
Падетъ, изъ праха слышенъ вопль протяжный,
Какъ будто бы кровь Авеля кричитъ;
И въ страхѣ отупѣломъ, точно звѣри,
Когда землетрясенье цѣпи сброситъ,
Наслѣдники земли, принизясь, жмутся
Въ берлогахъ царскихъ -вотъ какъ я теперь.
Чѣмъ было бъ пораженье, разъ побѣда
Способна устрашать? или опасность,
Разъ безопасность смотритъ, поблѣднѣвъ?

Что вѣстникъ говорилъ, который съ форта,
Что закрѣпленъ какъ островъ на Дунаѣ,
Самъ видѣлъ битву возлѣ Бухареста?
Онъ говорилъ, что—

ГАССАНЪ.

Сабля Ибрагима
Проворнымъ блескомъ быструю побѣду
Къ намъ совлекла съ небесъ, чтобы она
Свѣтилась въ ночи бранной—какъ сверканье
И разрушенье.

МАХМУДЪ.

Да, мы взяли верхъ.
Но какъ?—

ГАССАНЪ.

Валахи, Сербы, Арнауты,
А также и союзные Албанцы,
Бѣжали прочь отъ нашего огня,
Чуть молнія успѣла засвѣтиться.
Изъ Греческаго войска половина
Себѣ какъ бы нашла удобный мостъ
Изъ мертвыхъ Мусульманъ, для отступленья;
Другая—

МАХМУДЪ.

Говори—не трепещи—

ГАССАНЪ.

Окружена, какъ островъ бездной моря,
Несчетностью побѣдныхъ миріадъ,
Она собой каре образовала,
Щетинистый явивъ упорный фронтъ;
Три раза остріе ихъ боевое
Прорѣзало нашъ строй,—и наше войско,
Какъ человѣкъ одинъ затрепетавши,
Дорогу дало смѣлому врагу:

Но въ скорости съ холмовъ окрестныхъ грянулъ
Громъ баттарей, и ихъ смѣсилъ какъ тѣсто,
Дождемъ желѣза и струей огня;
Но все же къ нимъ никто не приближался;
До той поры, пока,—какъ поле ржи
Рѣдѣетъ подъ серпомъ жнеца,—ихъ кучка,
Окружена траншеей мертвыхъ Турокъ,
Не ослабѣла, сильно порѣдѣвши.
«Рабы, сдавайтесь», тутъ сказалъ Паша,—
«Они вамъ измѣнили—нѣтъ надежды,
И какъ вамъ отступить, и кто поможетъ?
Жизнь вамъ даримъ!»—«Дари то, что твое!»
Одинъ воскликнулъ, и упалъ на мечъ свой,
И умеръ. «Богъ, и люди, и надежда»,
Другой воскликнулъ, «покидаютъ насъ;
Но имъ и самому себѣ я вѣренъ»;
Онъ голову свою склонилъ, и сердце
Въ немъ порвалось. «Тиранъ», воскликнулъ третій,
«Не знаешь? Есть прибѣжище, куда
Погнаться ты не можешь, и когда бы
Погнался, тамъ безсиленъ повредить;
До встрѣчи тамъ!» Тутъ онъ сдержалъ дыханье,
И, за минутой судороги быстрой,
Негодованьемъ возмущенный духъ
Покровъ свой смертный сбросилъ между мертвыхъ
На землю—землю мертвую. И такъ
Всѣ тѣ, что въ пылкой битвѣ уцѣлѣли,
Въ побѣдной смерти встрѣтились различно,
Кто странно, всѣ внезапно, и никто
Безчестно; и когда сомкнулись наши
Ряды, межъ тѣмъ какъ страхъ, и изумленье,
И стыдъ на разстояніи держали
Гіенъ позорныхъ, боевыхъ трусливцевъ,
Что отъ живыхъ бѣгутъ и ищутъ мертвыхъ,
Изъ хаоса убитыхъ всталъ одинъ;
И былъ ли это трупъ, который, въ гнѣвѣ,
Какимъ-нибудь былъ поднятъ страшнымъ духомъ
Единаго изъ тѣхъ, что въ оны дни

Спасителями той страны явились,
Которой управляемъ мы: — иль это
Въ душѣ у умирающаго былъ
Огонь презрѣнья къ смерти, неугасный,
И вѣра, создававшая все то,
Что онъ воображалъ;—то или это,
Сказать я не могу, но онъ вскричалъ:
«Вотъ, мы идемъ, о, призраки свободныхъ,
Дружины вѣчнаго, чья мощь дробитъ
Оплоты кровожадныхъ властелиновъ,
И потрясаетъ каменныя души
Въ несчувственныхъ сердцахъ, и растопляетъ
Мороные вѣнцы ихъ, какъ росу: —
Вы, чья толпа витаетъ здѣсь повсюду,
Сплетая нашей родинѣ одежду
Изъ славы: — вы, чья память, хоть земля
Прахъ предаетъ, который обнимаетъ,
Въ гробницахъ мысли памятно сокрыта:—
Отцы всего, въ чемъ есть еще величье, —
Внимите насъ въ блестящій вашъ совѣтъ,
Въ сіяніи высокой вашей службы
Примите насъ, мы ваши сыновья—
Насъ первыхъ, а за нами тѣхъ, кто встанетъ
И будетъ лучезарнѣе, чѣмъ мы.
А вы, вы, что въ побѣдѣ вашей хилы,
Гиганты, что блѣднѣете, увидѣвъ,
Какъ вспрянулъ червь подъ вашею ногой,
Рой коршуновъ и псы, ручные ваши
Пенсіонеры, сыты, напитались,
Но все еще, какъ тѣ, что любятъ гнетъ,
Хотятъ, чтобы имъ отдали остатки
Отъ пиршествъ Разрушенія. Пары
И жаждою исполненные вѣтры
Больны отъ крови: на травѣ роса
Гнусна отъ смерти: свѣтъ погасъ небесный
Отъ ужасовъ рѣзни: и вотъ повсюду,
Межь вашихъ становъ, городовъ, и башенъ,
И кораблей, гдѣ только ни плутъ

Изъ клововъ кровожадныхъ птицъ безстыдныхъ
Зловонные остатки мертвыхъ членовъ,--
Средь вашихъ горъ и надъ просторомъ рѣкъ,
На крышахъ, на поляхъ, въ садахъ, повсюду,
Гдѣ только вѣтеръ есть и тучи мчатся,
Иль падаетъ роса, иль солнце въ гнѣвѣ
Отравленный ниспосылаетъ свѣтъ—
Чума и Ужасъ Паники и Голодъ
Бой поведутъ на нашей сторонѣ.
Природа противъ васъ на всѣхъ предѣлахъ.
Какъ пыль, васъ Время легкими нашло:
Земля возмущена; Добро и Зло
На этотъ ходъ одинъ, какъ ставку, ставятъ
Всю власть свою надъ міромъ нерожденнымъ
Людей грядущихъ;—но, предъ тѣмъ какъ кость
Они успѣютъ бросить, геній расы,
Нашъ возрожденный духъ, судья третейскій
Въ вопросахъ нечестивой той игры,
Крылатый серафимъ Побѣды мчится,
Въ величьи Всемогущества Господня,
На бурѣ онъ могучей снизойдетъ,
И все смететъ до правыхъ приговоровъ,
А васъ къ забвенью!»- Много онъ сказалъ бы
Еще, но- -

МАХМУДЪ.

Умеръ,—какъ теперь безгласно
Ты долженъ былъ бы прежде умереть,
Чѣмъ предо мною такъ живописать
Ихъ гибель въ краскахъ нашего успѣха.
Ты сердцемъ Грекъ, Гассанъ.

ГАССАНЪ.

Такъ быть могло бы:
Внутри меня духъ говорилъ, не мой,
Онъ вынудилъ меня слова промолвить,
Чей звукъ и смыслъ мнѣ страшенъ, ненавистенъ;
Но я бы умеръ- -

МАХМУДЪ.

О, живи, живи,
Переживи меня и это царство,
Идущее къ концу. Но флотъ

ГАССАНЪ.

Увы!

МАХМУДЪ.

Нашъ флотъ бѣжитъ отъ знамени повстанцевъ.
Какъ подъ дыханьемъ вѣтра облака.
Отъ кораблей крылатыхъ—наши замки
Крылатые! Предъ шайкою пиратовъ
Мощь нашихъ силъ! Предъ сомкнутой ихъ цѣпью—
Оружье наше! Наши годы царства —
Передъ вѣками рабскаго ихъ страха!
Проснулась смерть. Разбитые на морѣ,
На знамя громоносное Махмуда
Они съ пренебреженіемъ глядятъ;
И, какъ собаки изъ породы низкой
Отъ чужеземца пищу принимаютъ,
Хозяина кусая своего.

ГАССАНЪ.

Латмосъ, Фанай, и Амфелосъ узрѣли
Крушенье кораблей—

МАХМУДЪ.

Ведя бесѣду,
Пещеры Икарійскихъ острововъ
Другъ передъ другомъ громко насмѣхались,
Сперва о битвѣ страшной разсуждая,
Что возмутила море, а потомъ
Какъ скажешь ты ума лишились горы;
Ты истолкуй, что значитъ голосъ ихъ!

ГАССАНЪ.

Въ позорѣ дня я лично былъ отчасти
Участникомъ. Флотъ Греческій съ разсвѣтомъ
Отъ Сѣвера приплылъ, и тамъ повисъ

Толпой судовъ на грани океана,
Какъ журавли въ безоблачныхъ пространствахъ
Вѣтровъ Ѳракійскихъ. Тутъ эскадра наша
Послала десять тысячъ человѣкъ
По направленью къ Навпліи, и битва
Зажглась.—
Сперва подъ градомъ нашего огня
Суда проворно-ловкихъ Гидріотовъ
На всѣхъ къ намъ устремились парусахъ:—
На пушку пушка, на корабль корабль,
На человѣка человѣкъ, сцѣпились
Всѣ въ тѣсной схваткѣ, въ боевомъ объятьи,
Что можетъ быть расторгнуто лишь смертью
Или побѣдой. Бѣшенство сраженья
Смутило незапятнанное море
До самыхъ кристаллическихъ глубинъ,
И потрясло собою въ небѣ кровлю
Золотоцвѣтныхъ свѣтлыхъ тучекъ утра,
Нависшихъ надъ десятками гористыхъ
Лазурныхъ острововъ. Единый вопль,
Въ короткихъ промежуткахъ межъ пальбою,
Средь гибнущихъ и губящихъ возникъ,
И облако отчаянья покрыло
Весь обликъ непредвидѣнной бѣды,
Покуда вѣтеръ сѣверный, возставши
Отъ моря, не вознесъ покровъ тяжелый
Нависнувшаго дыма- -и побѣда—
Побѣда! Потому что отъ Наксоса
На помощь къ намъ примчались три фрегата
Алжирскіе, но вскорѣ крестъ проклятый
Блеснулъ намъ съ тылу, спереди, межъ нами,
Вокругъ: и этотъ символъ роковой
Своимъ сверканьемъ изсушилъ всю силу
Въ сердцахъ у Мусульманъ, какъ изсушаетъ
Росу блескъ солнца.—Что жъ сказать еще?
Бѣжали мы. И надъ кровавой пѣной
Нашъ путь полдневный былъ огнемъ овѣянъ.
И сдѣлался ликъ солнца тускло-блѣднымъ

Отъ пламени горящихъ кораблей:
Кроваво-краснымъ сдѣлалъ свѣтъ жестокій
Весь сумракъ парусовъ, и поблѣднѣли
Всѣ лица. Въ смутѣ пламени и дыма
Одни суда питали сумасшедшій
Огонь, горя до уровня воды:
Другія были взорваны; иныя
Тонули грузно, тяжко осѣдая:
Дулъ вѣтеръ, крики нашихъ умирали,
И вѣтеръ уносилъ ихъ далеко,—
Кричавшій умеръ, крикъ еще стремился.
Погибло девять тысячъ. Повстрѣчали
Мы коршуновъ, ихъ мчались легіоны,
Они пятнали воздухъ, противъ вѣтра
Стремясь потокомъ; съ облачныхъ высотъ,
Съ уступовъ тучъ, сквозь дымъ сѣрнистый боя,
Они срывались, и, крича, садились
На груды тѣлъ, что въ морѣ колыхались,
На трупы тѣхъ, которыхъ мы любили,
Какъ будто бы злой ангелъ былъ на каждомъ,
Или его проклятая душа,
Плывущая по бурной зыби моря.
Мы видѣли акулъ, на пиръ спѣшащихъ,
Восторгъ воззвалъ безгласный людъ морской.
Изъ мглы морскихъ пещеръ свирѣпый Голодъ
Ушелъ, чтобъ быть съ войной, съ тоской, и съ нами.
Сошлись мы ночью, въ три часа, на западъ
Отъ Патмоса, а съ ночью буря—

МАХМУДЪ.

Стой!

(*Входитъ Вѣстникъ*)

ВѢСТНИКЪ.

Великій Государь, сказать осмѣлюсь,
Посолъ Московскій, Христіанскій песъ
Оставилъ городъ.—Если бъ флотъ мятежный
Свой якорь бросилъ въ гавани, и если бъ

Побѣда увѣнчала въ Гипподромѣ
Лучистой славой Греческое войско,
Была бы меньше паника тогда.
Покорность и Мятежъ, какъ два гиганта,
Планетой пораженные при схваткѣ,
Въ глаза другъ другу смотрятъ и стоятъ.
Въ Стамбулѣ миръ.—

МАХМУДЪ.

Еще спокойнѣй въ гробѣ!
Развалины его моими будутъ.

ГАССАНЪ.

Не бойся Русскихъ: тигръ въ союзъ не вступитъ
Съ оленемъ, убѣгающимъ отъ травли,
Не прыгнетъ на охотника.—Жестокій,
Лукаво-низкій, онъ, ползя, слѣдитъ,
Потомъ, когда захвачена добыча,
За воздержанье ждетъ отплаты кровью.
Когда война окончится, отдай
Коварнымъ Русскимъ, что тебѣ не нужно,
Заслуженную долю теплой крови,
Что не въ поляхъ, не въ городахъ польется,
Какъ рѣки и моря, что тѣмъ подобны,
Которые завоевать мы можемъ,
Но будетъ гнить стоячею водой
Въ собакахъ Христіанскихъ, въ жилахъ рабскихъ.

(*Входитъ Второй Вѣстникъ*)

ВТОРОЙ ВѢСТНИКЪ.

Модонъ, Аѳины, Навплія, Артосъ,
И Наваринъ, и Триполисъ, и Ѳивы,
Коринѳъ, и Монембазія сдались,
На приступъ взяты: каждый Исламитъ,
Кормившій Галилейскими рабами
Своихъ собакъ, пронизанъ лезвіемъ;
Та жажда крови, отъ которой наши
Бойцы пьянѣли, въ смерти утолилась:

Но вновь, какъ призракъ огненной чумы,
Въ дѣяньяхъ прорывается, чей ужасъ
Все дѣло Христіанское блѣднитъ.
Въ Патрасѣ дней на десять только хватитъ
Запасовъ гарнизону; и надежды
Мы можемъ отъ Британца только ждать:
Желанія его всегда слабѣе.
Чѣмъ страхи—сразу онъ тиранъ и рабъ.
Иль онъ продать хотѣлъ бы, что осталось
Отъ вѣрности тѣмъ клятвамъ, что нарушилъ
Въ Норвегіи и въ Генуѣ двуличный;
И, если это ты купить не хочешь,
Въ сокровищницѣ у тебя не будетъ
И обѣщаній—золота его.
Слуга поэта западнаго, нынѣ
Отпущенный на волю, руководитъ
Толпой рабовъ въ семь тысячъ, и владѣетъ
Всей Аттикой; властитель Негропонта
Отбитъ имъ: Али, въ возрастѣ преклонномъ,
Въ Янинѣ возсѣдаетъ, образъ царства.
Лишеннаго короны: точно тѣнью
Изсякшей власти, именемъ своимъ
Онъ наше войско, что ведетъ осаду,
Какъ волшебствомъ, въ добычу превращаетъ
Для голода, чумы, и мятежа:
Безрадостно въ свою замкнувшись крѣпость,
На озеро сафирное глядитъ онъ,
Гдѣ отразились города руины.
Въ которомъ онъ безъ скипетра, бездѣтный,
Царилъ когда-то. Собралъ жатву Грекъ,
Вспоенную его горячей кровью.
Не сѣятель, не Али—онъ, купившій
У Ипсиланти кротость перемирья
Цѣною десяти верблюдовъ, съ грузомъ
Индійскихъ золотыхъ.

(*Входитъ Третій Вѣстникъ*)

МАХМУДЪ.

Ты что намъ скажешь?

ТРЕТІЙ ВѢСТНИКЪ.

Средь Христіанъ Ливана и Сирійской
Пустыни все объято мятежомъ;—
Дамаскъ, Алеппо, Гемсъ дрожатъ;—Арабы
Мединѣ угрожаютъ; въ Сеннаарѣ
Эѳіопійцы плотно окопались,
И ловко держатъ Египтянъ мятежныхъ,
Что больше не хотятъ повиноваться,
И требуютъ себѣ земель въ отплату
За помощь запоздалую свою.
Тѣхъ городовъ, которые на Тигрѣ,
Себѣ желастъ Персія. Грузины
Отказываютъ дань свою давать.
Критъ съ Кипромъ, дружнымъ трепетомъ объяты,
Дрожатъ, какъ два утеса-близнеца,
Которые берутъ изъ жилъ другъ друга
Землетрясенья спазмы и огонь.
Кричатъ Сантоны, какъ предъ бурей птицы,
И страшныя пророчества въ толпѣ
Звучатъ необычайной новизною:
Людское море создало обломки,
И бездыханно на обломкахъ спитъ.
Коранъ глубоко изучившій, Дервишъ
Всѣмъ возвѣщаетъ, что грѣхи Ислама
Вотъ-вотъ возставятъ мстителя теперь.
И Греки ждутъ Спасителя, придетъ онъ
Отъ запада, какъ говорятъ они,
Не въ облакахъ и не въ сіяньи славы,
А въ вездѣсущемъ проявленьи Духа,
Въ которомъ всѣ живутъ и существуютъ.
Въ полдневныхъ небесахъ свѣтло горя,
Грозятъ вѣщанья знаменій зловѣщихъ.
Одинъ на солнцѣ видѣлъ крестъ кровавый;
Шелъ дождь изъ крови; страшныя рожденья
Уродовъ возвѣщаютъ повсемѣстно
Природы гнѣвъ и гнѣвъ ея Творца.
Войска, чей лагерь былъ на Кидарисѣ,

Послѣдней ночью пробудились вдругъ,
Ихъ разбудилъ внезапный шумъ сраженья,
И въ воздухѣ два бьющіяся войска
Предстали передъ ними: нѣтъ сомнѣнья,
То тѣни неродившихся часовъ
На зеркало ложатся темной ночи.
И не рѣшенъ еще исходъ былъ битвы,
Какъ буря разыгралась и смела
Всѣ призраки изъ области созвѣздій;
Въ часъ третьей стражи духъ чумы былъ слышенъ,
Онъ межь палатокъ шелестѣлъ крылами;
Когда явилась смѣна, часовые
Лежали бездыханными. Послѣдней
Изъ лагеря пришла такая вѣсть:
Тамъ тысячи занемогли—

*(Входитъ Четвертый Вѣстникъ)*

МАХМУДЪ.

А ты,
Духъ блѣдный, тѣнь извѣстій неурочныхъ,
Что скажешь?

ЧЕТВЕРТЫЙ ВѢСТНИКЪ.

Задыхаясь отъ усилья,
И весь покрытый пѣною кровавой,
Пришелъ одинъ, кто эту вѣсть принесъ.
Онъ говоритъ, что онъ стоялъ на мысѣ.
Съ котораго тѣ видны острова,
Что стонутъ подъ угрозою Британца:
Всѣ воды тамъ дрожали въ лунномъ свѣтѣ;
Межь тѣмъ какъ тучи зыбкія скрывали
Иль открывали свѣтъ луны безмѣрный,
Онъ увидалъ два вражескіе флота,
Они сквозь ночь въ мерцаньи горизонта
Шли, смѣшивая яростные громы,
И проблески сѣрнистые, и дымъ.
Душившій вѣтерки, чье дуновенье
Въ воздушной глубинѣ ласкало тучки,

Сіявшія оттѣнкомъ серебра.
Въ концѣ концовъ сраженье прекратилось,
Широкко поднялся, нагромоздилъ
Надъ областью морского горизонта
Громаду тучъ громовыхъ, все закуталъ,
Стеръ всѣ предметы—лишь въ мерцаньи слабомъ
Онъ увидалъ, иль думалъ, что увидѣлъ,
Два нашихъ лучшихъ корабля военныхъ,
И на одномъ Турецкій Адмиралъ,
Съ нимъ свѣтлый образъ той Царицы Неба,
Которая, быть можетъ, отъ печали
Скрывала опрокинутый свой ликъ;
И крестъ проклятый---

(*Входитъ Слуга*)

СЛУГА.

Государь Великій,
Еврей, который—

МАХМУДЪ.

Во-время пришелъ;
Скажи ему, чтобъ подождалъ. Вотъ кстати.
Довольно слушать мнѣ. Мы слишкомъ долго
Взираемъ на опасность сквозь туманъ
Боязни, умножая на обломкахъ
Своихъ надеждъ всѣ образы бѣды.
Нѣтъ, будь что будетъ. *Завтра*, снова *завтра*—
Лампады намъ, что свѣтятъ и ведутъ,
По гладкому и жесткому, до края.
И съ нами ничего не приключится,
Что бъ не назначилъ онъ, въ чьей мы рукѣ.

(*Уходятъ*)

ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Если бъ былъ я вольной тучей
Бури, быстрой и могучей,
Я бъ не ждалъ,
Не блисталъ,

Я бъ съ зарей играть не сталъ!
Я не медлилъ бы съ луною,
Духамъ вечера бы власть
Отдалъ я—тихонько прясть
Саванъ дню,—о, нѣтъ, не скрою,
Былъ бы сотканъ онъ не мною.
Въ небѣ нѣгу бытія
Пусть бы пилъ любой—не я!

ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Ты куда же бъ устремился?

ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Надъ Эгейскою волной
Я бы съ вольнымъ смѣло бился,
Я бы эхомъ проносился
Гордой пѣсни боевой,
Все бъ звучалъ,
Не молчалъ,
О побѣдѣ возвѣщалъ!
Я бъ вездѣ, гдѣ Грекъ упалъ,
Золотымъ дождемъ сверкалъ,
И съ водой окровавленной слезы бъ свѣтлыя смѣшалъ.
И торжественный мой громъ
Пѣлъ бы въ рокотѣ живомъ,
Что навѣки тираннія спитъ во мракѣ гробовомъ!

ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Царь, ты, любящій обманъ,
Можешь ты сковать туманъ?
Можешь молнію замедлить, спрятать въ тюрьмы ураганъ?
Бури вольны,—духъ чумы!—
Вольны молніи, но мы—

ХОРЪ.

О Рабство, морозъ мірового расцвѣта,
Шипы ты острить, убивая цвѣты.
Тобой, какъ грѣхами, все тѣло одѣто,
Уродуешь ты, искажаешь черты.

Но вольное сердце, душа, что безстрастна,
Захватамъ твоимъ не подвластна.

ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Да будетъ свѣтъ!—Свобода изрекла,
И какъ восходъ изъ бездны моря,
Аѳины поднялись.—Красою споря,
Вкругъ нихъ заискрилась, свѣтла,
Семья другихъ родныхъ владѣній,
Какъ въ свѣтѣ утра, царство горъ;—
И что жь, теперь погасъ ихъ взоръ,
Все лишь обломки, только тѣни,
Забвеніе, и прахъ, и гробъ?

ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Туда направься, гдѣ Азопъ
И Ѳермопилы поглотили
Всѣ сонмы Персовъ,—грубой силѣ
Противоставивъ гордость думъ:
Такъ на пескѣ смолкаетъ шумъ
Прибоя моря. За приливомъ
Приливъ пришелъ съ огнемъ своимъ,
Возникла Македонія, и Римъ,
Въ концѣ концовъ и ты!

ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Дворцы и башни,
И крѣпости, и рынки,—міръ всегдашній,
Гдѣ умираютъ и живутъ,
Сегодня твой, какъ нашимъ былъ вчерашній,
Свѣтлѣетъ тамъ и тлѣетъ тутъ;
Но Греція, ея основы—
Внѣ перемѣнностей войны,
Отливу не подчинены,
На помыслахъ, что вѣчно новы,
Они въ хрустальности морей
Свѣтло упорны и суровы;
Чтобъ настоящимъ управлять.

Въ минувшемъ свѣтъ берутъ лучистые герои,
И все, что здѣсь въ борьбѣ, и все, что здѣсь въ покоѣ,
Въ себѣ лелѣетъ ихъ печать.

ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Вы слышите, вихри проворно несутся,
Орѳическій громъ возмутилъ небосводъ?
То вольная буря Аѳины зоветъ,
Оплоты Титановъ,—велитъ имъ проснуться:
У Рабства въ безжизненномъ тѣлѣ горитъ;
Аргосъ, и Коринѳъ, и мечтающій Критъ
Услышали. Въ небо, въ воздушную крышу,
Какія-то пѣсни созвучіе льютъ.
То демоны съ нимфами звонко поютъ
О радостной волѣ.

ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Я слышу! Я слышу!

ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Чу, топотъ шаговъ!
Чу, мчится безглазый возница міровъ,
Онъ мчится,
Судьба изступленно спѣшитъ.
Чья вѣра разбита, чье царство дымится
Подъ грохотомъ тяжкихъ копытъ?
Въ землѣ колебанье.
Побѣда съ крылами орлиными по правую руку сидитъ.
И чьей это тѣни предъ нею мельканье?
Чей блескъ это сзади несется, гудитъ?
Чей вопль это: «Мукой я звѣзды превышу»?
То Гибель и съ ней Возрожденье.
Они, о, конечно!

ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Я слышу! Я слышу!
Какъ будто свистящаго вѣтра гудѣнье.

Какъ будто вспѣненнаго моря кипѣнье.
Какъ будто разъятость земли и трясенье.
Я слышу! Я слышу!
Какъ будто бы царство крушеньемъ объято,
Какъ будто бы къ братьямъ моленіе брата:
«Пощады! пощады!» Безумье очей,
Въ нихъ борется столько, и столько боролось,
И дикіе возгласы: «Бей!»,
И малый чуть слышимый голосъ—

ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Обида и Мщенье, во тьмѣ,
Въ дрожаніяхъ злобныхъ,
Рождаютъ дѣтенышей, имъ же подобныхъ.
Берлога ихъ—въ смутномъ преступномъ умѣ,
Ихъ Совѣсть отчаяньемъ кормитъ въ низинахъ.

ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Въ священныхъ Аѳинахъ
Близь капища Мудрости высился встарь
Чарующей Жалости свѣтлый алтарь:
Не тщетно служите безвѣстному Богу.
Возставьте святилище вновь,
Давайте за малое темнымъ помногу,
Любовь за обиду, и слезы за кровь.

(*Входятъ Махмудъ и Агасферъ*)

МАХМУДЪ.

Ты человѣкъ, сказалъ ты, какъ мы всѣ—

АГАСФЕРЪ.

Не болѣе.

МАХМУДЪ.

Но только вознесенный
Надъ братьями-людьми своею мыслью,
Какъ властью я.

АГАСФЕРЪ.

Да, такъ ты говоришь.

МАХМУДЪ.

Ты посвященъ въ запутанное знанье,
Которое у Грековъ и у Франковъ
Зовется мудролюбіемъ; ты знаешь
Число цвѣтовъ и измѣряешь звѣзды;
Стихію отъ стихіи отдѣляешь;
Въ томъ, что прошло, присутствуетъ твой духъ,
И видишь ты, какъ этотъ міръ родился,
Какъ этотъ старый міръ прошелъ всѣ циклы—
И запустѣнья, и очарованья,
Тѣ дни, какъ человѣкъ рожденнымъ не былъ,
Тѣ дни, когда монархомъ и рабомъ
Онъ этой сферы низменной явился
И всѣхъ ея круговъ, замкнуто-узкихъ;
Въ томъ—много, и тебя я почитаю,
И я хотѣлъ бы сдѣлаться тобою,
Когда бъ я не былъ то, что я теперь;
Но нерожденный часъ, что колыбельно
Спитъ въ страхѣ и надеждѣ, въ этихъ буряхъ,
Борьбу ведущихъ, кто разоблачитъ,
Не ты, не я, никто другой изъ мощныхъ,
Иль мудрыхъ. То, чему меня училъ ты,
Мнѣ было непостижно, но теперь
Я вижу, изъяснять ты сны не можешь;
Искусствомъ этимъ ты не обладаешь,
Въ чемъ ухищренье мудрое, иль Богъ,
Грядущее содѣлать настоящимъ—
Пускай оно придетъ. Къ тому же ты
Меня и мнѣ подобныхъ презираешь.
Ты, созерцая Бога, самъ какъ Богъ.

АГАСФЕРЪ.

Тебя я презираю?—Подъ ногой
Червя я никогда не презираю!

Неизмѣримый тщательно печется
О малости такихъ вещей, что ты
Вообразить ихъ даже не сумѣешь,
И гордость сдѣлалъ онъ для тѣхъ, которымъ
Быть хочется тѣмъ, чѣмъ имъ быть нельзя,
Или казаться тѣмъ, чѣмъ быть не могутъ.
Султанъ! ни слова больше о тебѣ
И обо мнѣ, о прошломъ и грядущемъ;
На то лишь, что не можетъ измѣниться,
Гляди душой своею—на Одно,
Что не родится и не умираетъ.
Земля и Океанъ, поля пространства,
И острова сіянія иль жизни,
Что токъ сафирный воздуха межь звѣздъ
Сверканьемъ драгоцѣннымъ украшаютъ,
И этотъ сводъ, на хаосѣ возникшій,
И маяки безсмертнаго огня,
Чья внѣшняя стѣна, неистребимо
Запечатлѣвшись крѣпостью всемірной,
Чтобы пресѣчь набѣгъ смѣлѣйшихъ мыслей,
Какъ Кальпе пресѣкаетъ облака
Атлантики—та цѣльность солнцъ, міровъ,
Людей, звѣрей, цвѣтовъ, со всею тканью
Безмолвныхъ или бурныхъ дѣлъ и дѣйствій,
Чрезъ что они возникли, суть, иль нѣтъ ихъ.
Все это есть не больше, какъ видѣнье;—
Все, что его наслѣдье составляетъ,
Есть лишь пятно разстроеннаго зрѣнья.
Лишь пузыри обманные и сны:
Мысль—колыбель его, его могила,
Грядущее и прошлое—лишь тѣни
Полета—неустаннаго мышленья,
Мельканье мысли—бытія въ нихъ нѣтъ:
Лишь существуетъ то, что ощущаетъ
Себя какъ таковое.

МАХМУДЪ.

Что ты хочешь
Сказать? Твои слова въ моемъ мозгу
Плывутъ какъ вихрь блестящаго тумана—
Они своимъ движеніемъ колеблютъ
Ту землю, на которой я стою,
Висятъ какъ ночь на Небѣ надо мною.
Къ чему они? На все, что достовѣрно,
Что ярко, хорошо, они бросаютъ
Сомнѣнье, колебанье, изумленье.

АГАСФЕРЪ.

Пойми меня. Все въ каждомъ включено.
Въ сравненьи съ чашей жолудя—лѣса
Додоны—то же самое, что было,
Иль быть должно—въ сравненьи съ тѣмъ, что есть,
Отсутствіе—въ сравненьи съ настоящимъ.
Лишь Мысль, и быстрота ея стихій,
Страсть, Воля, и Фантазія, и Разумъ,
Не могутъ умереть; они суть то,
Чѣмъ кажется все то, на что взираютъ
Они, смотря,—тотъ матерьялъ, въ которомъ
Измѣнчивость свои находитъ нити,
Чтобы сплетать обширныя владѣнья—
Міры, червей, и царства, и ошибки.
Какое дѣло мысли до того,
Что—время, обстоятельства, иль мѣсто?
Грядущее ты хочешь увидать?
Спроси, и получи! Стучи, откроютъ—
Взгляни, и вотъ! грядущій вѣкъ на прошломъ,
Какъ въ зеркалѣ, свою являетъ тѣнь.

МАХМУДЪ.

Безуміе! мой духъ въ безумныхъ мысляхъ,
Какъ въ судорогахъ! Магометъ Второй
Завоевалъ Стамбулъ?

АГАСФЕРЪ.

Спросить хотѣлъ бы
Ты духа исполинскаго о томъ,
Что̀ домъ постигнетъ твой, а также вѣру.
Хотѣлъ бы изъ могилы ты воззвать
Того, кто разсказать тебѣ сумѣлъ бы,
Какъ то умретъ, что родилось въ крови.

МАХМУДЪ.

Какъ необычно мнѣ! Твои слова
Имѣютъ надо мною власть. Я вижу —

АГАСФЕРЪ.

Что слышишъ ты?

МАХМУДЪ.

Далекій смутный шопотъ—
Ужасное молчаніе.

АГАСФЕРЪ.

Что дальше?

МАХМУДЪ.

Гулъ, точно царскій городъ осаждаютъ,
Свистѣнье неугаснаго огня,
Ревъ пушки исполинской; дробный грохотъ
Обширныхъ укрѣпленій, мощныхъ башенъ,
Что рушатся и падаютъ стремглавъ,
Разрывы скалъ отъ сказочныхъ орудій,
И звонкій стукъ подкованныхъ копытъ,
И шумъ колесъ, и звукъ кольчуги мѣдной,
Какъ взрывы брилліантовой горы,
Звукъ трубъ, какъ вопли бури сумасшедшей,
И ржанье изступленное коней,
И крики женщинъ, отъ которыхъ въ жилахъ
Кровь холодѣетъ, и—еще ужаснѣй—
Какой-то нѣжный смѣхъ, какъ будто это

Ребенокъ пробудился и играетъ
Холодной грудью матери умершей,
И громче, крикъ сраженья въ гулъ смѣшался—
«Ἐν τούτῳ νίκη». А! Алла, Алла!

АГАСФЕРЪ.

Туманъ сѣрнистый—видишь ты —

МАХМУДЪ.

Проломъ,
Какъ будто срывъ двухъ горъ въ стѣнахъ Стамбула;
И въ этой страшной бреши Исламиты,
Въ лучахъ восхода солнца, какъ гиганты
Среди руинъ невѣдомаго міра.
Горитъ, забыта въ прахѣ, діадема,
И кто-то смѣлый, съ царственной осанкой,
Низринулся въ потокъ войны. Другой.
Оружьемъ золотымъ свѣтло сверкая,
Ударомъ шпоръ Татарскаго коня
Торопитъ къ бреши, палицей желѣзной
Онъ направляетъ водопадъ людей,
Какъ будто—это—Магометъ!

АГАСФЕРЪ.

Ты видишь
Лишь призракъ сна, который ты забылъ.
Но этотъ сонъ дѣйствительнѣй, быть можетъ,
Того, что ты дѣйствительнымъ зовешь.
Ты можешь видѣть яркую картину,
Какъ города, что составляли тронъ
Имперіи, свои зубцы склоняютъ,
Измѣнчивость всѣ башни ихъ крушитъ.
На гребнѣ властно-быстраго потока
Плывешь ты, но съ него ты можешь видѣть,
Какъ къ глубинѣ отливъ стремится власти.
Наслѣдникъ славы, зачатой во мракѣ,
Въ крови рожденной, вскормленной въ слезахъ,
Среди борьбы,—ты видишь агонію

Того, рожденье чье такимъ же было.
Передъ тобой Минувшее теперь
Стоитъ какъ Воплощенье дней Грядущихъ;
Но, если ты бесѣдовать желаешь
Съ той частью самого себя, что раньше
Чѣмъ ты рожденъ былъ, въ этомъ мірѣ смутномъ
Пустилась въ бѣгъ для краткихъ состязаній,
Чей истинный вѣнецъ есть смерть, тогда
Той сильной вѣрой, пламенною страстью,
Которой изъ несозданныхъ глубинъ
Ты вызвалъ это облако сраженья
Съ толпой смертельныхъ бѣшеныхъ тѣней,
Разсѣй его, и силой мощной воли
Тотъ царскій призракъ позови сюда.

*(Агасферъ уходитъ)*

МАХМУДЪ.

Приблизься!

ПРИЗРАКЪ.

Я оттуда прихожу.
Куда уйти ты долженъ. Гробъ охотнѣй
Беретъ живыхъ, чѣмъ выпускаетъ мертвыхъ;
Но вѣрой ты возмогъ, и я пришелъ.
Тяжелые обломки мощной власти,
Упавшей въ часъ, когда поднялся я,
Безформенными глыбами утесовъ
И облаковъ, висятъ надъ смутной бездной
Вкругъ моего престола, и воззванья,
Исполненныя сѣтованій странныхъ,
Покой мой безпредѣльный услаждаютъ,
Скорбя о славѣ, для которой нѣтъ
Возврата. Царство дней позднѣйшихъ смутно
Колеблется, объятое упадкомъ;
Для вѣры, что моложе, зеленѣе,
Настала осень: перемѣна—волкъ,
Подобная зимѣ, рычитъ и хочетъ
Сорвать листву, въ которой, какъ орелъ,

Воздушное гнѣздо имѣла Слава,
Межь тѣмъ какъ Власть щенилась тамъ внизу.
Въ вѣтвяхъ—гроза, морозъ—на жесткихъ листьяхъ,
И глубина пустая ожидаетъ,
Чтобъ снизошло забвенье на забвенье,
На гибель—гибель, на разгромъ—разгромъ:—
Ты, сынъ мой, слишкомъ медленъ; въ мірѣ мрака
Безвластники престолъ тебѣ воздвигли,
И вкругъ него владычество твое
Простерлось безгранично и безгласно;
И подданными будутъ тамъ тебѣ,
Какъ намъ, всѣ тѣни жизней убіенныхъ,
Всѣ привидѣнья тѣхъ властей, что нынѣ
Тобою правятъ—бѣшеныхъ страстей
И страховъ, что другъ съ другомъ бьются въ свалкѣ
И чаяній, что прахъ ѣдятъ и чахнутъ,—
Все силы смертной лишено своей,
Какъ ты твоей. Исламъ низвергнутъ будетъ,
Но въ царствѣ смерти будемъ мы царить
Надъ областью нѣмыхъ его обломковъ.
И, если стволъ изсохъ, живое сѣмя
Взойдетъ и развернется, наподобье
Того, что жизнь въ своей находитъ смерти.
О, горе, горе слабому народу,
Что бьется въ схваткѣ судорогъ послѣднихъ!

МАХМУДЪ.

Духъ, горе всѣмъ! Трикратно горе, горе
Обиженнымъ и мстителямъ обидъ!
Тому, кто губитъ, и тому, кто гибнетъ!
О, горе жертвѣ, горе угнетеннымъ,
И горе угнетателямъ, лжецамъ!
Тѣмъ, кто страдаетъ, кто куетъ страданья,
Тѣмъ, кто рожденъ, и тѣмъ, кто умираетъ!
Но, царственная тѣнь того, что̀—я,
Когда, и какъ, и чрезъ кого, скажи мнѣ,
Должно свершиться будетъ Разрушенье?

ПРИЗРАКЪ.

Спроси холодный блѣдный Часъ, богатый
Превратностями смерти неотвратной,
Когда онъ упадетъ на ликъ того,
Кто сѣдъ, недуженъ, знаетъ Скорбь, Заботу—
Тотъ гнетъ, что Преступленіе, чьи крылья
Оперены годами, оставляетъ,
Когда летитъ отъ боли сердца къ сердцу,
Надъ головой людской, и, сгорбясь, люди
Идутъ съ своею тяжестью къ могилѣ.
Злосчастный! онъ склоненъ на костыляхъ,
И говоритъ о новомъ, о грядущемъ,
Онъ говоритъ, какъ въ молодости новой
Возобновитъ погибшую онъ радость,
И какъ опять—

ГОЛОСЪ ЗА СЦЕНОЙ.

Побѣда! слава намъ!

(*Призракъ исчезаетъ*)

МАХМУДЪ.

Какой докучный крикъ земли несносной
Прервалъ забвенье мощное мое?

ГОЛОСЪ ЗА СЦЕНОЙ.

Побѣда!

МАХМУДЪ.

Слабость молніи предъ тьмою!
Предсмертный слабый блѣдный смѣхъ Ислама,
Отвѣтъ глухой изъ слабой пустоты!
Живу ли я и бодрствую ли нынѣ?
Все это было ль, или, можетъ быть,
Мозгъ, вспугнутый Евреемъ этимъ старымъ,
Огнемъ безумно-мудрыхъ словъ Еврея,
Соткалъ свой страхъ, слилъ въ образы и тѣни?
Неважно это.—Все, что здѣсь мы видимъ,
Что снится намъ, и все, чѣмъ мы владѣемъ,

Или теряемъ, иль завладѣваемъ,
Настолько цѣнно лишь, насколько въ немъ
Есть то, что насъ даритъ или насъ учитъ.
Пусть будетъ то, что будетъ: что̀ случится,
Изъ будущаго прошлымъ стать должно,
А я- какъ тѣ, кому мгновенье это,—
Утесъ угрюмый времени, гдѣ я
Цѣпляюсь,—представлялось недоступнымъ
Элизіемъ, заливомъ счастья, мира.-
Смирить я долженъ пьяные восторги,
Покуда торжество не догорѣло,
И, догорѣвъ, въ отчаянье не ввергло.—
Побѣда!—слава!—Жалкіе рабы!

*(Махмудъ уходитъ)*

ГОЛОСЪ ЗА СЦЕНОЙ.

Кричите, торжествуйте праздникъ смерти!
Побѣда! Греки, точно стая львовъ
Въ сѣтяхъ, вокругъ которыхъ, улыбаясь,
Стоятъ цари, охотники земли.
Безвластники, вы, чья дневная пища—
Проклятья, стоны, золото, плоды
Убійства—на пространствѣ всемъ отъ Θуле
До пояса земли,—сюда, на пиръ!
Столы скрипятъ отъ мяса человѣковъ;
Бокалъ вскипѣлъ, страны въ немъ цѣлой кровь—
Ждетъ Голодъ, Жажда! Ѣшьте, веселитесь,
И пейте, и, насытившись, умрите!

ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Какъ коршунъ, побѣдное Зло закричало,
Привѣтствуетъ солнце, сіянье бѣжитъ,
Сномъ деспота сумракъ до неба домчало,
И ночь, пирамидой сгустившись, дрожитъ.
Подъ нею земля задремала,
Всѣ царства угрюмо глядятъ въ небосводъ.
Погасли сіянья минувшихъ величій.

Кто бѣшеный, хищный—задержитъ полетъ?
Кто когти лишитъ присмирѣвшей добычи?

ГОЛОСЪ ЗА СЦЕНОЙ.

Побѣда! Слава! Жадные орлы
Россіи, увидавши полумѣсяцъ,
Не смѣютъ крылья расправлять свои.
На копья Грековъ, что въ живыхъ остались!
Рѣжь! грабь! насилуй! сдѣлай такъ, чтобъ мясо
Дешевле стало праха на пути!

ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Ты, голосъ, ты, вѣстникъ сокрытаго Зла,
Одѣтаго въ блески сіянья,
Ты, эхо той власти, въ которой—терзанья,
И въ сердцѣ которой—пустынная мгла,
Возьми меня въ эти мелькапья,
Къ жилищу дай мчаться ты мнѣ твоему,
Когда посылаешь ты міру чуму:
Возьми меня къ этимъ зазубреннымъ тучамъ,
Что какъ острова возникаютъ вдали,
Подобны становятся рухнувшимъ кручамъ,
Во время трясенья земли,
Возьми въ океаны сверканій мгновенныхъ,
Въ зыбь молній, на бурный вознесшійся мысъ,
Гдѣ вихри несутся въ волнахъ многопѣнныхъ,
Надъ бездной потоповъ, что ярко зажглись,
Пока не промчались огнистыя воды,
И небо съ землею въ пространствѣ ночномъ,
На всемъ протяженьи вскипѣвшей Природы—
Лишь свѣтъ, запылавшій подъ громъ.

ГОЛОСЪ ЗА СЦЕНОЙ.

Побѣда! Слава! Австрія, Россія,
И Англія, и та змѣя ручная,
Тотъ блѣдный призракъ, Франція, кричатъ,
«Миръ, миръ!»—что значитъ смерть въ устахъ царей.
Эй, тамъ! несите факелы, острите

Дреколье, эти цѣпи слишкомъ легки,
Они пригодны больше для рабовъ,
Для тайныхъ отравителей, не Грековъ.
Бей, грабь, и жги! Пощады никому!

ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Горе для дѣла Свободы,
Если богатство, иль числа, или обманувшіе годы,
Или судьба,
Могутъ изъ вольнаго сдѣлать раба!
Горе для Блага, коль пытки мученья,
Иль заблужденія, или презрѣнье
Могутъ клеймо налагать,
Сердце благое сломать!
Горе Любви, чьей улыбкой, сверкая,
Нѣжно свѣтлѣетъ пустыня земная,
Если, какъ страхъ, утонувшій въ крови,
Можетъ мѣняться, она, отцвѣтая,
Горе Любви!
Истина, ты, что идешь одиноко,
Если ты можешь, предъ взоромъ Порока,
Зеркало свѣтлое прятать въ борьбѣ,
Горе тебѣ!

ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Отбой, отнявши перья у Захвата,
Сквозь область, что Безвластіемъ богата,
Отъ областей Зари повелъ свои полки,
Ихъ были тысячи, съ живымъ огнемъ во взорѣ,
Но, горько возрыдавъ, они вскричали: «Море!»
Черезъ изгнаніе, гоненья, гнетъ тоски,
Римъ былъ, чѣмъ юная предстанетъ Атлантида,
Онъ чудо былъ, и страхъ, и гибель-Немезида
Для тѣхъ, кто топотомъ шаговъ
Власть пробуждалъ въ его пріютѣ гордыхъ сновъ;
Но Греція была ребенкомъ тихимъ, нѣжнымъ,
И стала женщиной съ воздушной красотой,—
По волѣ помысловъ съ сіяньемъ безмятежнымъ,

По волѣ снова, чей свѣтъ весенне-золотой
Ее взростилъ—не давъ ей встрѣтиться съ бѣдой.
Побѣда, о, стыдись, и, Власть, дрожи, коль вольныхъ
Вы покидаете средь затрудненій дольныхъ;
Коль будетъ Грецiя въ борьбѣ сокрушена,
Она сберетъ свои обломки,
И для блистательнаго сна
Ее воздвигнутъ вновь безстрашные потомки,
Въ нѣжнѣйшемъ климатѣ засвѣтится она.
И гдѣ-нибудь на Мысѣ горномъ,
Надъ зыбью праздною Временъ,
Опять, въ созвучiи повторномъ,
Свой гимнъ затянетъ Амфiонъ.

ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Тираны создали погромъ, такъ пусть же царствуютъ въ пустынѣ;
И пусть у вольныхъ будетъ рай, котораго хотятъ;
Пусть рокъ насильниковъ свирѣпыхъ уравновѣшенъ будетъ нынѣ
Съ борьбою нашей, и съ огнемъ, что нашъ затеплилъ взглядъ.

ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Наши мертвые будутъ посѣвомъ ихъ гибели, смерти несчетной,
Тѣ, что живы изъ насъ, будутъ—тѣнь ихъ тщеты, ихъ бѣда,
Пораженiе наше предстанетъ, какъ сонъ, только сонъ мимолетный,
А безчестiе ихъ—будетъ жечь, будетъ жгучимъ всегда.

ГОЛОСЪ ЗА СЦЕНОЙ.

Побѣда! Слава! Купленный Британецъ
Послалъ ключи отъ моря Исламиту.—
Теперь огонь креста во мракѣ будетъ,
Британское умѣнiе направитъ
Стрѣлу Османа противъ мятежа.
Ликуйте,—праздникъ крови неотмщенной!
Бей! рѣжь! Чтобъ ни одинъ не спасся Грекъ!

ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Вотъ, тьма на Востокѣ
На полдень временъ снизошла;
Вотъ, хищныя птицы, ихъ крылья широки,
Мощь голода ихъ принесла.
Пусть въ край полновластнаго лѣта
Умчится Свобода! Скорѣе туда!
Въ Вечернія страны, за блескомъ разсвѣта,
Любви насъ уводитъ звѣзда!

ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Свой серпъ истощенный,
Закатнымъ сіяньемъ зажженный,
Остритъ молодая луна;
Съ улыбкою алой
День умеръ усталый,
Но нѣтъ еще ночи, нѣтъ царствія сна;
И какъ красота, загорѣвшись хотѣньемъ,
Дрожитъ отъ боязни, полна наслажденьемъ,
Изъ области ночи къ намъ Гесперъ летитъ,
Трепещетъ въ своей красотѣ обновленной
И, весь опьяненный,
Сверкаетъ, блеститъ.
Маякъ благодати! лампада свободныхъ!
Веди насъ далеко, скорѣй,
Въ красивыя области душъ благородныхъ,
Гдѣ въ яркомъ сіяньи лучей
Ты прячешься въ лѣтнемъ блаженномъ Эдемѣ,
Гдѣ нѣтъ ни рабовъ, ни царей,
Гдѣ горы сіяньемъ горятъ надо всѣми,
Надъ гладью сафирныхъ морей.

ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Сквозь закатъ упованій,
Въ зыбкой мглѣ очертаній,
Что за Рай островной тамъ горитъ,
О, какой ослѣпительный видъ!
Подъ небеснымъ покровомъ

Тѣ воздушныя тѣни мелькають свѣтлѣй,
Свѣтъ ихъ неба, и звукъ ихъ пѣвучихъ морей,
Ароматъ ихъ лѣсовъ, съ опьяненіемъ новымъ,
Точно небо—для смерти, и утро—для сна,
Душность нашей тюрьмы тѣмъ огнемъ пронзена,
Между этихъ красотъ, въ торжествѣ распростертыхъ,
Возрожденная Грецiя встала изъ мертвыхъ,
И настала весна!

ХОРЪ.

Возрождается эра величья,
Возвращается вѣкъ золотой,
И земля изъ зимы безразличья
Возстаетъ обновленной змѣей:
Небеса улыбаются, царства и вѣры—
Какъ видѣнія сна, въ чистотѣ атмосферы.

Въ обновленьи свѣтлѣетъ Эллада,
Горы встали ея веселѣй,
Подъ звѣздою разсвѣтной прохлада,
Мчитъ источники новый Пеней.
Гдѣ прекраснѣй въ лучахъ расцвѣтаетъ Темпея,
Молодыя Циклады лежатъ, цѣпенѣя.

И прекраснѣй Аргосъ разсѣкаетъ,
Съ лучшимъ кладомъ, пространства морей;
И другой уже пѣсни слагаетъ,
Умираетъ, и любитъ Орфей.
И другой ускользаетъ Улиссъ, для отчизны,
Отъ Калипсо, не внемля словамъ укоризны.

Коль для Смерти земля будетъ свиткомъ,
Не слагайте вы Трои разсказъ,
Лайевъ гнѣвъ былъ искупленъ съ избыткомъ,
Вольный день засвѣтился для насъ:
Хоть утонченнѣй Сфинксъ, въ ухищренiи красивомъ,
Загадаетъ загадки, безвѣстныя Ѳивамъ.

Заблистаютъ другія Аѳины,
И оставятъ свой пышный расцвѣтъ
Новымъ днямъ, какъ бросаетъ рубины
Въ часъ заката слабѣющій свѣтъ;
И оставятъ, коль яркое длиться не властно,
Все, что цѣнно въ землѣ. все, что въ Небѣ прекрасно.

И Сатурнъ, и Любовь, изъ забвенья
Возродившись, предстанутъ свѣтлѣй.
Чѣмъ другіе, и чѣмъ то Видѣнье,
Что смѣнило ихъ въ сумракѣ дней:
Ихъ алтарь не пріемлетъ ни крови, ни злата,
Лишь слезами, цвѣтами краса ихъ богата.

Смерть и злоба должны ль возвращаться?
Люди развѣ должны убивать?
Съ этой горечью нужно разстаться,
До подонковъ нельзя допивать.
Міръ усталъ отъ минувшаго, пусть же онъ нынѣ
Иль умретъ, иль въ спокойной предстанетъ картинѣ!

# ПРИМѢЧАНІЯ ШЕЛЛИ

# КЪ ДРАМѢ „ЭЛЛАДА“.

Къ стр. 125.

*Неутомимыя Свободы свѣтлой крылья.*
*Раздули скрытый жаръ въ золѣ*
*Милана, спавшаго во мглѣ.*

Миланъ былъ средоточьемъ борьбы Ломбардскаго союза противъ Австрійскаго тирана. Фридрихъ Барбаросса сжегъ городъ до основанія, но свобода жила въ его пеплѣ, и онъ возсталъ, какъ испаренье изъ своихъ развалинъ. Смотри книгу Сисмонди *Histoire des Républiques Italiennes*, которая весьма содѣйствовала пробужденію среди Итальянцевъ желанія подражать своимъ великимъ предкамъ.

Къ стр. 131—132.

*Хоръ.*

Распространенныя понятія о Христіанствѣ изображены въ этомъ хорѣ въ ихъ соотношеніи съ культомъ, который они замѣнили, и съ тѣмъ, который они, по всей вѣроятности, замѣнятъ, безъ разсмотрѣнія ихъ достоинствъ съ точки зрѣнія болѣе всеобъемлющей. Первая станса сочетаетъ въ контрастѣ безсмертіе живыхъ и мыслящихъ существъ, населяющихъ планеты, и, пользуясь неточными словами просторѣчія, *одѣвающихся въ вещество*, — съ мимолетностью благороднѣйшихъ проявленій внѣшняго міра.

Заключительные стихи указываютъ на усовершенствованное состояніе болѣе или менѣе возвышеннаго существованія, въ соотвѣтствіи со степенью совершенства, которой можетъ достигать каждый отдѣльный разумъ. Да не будетъ предположено, что я вознамѣрился догматизировать относительно предмета, касательно котораго всѣ люди одинаково несвѣдущи, или будто я думаю, что Гордіевъ узелъ происхожденія зла можетъ быть распутанъ такими или подобными утвержденіями. Гипотеза Существа, похожаго на людей въ нравственныхъ свойствахъ своей природы, вызвавшаго

насъ изъ небытія, позволившаго свершить ошибку, чтобы потомъ покарать насъ соотвѣтственными лишеніями, попрежнему должна оставаться необъяснимой и невѣроятной. Что вѣрное разрѣшеніе этой загадки возможно, и что при нашемъ теперешнемъ состояніи это разрѣшеніе для насъ недостижимо, это—положенія, которыя мы можемъ считать равно достовѣрными; въ то же время, такъ какъ область поэта—приверженность къ тѣмъ идеямъ, которыя возвышаютъ и облагораживаютъ человѣчество, да будетъ ему позволено предположить такое состояніе въ грядущемъ, къ которому всѣ мы устремлены неугасимой жаждой безсмертія. До той поры, когда могутъ быть созданы лучшіе доводы, нежели софизмы, портящіе самое дѣло, это желаніе должно оставаться самымъ сильнымъ и единственнымъ притязаніемъ на то, что вѣчность есть наслѣдіе каждаго мыслящаго существа.

Къ стр. 133.

*Священниковъ съдыхъ тамъ не осталось,*
*Когда, свой край проклявши, Патріархъ*
*Пронзилъ тѣмъ самымъ собственное сердце?*

Греческій Патріархъ, послѣ того какъ онъ былъ вынужденъ разразиться анаѳемой противъ мятежниковъ, былъ казненъ Турками.

Къ счастью, Греки извѣдали, что они не могутъ купить безопасности униженіемъ, и Турки менѣе хитры, чѣмъ ясноликіе тираны Европы, хотя они такъ же жестоки, какъ эти. Притомъ вожди Грековъ почти всѣ—люди съ пониманіемъ и съ просвѣщенными взглядами въ области вѣры и политики.

Къ стр. 146.

*Слуга поэта западнаго, нынѣ*
*Отпущенный на волю, руководитъ*
*Толпой рабовъ...*

Одинъ Грекъ, который служилъ Лорду Байрону, командуетъ повстанцами въ Аттикѣ. Какъ сообщилъ мнѣ Лордъ Байронъ, этотъ Грекъ, хотя и поэтъ и пламенный патріотъ, производилъ на него скорѣе впечатлѣніе человѣка робкаго и непредпріимчиваго. Повидимому, обстоятельства дѣлаютъ людей тѣмъ, что они есть, и мы всѣ хранимъ въ себѣ зародышъ извѣстной степени униженія и

величія, связь которыхъ съ нашимъ характеромъ опредѣляется событіями.

Къ стр. 147.

*И Греки ждутъ Спасителя...*

Разсказываютъ, что этотъ Мессія прибылъ въ одну морскую гавань, близь Лакедемона, на какомъ-то Американскомъ бригѣ. Сочетаніе наименованій и представленій вызываетъ неудержимый смѣхъ, но распространенность подобнаго слуха ярко указываетъ на то, какъ великъ народный энтузіазмъ въ Греціи.

Къ стр. 157.

*Гулъ, точно царскій городъ осаждаютъ...*

Касательно видѣнія Махмудомъ взятія Константинополя въ 1445-омъ году, см. Гиббона *Decline and Fall of the Roman Empire* (*Ослабленіе и паденіе Римской Имперіи*), томъ 12-й, стр. 223.

Могутъ возразить, что способъ вызыванія духа Магомета Второго слишкомъ утонченъ. Я легко могъ изобразить Еврея обыкновеннымъ заклинателемъ, а Призракъ—обыкновеннымъ духомъ. Я предпочелъ представить Еврея не имѣющимъ никакихъ притязаній на сверхприродныя вліянія, или даже не имѣющимъ вѣры въ нихъ, и вовлекающимъ Махмуда въ такое состояніе ума, при которомъ идеи могутъ принимать силу ощущеній, благодаря смѣшенію мысли съ предметами мысли, и благодаря избытку страсти, одушевляющей созданія воображенія.

Это извѣстнаго рода природная магія, которую въ той или иной степени можетъ осуществлять каждый, кто овладѣлъ бы тайнымъ сочетаніемъ мыслей другого.

Къ стр. 167—168.

*Хоръ.*

Заключительный хоръ неясенъ и теменъ, какъ развязка живой драмы, приближеніе которой онъ предсказываетъ. Прорицанія войнъ, бранную молву и т. под. поэтъ или пророкъ можетъ съ полнымъ правомъ вводить въ свои слова въ любую эпоху, но предвосхищать, хотя бы въ смутныхъ очертаніяхъ, наступленіе періода возрожденья и счастья это—болѣе рискованное проявленіе способности, которой обладаютъ, или какъ будто обладаютъ, барды. Читатель припомнитъ magno *nec* proximus intervallo Исаіи и Виргилія, чьи

пламенныя души, убѣгая за предѣлы настоящаго царства зла, которое мы терпимъ и оплакиваемъ, уже видѣли возможное и, быть можетъ, приближающееся состояніе общества, когда «левъ ляжетъ рядомъ съ ягненкомъ» и «omnis feret omnia tellus».

Пусть эти великія имена будутъ моимъ авторитетомъ и моимъ извиненіемъ.

Къ стр. 168.

*И Сатурнъ, и Любовь, изъ забвенья*
*Возродившись, возстали свѣтлѣй...*

Сатурнъ и Любовь были въ числѣ божествъ, находившихся въ состояніи дѣйствительнаго или воображаемаго блаженства и невинности. Подъ другими разумѣются боги Греціи, Азіи, и Египта: сюда нужно присоединить также тѣхъ, что еще не покорены, или чудовищные предметы идолопоклонства въ Китаѣ, въ Индіи, на Антарктическихъ островахъ, и среди туземныхъ племенъ Америки, которые достовѣрно царствовали надъ разумѣніями людей, соединенной силой, или въ послѣдовательномъ порядкѣ, въ продолженіи періодовъ, когда, какъ всѣ мы знаемъ, зло было могучимъ, и безпрерывно возростало въ своей грозной силѣ, до возрожденія знанія и искусствъ. Греческіе боги повидимому были, по характеру своихъ личностей, болѣе невинны, хотя, что касается воздержанія и цѣломудрія, нельзя сказать, чтобы они давали такой поучительный примѣръ какъ Тотъ, Кто ихъ замѣнилъ. Возвышенный человѣческій характеръ Іисуса Христа долгое время, въ теченіе исторіи, былъ искажаемъ приписывавшимся ему тождествомъ съ властью, которая вѣроломно искушала и карала невинныя существа, ея единственною волею вызванныя къ жизни; и въ теченіе цѣлаго тысячелѣтія духъ этого справедливѣйшаго, мудрѣйшаго и наиболѣе изъ всѣхъ человѣковъ исполненнаго благоволеніемъ умилостивлялся міріадами гекатомбъ, именно тѣхъ, кто приближался наиболѣе близко къ его невинности и мудрости, причемъ эти жертвоприношенія сопровождались всякаго рода жестокостями и разнообразіемъ пытокъ. Ужасы Мексиканскихъ, Перувіанскихъ, и Индійскихъ суевѣрій общеизвѣстны.

# 1822.

# ОТРЫВКИ НЕОКОНЧЕННОЙ ДРАМЫ.

Волшебница, живущая на одномъ изъ острововъ Индійскаго Архипелага, спасаетъ жизнь нѣкоему Пирату, человѣку съ дикимъ, но благороднымъ темпераментомъ. Она влюбляется въ него; и онъ, измѣнчивый въ своей смертной любви, нѣкоторое время отвѣчаетъ на ея страсть; но, въ концѣ концовъ, вспоминая ту, кого онъ оставилъ, и кто скорбитъ о его утратѣ, онъ спасается бѣгствомъ съ Зачарованнаго Острова, и возвращается къ своей возлюбленной. Образъ его жизни снова заставляетъ его очутиться на морѣ, и Волшебница пользуется случаемъ, черезъ посредство поднятой Духомъ бури, вернуть его на свой Островъ.

Сцена: передъ пещерой Индійской Волшебницы. Выходитъ Волшебница.

ВОЛШЕБНИЦА.

Онъ пришелъ точно сонъ въ утро нѣжное дней,
Онъ бѣжалъ точно тѣнь предъ полдневнымъ лучомъ;
Онъ ушелъ, нѣтъ покоя для мысли моей,
Какъ луна, я грустна, нѣтъ мнѣ счастья ни въ чемъ.
Эхо, Эхо, проснись,
На печаль отзовись,
Въ сердцѣ струны звенятъ, всѣ въ немъ скорби сошлись.

Но въ душѣ у меня есть такая струна,
Что не можетъ и Эхо найти ей отвѣтъ,
И въ затмѣньи души тѣнь таится одна,
Хочетъ ласки его, прежней ласки ей нѣтъ.
Цѣловали уста,
Но погасла мечта,
Хуже смерти тоска,—о, тоска, пустота!

Волшебница совершаетъ чарованье; ей отвѣчаетъ Духъ.

ДУХЪ.

Въ безмолвномъ средоточіи земли—
Мое жилище; здѣсь, съ начала міра,

Я жилъ въ моемъ сферическомъ дворцѣ;
Мой сонъ вокругъ меня соткалъ видѣнья,
Узоры грезъ о томъ туманномъ мѣстѣ,
Что смертные вселенною зовутъ.
Въ одну непроницаемую маску
Набросаны несчетныя глубины,
Бездонность неизвѣданныхъ стихій,
Провалы изъ огней неизмѣримыхъ,
И жилы камня, золота, желѣза,
Упорнаго, какъ рѣжущій алмазъ.
И, какъ покровъ, чья ткань меня скрываетъ,
Когда въ просторѣ Неба я иду,
Я создалъ горы, тучи, океаны,
И свѣтъ, чья слитность брызгами зари,
Въ пространствахъ темныхъ ярко разливаясь,
Поитъ сіяньемъ воздухъ между звѣздъ.

**Добрый Духъ, слѣдящій за судьбою Пирата, таинственнымъ образомъ приводитъ его возлюбленную на Зачарованный Островъ; онъ приводитъ сюда также Юношу, который любитъ эту Женщину, но на страсть котораго она отвѣчаетъ лишь чувствомъ сестры. Слѣдующая сцена происходитъ между ними по прибытіи на Островъ, гдѣ они встрѣчаются, но не вполнѣ признавъ другъ друга.**

### ДРУГАЯ СЦЕНА.

**Индійскій Юноша и Неизвѣстная Женщина.**

ИНДІЕЦЪ.

А если мнѣ моя печаль дороже,
Чѣмъ всѣ восторги міра, для чего
Ее смягчить желаешь ты?

ЖЕНЩИНА.

Я только
То предлагаю, что сама хотѣла бъ
Найти на этомъ островѣ волшебномъ,
Сочувствіе людское.

ИНДІЕЦЪ.

О мой другъ,
Моя сестра, любовь моя!—Но что я

Здѣсь говорю? Я голову теряю,
Не знаю въ самомъ дѣлѣ, говорю ли
Тебѣ иль ей.

ЖЕНЩИНА.

Сдержи порывъ души.
Я для тебя, въ короткое мгновенье,
Лишь то, что ты, въ мгновеньи, для меня:
Не болѣе какъ вѣтеръ мимолетный,
Что освѣжаетъ въ полдень намъ лицо,
И ночью можетъ остудить смертельно,
Не медлитъ тамъ, гдѣ можетъ утолять,
Не утоляетъ тамъ, гдѣ можетъ медлить.

ИНДІЕЦЪ.

Но ты сказала, что и ты любила?

ЖЕНЩИНА.

Любила! О, люблю. Я полагаю,
Что это слово міру надлежитъ,
Ко всѣмъ подходитъ, для сердецъ же нѣжныхъ
Другое нужно выдумать названье,
Чтобъ говорить о мысляхъ, что нѣжнѣй,
Чѣмъ помыслы, доступные для міра.
Да, я любила.

ИНДІЕЦЪ.

И не любишь больше?
Такою нѣжной юностью блистая,
Другимъ внушить ты можешь много слезъ.

ЖЕНЩИНА.

О, если бъ я совсѣмъ была изъята
Отъ нѣжныхъ мукъ понятія—любовь!
Любила я, люблю, когда же больше
Любить не буду, пусть умрутъ навѣкъ
И радости и скорби, пусть раздастся
Надгробный звонъ надъ юностью моей.

Онъ рядомъ былъ со мною, воплощенье
Блестящаго прекраснѣйшаго сна,
За чьимъ явленьемъ, какъ съ зарею вмѣстѣ,
День жизни загорается для насъ;
Лишь тѣнь его присутствія живого
Мой міръ преображала въ свѣтлый Рай.
Всѣ, самые знакомые, предметы,
Которыхъ онъ касался, всѣ слова,
Хотя бъ они обыденными были,
Но только если онъ ихъ произнесъ,
Мнѣ были точно образы и звуки
Иного совершеннѣйшаго міра.
Онъ въ юности своей неумолимой
Какъ солнце былъ, былъ какъ гроза прекрасенъ
И страшенъ; онъ пришелъ, и онъ ушелъ,
Меня оставивъ тѣмъ, что я отнынѣ.
Зачѣмъ должна я думать, какъ мы часто
Сидѣли съ нимъ на берегу рѣки,
Надъ нами ивы стволъ шатромъ зеленымъ
Склонялся и вѣтвями осѣнялъ
Теченье непрерывнаго потока,
Усѣяннаго нѣжными цвѣтами,
Что находили тамъ себѣ пріютъ,
На островкѣ, гдѣ мхи сплетались кротко,
Межь тѣмъ какъ лепестки мускатныхъ розъ
Какъ хлопья снѣга алаго, струились
На насъ дождемъ, и горлинка въ соснѣ
На вѣткѣ тосковала, предвѣщая
Печали, что грозили—но не ей?
Растаялъ снѣгъ, журавль къ гнѣзду вернулся,
Обманщица-кукушка прилетѣла,
Прокуковала «Добрый день» Веснѣ;
И спрятавшись въ плющѣ, какъ въ темной ночи,
Вновь началъ овдовѣвшій соловей
Слагать вечерній гимнъ тоски безсонной.
Оставленная, такъ же, какъ и онъ,
Какъ онъ,—о, нѣтъ, не такъ же,—оставляя
Нѣжнѣйшаго, кто, полюбивъ меня,

Мои печали полюбилъ душою,
И чья любовь мнѣ стала дорога,
Печально дни свои я проводила.

ИНДІЕЦЪ.

Проклятіе Природы придастъ
Несчастнымъ однородность очертаній;
Они похожи такъ же другъ на друга,
Какъ на фіалку синяя фіалка,
Когда воспоминанье, духъ больной,
Среди обломковъ радости погибшей
Хранитъ ихъ нѣжно-грустный ароматъ.—
Но продолжай.

ЖЕНЩИНА.

Онъ былъ простой, невинный.
Его любила я отъ всей души,
Хотя не такъ, какъ онъ желалъ; однако жь
И этимъ онъ доволенъ былъ: довольство
Короткое, оно прошло...

ИНДІЕЦЪ. *(Въ сторону)*

О, Боже!
Такой же островъ, и рѣка, какъ тамъ.
Не смѣю я спросить, была ль бесѣдка,
Надъ чьею кровлей полумѣсяцъ былъ,
Ступени же спускались къ синей влагѣ.

*(Вслухъ)*

Возможно, что Природа создаетъ,
Какъ въ маскарадѣ, нѣсколько такихъ же,
Похожихъ, масокъ участи одной:
Такимъ путемъ страдающіе могутъ
Сочувствовать другому какъ себѣ,
И въ дружбѣ находить, что потеряли
Въ любви. Не можетъ быть, но это странно,
Что мы отъ тѣхъ же сценъ, дорогой той же,
Въ пустынный этотъ міръ... Но говори!
Твое дыханье музыкѣ подобно,

Твои слова какъ отзвукъ раннихъ дней,
Какъ голосъ, что въ моемъ не гаснетъ сердцѣ.
Но ты сказала...

ЖЕНЩИНА.

Да, онъ страшенъ былъ,
Но былъ прекрасенъ въ ужасѣ и тайнѣ,
Меня онъ успокаивалъ, какъ море
Спокойно, видя ясный ликъ небесъ;
И все же этотъ образъ не подходитъ,
Онъ бурнымъ былъ, и часто мнѣ казался
Непогасимымъ солнцемъ, затѣненнымъ
Покровами тяжелыхъ грозныхъ тучъ;
Такимъ онъ въ мысляхъ былъ, да и въ поступкахъ;
Но онъ не съ ними былъ, они—не съ нимъ,
Они лишь отъ земли скрывали солнце.
Я слышала, иные говорили,
Что былъ онъ злой преступный человѣкъ,
И съ ногъ до головы былъ весь въ безславьи.
Тѣмъ болѣе необходимо было,
Чтобъ я была невинна, и тѣмъ больше
Должна была я быть ему вѣрна,
Тѣмъ больше было нужно, чтобъ нашелся
Кто могъ бы угрызенья съ нимъ дѣлить,
Презрѣнье, одиночество и бѣды,
Грозящіе всѣмъ тѣмъ, кто въ мірѣ жизни
Стоитъ за разрушенье. Онъ бѣжалъ,
И я за нимъ пошла.

ИНДІЕЦЪ.

Такимъ же точно
Былъ онъ, кто былъ зимой моей мечты.
Но разскажи, прекрасная, когда ты
Покинула далекіе холмы,
Гдѣ воды къ доламъ Индіи стремятся,
Какъ ты черезъ морскую даль прошла?

ЖЕНЩИНА.

Когда бъ я знала, что теперь не сплю я,
Сказала бъ я, что это былъ лишь сонъ.
Казалось мнѣ, съ небесъ звѣзда спустилась,
И медлила среди цвѣтовъ Индійскихъ,
Которымъ отъ мороза я пріютъ
Дала въ моей опочивальнѣ свѣтлой.
Тамъ метеоръ среди растеній легъ,
И между нихъ струилъ свое сіянье,
Какъ будто былъ живымъ, и утомился
Отъ скорости стремленья своего;
Иль будто онъ любилъ, и страсть дрожала
Біеньями его блестящей жизни,
Какъ въ сердцѣ, озабоченномъ любовью;
Потомъ тотъ нѣжный свѣтъ распространился,
Вся комната и стѣны, мнилось, слились
Въ расплавленный текучій изумрудъ,
Который не сжигалъ, хотя свѣтился;
Средь пламени зеленаго явился,
Какъ бы ребенокъ нѣжный, нѣкій духъ,
Онъ звонко разсмѣялся, и такое
Веселье было въ смѣхѣ серебристомъ,
Что у меня въ ногахъ плясала кровь;
Надъ вазою потомъ онъ наклонился,
Пропѣлъ тихонько пѣснь, слова которой
Мнѣ были непонятны, посадилъ
Въ землѣ черпѣвшей какъ бы сѣмя дыни,
И медленно растаялъ, и на мѣсто
Его, изъ огнецвѣтнаго покрова,
Воздушная означилась рука,
Въ ней чаша, какъ магнолія, изъ чаши
На землю въ вазу что-то пролилось
Земля блеснула свѣтлымъ тѣмъ составомъ,
Нѣжнѣе, чѣмъ сіяніе зари,
И чище струй, бѣгущихъ съ Гималаевъ.

ИНДІЕЦЪ.

И ты не пробудилась?

ЖЕНЩИНА.

Нѣтъ, пока
Мой сонъ не сталъ какъ надпись, что ребенокъ
На желтомъ начертилъ пескѣ морскомъ,
И первая волна ея коснулась,
Наполовину стерла эти буквы,
Наполовину можно ихъ прочесть.
Я встала, наконецъ, и, поливая
Цвѣты, и отъ горшка идя къ горшку,
Хотѣла въ незаполненныя урны
Я новые отростки посадить,
Какъ вдругъ, когда дошла я до рѣшетки,
Увидѣла два маленькихъ листка;
Ихъ цвѣтъ темно-зеленый былъ; рождаясь,
Приподняли они собою легкій
Пылеобразный верхній слой земли,—
И вспомнила я сонъ полузабытый.
И день за днемъ, какъ тыква въ дни Іюня,
Зеленое растеніе свѣжѣло,
Оно плотнѣй и крѣпче становилось,
Но имени его не зналъ никто;
И усики его и стволъ зеленый
На изумрудныхъ змѣй похожи были,
Алмазно-пестрыхъ, съ чешуей лазурной,
Съ полосками живого серебра;
Всѣ ткани, что его скрывали почки,
Приподнялись на немъ, какъ гребешки
На темной головѣ змѣи очковой,
И наконецъ глазъ золотой цвѣтка
Чрезъ темныя рѣсницы вѣкъ закрытыхъ
Пролилъ свой взоръ, отъ сна раскрылъ рѣсницы,
И въ утро глянулъ нѣжно, какъ звѣзда.
Его листы воздушно были тонки,
И чудились біенья въ нѣжныхъ жилкахъ,
На бархатѣ пурпуровомъ цвѣтка.
И какъ душа поэта превращаетъ
Фантазію въ плѣнительное чувство,
Такъ бархатный цвѣтокъ преображалъ

Свой мягкій свѣтъ въ дыханье аромата.
Опалъ онъ вскорѣ, и свои всѣ чары
Оставилъ изумрудному плоду,
Свѣтлѣвшему зародышемъ росистымъ.
Я каждый день растеніе питала,
И въ продолженьи яркихъ зимнихъ дней
На флейтѣ для него играла пѣсни,
Воздушныя, какъ нѣжный дождь въ Апрѣлѣ,
Ласкающій безмолвные листы,
И тѣ слова въ своихъ я пѣла пѣсняхъ,
Которыми тоскующая страсть
Въ струнахъ дремотныхъ будитъ звонкій Откликъ;
И поздней ночью пѣла я напѣвы,
Что въ древности, безумствуя, слагали
Покинутыя дѣвы, и рыдала
Надъ сонными рѣсницами растенья,
Какъ облачко въ лазури въ день Апрѣля,
И можетъ быть растенію приснилось,
Что дни Весны чарующей настали,
Оно въ сіяньи лунномъ расширялось,
И члены всѣ свои высвобождало,
Межь тѣмъ какъ солнце, въ каждый новый полдень,
Все меньше отвращало лучъ косой.

ИНДІЕЦЪ.

И въ холодѣ растенье не погибло?

ЖЕНЩИНА.

Оно росло, и вышло изъ рѣшетки,
Которую ему я пріоткрыла,
Оно распространило по лужайкѣ
И по̀ саду причудливыя вѣтви,
Спустилось по уклонамъ, между мховъ,
По дерну, между дикими цвѣтами,
Среди стволовъ, обросшихъ лишаями,
Среди сѣдыхъ камней, дремавшихъ годы,
До берега блестящаго прудка,
До уголка фіалокъ нерасцвѣтшихъ

И ландышей, еще не забѣлѣвшихъ,
Подъ зеленью сосны, переплетенной
Съ побѣгами плюща. Тамъ плодъ его
Среди тѣней, сложившихся въ узоры,
Какъ ящерица спящая, лежалъ.
Когда жь весна, своихъ дѣтей лелѣя,
Освободила отъ пеленокъ ихъ,
И лиліи изъ-за зеленыхъ масокъ,
Какъ дѣти изъ-за двери, поглядѣли,
Дивясь, на форму осени межь ними,
Оно распространялось, до тѣхъ поръ
Пока одной своею половиной
Не стало колыхаться на волнѣ,
Чей пульсъ, дрожа въ неровныхъ колебаньяхъ,
Слагался въ тактъ колеблющимся почкамъ
Воздушно-снѣжныхъ лилій водяныхъ.
Оно по очертаньямъ походило
На облако, что отъ зари лучистой
Возносится къ волшебнымъ островамъ
Вечерней мглы, дыша подъ южнымъ вѣтромъ,
Пришедшимъ изъ долины благовонной,
Исполненной мелодій звучныхъ лѣта;
По формѣ и окраскѣ то растенье
Какъ бы зеркальнымъ было отраженьемъ
Всѣхъ формъ и красокъ, бывшихъ вкругъ него;
Отъ солнечныхъ лучей отпечатлѣлись
На немъ дрожанья свѣтлыя прудка,
Цвѣтъ кровли изъ вѣтвей переплетенныхъ,
Стволы-столбы сильвановскаго храма,
И отраженья каждаго цвѣтка,
Глядящаго съ младенческой улыбкой,
И звѣзды мховъ, и зелень тонкихъ листьевъ,
Трепещущихъ въ лазурной вышинѣ.
И такъ оно, въ покоѣ Элизійскомъ,
Лежало, въ свѣтѣ собственной красы,
Качаясь на чертѣ, подобной пленкѣ,
Которая два неба раздѣляла,
Одно, что подъ водою, тамъ внизу,

Другое тамъ вверху, надъ облаками;
И каждый день къ нему я подходила,
Дивясь и наблюдая ростъ его;
Когда былъ зной, казалось мнѣ, я вижу,
Какъ паръ блестящій пляшетъ надъ прудкомъ,
Причудливыя маленькія формы,
Какъ бы изъ пленки сотканныя тонкой,
Надъ нимъ кружились съ бѣшенымъ движеньемъ,
Качались, поднимались, упадали,
Какъ тучи мошекъ нѣжно-золотыхъ.

. . . . . .

О другъ, сонъ былъ покровъ, что снятъ былъ съ неба,
И надъ чудеснымъ міромъ сновидѣнья
Блеснуло небо, въ часъ когда изъ бездны
Восточной поднялся глубокій мракъ,
Вослѣдъ за днемъ, навѣки догорѣвшимъ.

ИНДІЕЦЪ.

Я тоже понялъ, что мгновенье Рая,
Увидѣннаго въ яркихъ зыбяхъ сна,
Наполовину насъ вознаграждаетъ
За адъ печали, насъ гнетущей днемъ.

# 1822.

# КАРЛЪ ПЕРВЫЙ.

*ДРАМАТИЧЕСКІЕ ОТРЫВКИ.*

## ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Король Карлъ Первый.
Королева Генріетта.
Лоодъ, Архіепископъ Кентерберійскій.
Уэнтуорсъ, Графъ Страффордскій.
Лордъ Коттингтонъ.
Лордъ Уэстонъ.
Лордъ Ковентри.
Уильямсъ, Епископъ Линкольнскій.
Секретарь Литтельтонъ.
Джэксонъ.
Сентъ-Джонъ.
Арчи, придворный шутъ.
Хэмпденъ.
Пимъ.
Кромвелль.
Дочь Кромвелля.
Сэръ Харри Вэнъ младшій.
Лейтонъ.
Баствикъ.
Принни.

іэны изъ Училища Правовѣдѣнія, Граждане, Герольды, Маршалы (Церемоніймейстеры), Студенты-Юристы, Судьи, Клэрки.

## СЦЕНА ПЕРВАЯ.

**Маскарадное представленіе въ Училищѣ Правовѣдѣнія.**

ГЕРОЛЬДЪ.

Дорогу, мѣсто! Маршалъ Маскарада!

ПЕРВЫЙ ГРАЖДАНИНЪ.

Что скажешь ты о пестромъ представленьи,
Которое, какъ утро послѣ ночи,
Ночь превращаетъ въ день, и Лондонъ въ мѣсто
Услады и покоя?

ВТОРОЙ ГРАЖДАНИНЪ.

Также какъ
Адъ въ Рай. Ужь восемь лѣтъ прошло, и мнится,
Что какъ часы прошли они, съ тѣхъ поръ какъ
На улицѣ я этой многолюдной
Шелъ по травѣ, зеленой отъ дождя,
И въ томъ дворцѣ, гдѣ суета ликуетъ,
Держала скипетръ красная Чума.
Еще лѣтъ девять,—снова освѣжится
Вплоть до корней трава, напившись кровью,
Пролитою—гражданскою войной;
Благодаренье милосердью Бога,
Что грѣхъ и зло, какъ вопли сироты,
Слухъ долготерпѣливый оскорбляютъ
Великаго Отмстителя.

ЮНОША.

Однако,
Пріятное здѣсь зрѣлище, отецъ,

Красивое, невинное; отъ Бога
Ему запрета нѣтъ, ни отъ людей;—
Оно какъ смѣна тѣхъ тѣней воздушныхъ,
Въ торжественномъ и свѣтломъ сновидѣньи,
Когда увидятъ люди сонъ такой,
Они, какъ бы отъ рая пробудившись,
Въ себѣ находятъ силу, чтобъ идти
По жизненнымъ путямъ, гдѣ столько терній.
Разъ благъ Господь, какъ было бъ дурно это?
А разъ это не дурно, для чего же
Безвременной отравы ищешь ты
Въ цвѣтахъ, что рѣдко такъ мы видимъ въ этомъ
Безплодномъ мірѣ? О, убей скорѣе
Тѣ горестныя мысли, отъ которыхъ
Насъ данный мигъ пугаетъ, какъ грядущій!—

. . . . . .

Въ тотъ часъ какъ Алчный Духъ, и Тираннія,
И зоркій Страхъ, и Заговоръ, съ глазами
Раскрытыми, спокойно улеглись,
Какъ будто на порогѣ Ада дремлютъ,
А помышленья кроткія проснулись,
Чтобы Тому молиться, Кто даетъ
Намъ радости своимъ чудеснымъ даромъ.

ВТОРОЙ ГРАЖДАНИНЪ.

Какъ юнъ ты въ этомъ вѣкѣ одряхлѣломъ,
Какъ зеленъ въ этомъ мірѣ ты сѣдомъ!
По признакамъ ты различить сумѣешь,
Какое время года, а не видишь
Ни знака измѣненія на сценѣ,
Гдѣ ты актеръ, не зритель? или ты
Маріонетка, движимая нитью?
День, чей разсвѣтъ—въ огнѣ, кончаетъ бурей,
Хотя бы въ немъ спокойнымъ полдень былъ.
Свой путь свершилъ я,—прежде чѣмъ проснутся
Дыханья вихрей, я найду свой миръ
Въ прибѣжищѣ глубокаго покоя;
Тебѣ жь еще придется путь свершать свой,

Въ безжалостномъ дыханіи вѣтровъ.
Закутайся скорѣй въ свой старый плащъ,
И для путей фіалковыхъ восторга
Не оставляй дороги ровной, ясной,
Сравненной многократными шагами,
Хотя и нѣтъ въ ея пыли цвѣтовъ.
Подобно равноденственному солнцу
Карлъ Первый этотъ поднялся... въ туманахъ,
Чрезъ ихъ покровъ зловѣщій устремляя
Вліянье измѣненное свое,
Достигъ онъ этой высоты полудня,
Откуда долженъ будетъ снизойти
Средь темноты враждебныхъ урагановъ,
И въ сырости губительной погаснуть,
Въ послѣдней ночи свѣтъ свой утопить...
Вонъ тамъ идетъ вѣроотступникъ Страффордъ;
Заслуги всѣ его лишь въ томъ, что онъ
Слова Бэкона и Маккіавели
Нашептываетъ въ видѣ афоризмовъ;
Когда бъ Іуда такъ же былъ безстыденъ,
И такъ же смѣлъ, какъ онъ—

ПЕРВЫЙ ГРАЖДАНИНЪ.

Архіепископъ!

ВТОРОЙ ГРАЖДАНИНЪ.

Скажи вѣрнѣе, Папа: Лондонъ скоро
Ему послужитъ Римомъ: такъ онъ ходитъ,
Какъ будто бъ шелъ по головамъ людей:
Надменно онъ, съ кичливостью тщеславной.
Глядитъ, упившись золотомъ и кровью;—
Съ нимъ рядомъ Вавилонянка незримо,
И съ нею, какъ бы съ собственною тѣнью,
Идетъ прелюбодѣй позорный, въ митрѣ,
Грѣхомъ соединенный съ ней, который
Живое млеко милости Небесной
Въ месть превращаетъ.

ТРЕТІЙ ГРАЖДАНИНЪ (*поднимая свои глаза*)

Боже милосердный,
Низвергни на него ее дождемъ...
Средь дамъ своихъ папистка-королева
Проходитъ такъ, какъ будто бы хотѣла
Землѣ Англійской выразить презрѣнье
Своею ножкой. Хананеянка,
Іезавель! Я бъ стать хотѣлъ собакой,
Чтобы зубами растерзать ее!
Вонъ старый тамъ Сэръ Генри Вэнъ, Графъ Пемброкъ,
Лордъ Эссексъ, Лордъ Хранитель Ковентри,
Еще другіе, тѣ, что принижаютъ
Свое происхожденіе, пятная
Себя участьемъ въ почестяхъ съ толпою
Вѣроотступныхъ, деспотовъ, папистовъ,
Безбожниковъ. Разъ маску надѣваютъ
Законники, пришла пора для честныхъ
Личину съ тайныхъ мыслей ихъ сорвать.
Удобный часъ теперь для всѣхъ, кто въ маскѣ!
Когда для Англичанъ и Протестантовъ
Прилично было бъ сѣсть скорбя, и пепломъ
Главы посыпать низкія свои,
Чтобъ гнѣвъ отвлечь Того, Чей бичъ ужь слышенъ,
Бичъ тѣмъ грѣхамъ великимъ, что съ небесъ
Призвали Кару, и призвали силу
Вторженья чужеземцевъ... Тамъ, въ Рошфорѣ,
Святые оставались, ихъ терзали,
Но тѣ, что имъ союзниками были,
Ихъ бросили въ постыдномъ вѣроломствѣ,
И предали ихъ козпямъ любодѣя—
Язычника, Французскаго Люиса,
Палатинатъ потерянъ --

(*Входятъ Лейтонъ* (*у котораго клейменое лицо*) *и Баствикъ*)

Да возможно ль?
Ты это?

ЛЕЙТОНЪ.

Я *былъ* Лейтонъ: что *теперь* я,
Ты видишь. Отверни свои глаза,
И все же взоръ, твой взоръ воспоминанья,
На душу друга устреми теперь,
Мой духъ все тотъ же, и запечатлѣлся
Глубоко въ немъ неправый приговоръ.

ТРЕТІЙ ГРАЖДАНИНЪ.

Отмѣтками такими Іоодъ хочетъ
Исправить ликъ Создателя, который
Въ лицѣ людскомъ возсозданъ? О, проклятье,
Проклятіе безчестному тирану!

ВТОРОЙ ГРАЖДАНИНЪ.

Молва еще идетъ, что всѣмъ развратнымъ
Папистамъ, этимъ пьяницамъ позорнымъ
Разрѣшено порочить день Субботній...
Дозволено языческій обычай
Осуществлять, плясать вокругъ шеста,
Обвитаго гирляндами въ день Мая.
Кто Бога своего такъ дважды распялъ,
Терзать тотъ можетъ брата своего.
Поистинѣ, мой другъ, какъ я помыслю,
Прелатство составляетъ корень зла.
Я бъ корень срѣзалъ.

ТРЕТІЙ ГРАЖДАНИНЪ.

Какъ?

ВТОРОЙ ГРАЖДАНИНЪ.

А такъ: любого
Епископа—подъ пятое ребро.

ТРЕТІЙ ГРАЖДАНИНЪ.

Какъ видится, вы подлинно узнали,
Гдѣ можно ранить этихъ крокодиловъ.

ВТОРОЙ ГРАЖДАНИНЪ.

Я вѣдалъ, сэръ, Египетское рабство.
Оттуда знаю. Этотъ Нильскій гадъ
Не можетъ ложно-льстивыми слезами
Обманывать, подобно имъ; они,
Когда убить нельзя, визжатъ и плачутъ.
И онъ не такъ наполовину жаденъ
До тѣлъ людскихъ, какъ эти до души
И до всего; при томъ же онъ не такъ
Валяется въ грязи и влажномъ илѣ,
Какъ эти въ симоніи и во лжи,
И въ скрытыхъ тайныхъ услажденьяхъ плоти.

ЦЕРЕМОНІЙМЕЙСТЕРЪ.

Дорогу, мѣсто! Факельщики, быстро,
У главной двери стойте, долженъ тамъ
Пройти къ Владыкамъ Маршалъ Маскарада.

СТУДЕНТЪ-ЮРИСТЪ.

Что думаешь ты, другъ мой престарѣлый,
О странномъ этомъ нашемъ представленьи?
Вотъ въ этотъ мигъ огнемъ кроваво-краснымъ
Къ востоку ночь отъ факеловъ горитъ,
И звукъ рожковъ несется къ намъ по вѣтру.

ПЕРВЫЙ ГРАЖДАНИНЪ.

Я думаю лишь объ одномъ, что можетъ
Отъ ранъ отчизна наша излѣчиться.
Король нашъ милосердъ и справедливъ,
Хоть у него и извращаютъ волю
Совѣты злые: если ихъ отбросить –

ВТОРОЙ ГРАЖДАНИНЪ.

Тая отраву, сбрасываютъ кожу
Ехидны, – такъ мѣняются цари:
Совѣты и совѣтники взаимно
Нависли другъ на другѣ, укрывая

Всю мерзость язвъ, какъ въ жалкихъ лоскуткахъ
Скрываетъ гной нарывовъ прокаженный.

ЮНОША.

Опять нестройность этихъ мрачныхъ мыслей!—
Послушай лучше, какъ ростетъ воздушно
Звукъ музыки. Смотри, какъ неустанно,
Пылаетъ пламя факеловъ, и какъ
Толпа свои ряды густые дѣлитъ,
Какъ зыбь предъ кораблемъ, гдѣ адмиралъ.

ЦЕРЕМОНІЙМЕЙСТЕРЪ.

Раздайтесь, мѣсто! Маршалъ Маскарада!

ГЕРОЛЬДЪ.

Дорогу Королю!

ЮНОША.

О, какъ чудесно!
Столпившися, несутся колесницы
Вослѣдъ своихъ торжественныхъ коней,
Какъ облака проносятся предъ вѣтромъ;
Одни изъ нихъ какъ раковины, съ цвѣтомъ
Лазурнымъ, какъ Индійскія моря;
Другія какъ луна, что чуть родилась;
Иныя же какъ колесницы тѣ,
Въ которыхъ въ оны дни на Капитолій
Стремились гордо Римскіе герои,
Подъ крыльями орлиными Побѣды.
Глядите, какъ подъ факельнымъ сіяньемъ
Горячіе гарцуютъ стройно кони,
И всадники галантные глядятъ,—
Удерживая гордость ихъ,—какъ будто
Ихъ обликъ созданъ изъ стихіи тоньше,
Чѣмъ этотъ воздухъ Англіи, и сами
Они по личнымъ свойствамъ благороднѣй,
Чѣмъ завистью объятая толпа.

ВТОРОЙ ГРАЖДАНИНЪ.

Да, это благородные дворяне,
Дворянскіе сынки, монополисты,
Владѣтели различныхъ привилегій,
Дворецкіе убогой этой фермы,
Гдѣ вороны пророчески сидятъ
На овцахъ отощалыхъ. Это пышность,
Которой нищій сирота ограбленъ,
И это гордость, что крушитъ сердца,
Которымъ нѣтъ пріюта. Это слава
Тѣхъ лилій, что славнѣе Соломона,
Не трудятся они, и не прядутъ,
Ужь развѣ сѣть соткутъ, куда уловятъ
Злосчастныхъ бѣдняковъ. Здѣсь пресыщенье,
Которое изъ всей земной добычи
Тѣмъ, кто добылъ ее, лишь оставляетъ
Убожество такой ничтожной доли,
Что можно имъ лишь поддержать себя
И вновь ползти на грудь земли холодной.
Избытокъ здѣсь здоровья, за которымъ
Недугъ идетъ; блескъ, и за блескомъ срамъ;
Роскошество, съ хромою голодовкой;
Богатство, съ грязно-скудною нуждой;
Грѣхъ Англіи, и Англійская кара.
И вотъ, глядите, такъ, какъ за причиной,
Впередъ ушедшей, дѣйствіе идетъ,
Теперь предъ нами символъ, означенье,
И символомъ означенная вещь:
Толпа увѣчныхъ, нищихъ попрошаекъ,
Изсохшіе отверженцы, на клячахъ,
Везущіе навозъ въ телѣгахъ жалкихъ,
Изъ шалашей ихъ выташили на день,
Изъ норъ гнилыхъ, и изъ подваловъ душныхъ,
Чтобъ въ представленьи подчеркнуть мораль,
И оттѣнить раскрашенную пышность,
На арьергардъ поставивъ нищету.

ЮНОША.

Но это лишь контрастъ въ весельи масокъ,
И служитъ онъ для представленья такъ же,
Какъ въ музыкѣ нѣжнѣйшей разногласье.
Кто полюбилъ бы Майскіе цвѣты,
Когда бъ не за Зимой они являлись;
Иль день, когда бъ онъ ночью не смѣнялся;
Иль даже радость безъ тѣней печали?

ВТОРОЙ ГРАЖДАНИНЪ.

И я, и ты—

ЦЕРЕМОНІЙМЕЙСТЕРЪ.

Дорогу! мѣсто, мѣсто!

## СЦЕНА ВТОРАЯ.

**Залъ въ Уайтголлѣ. Входятъ Король, Королева, Лоодъ, Лордъ Страффордъ, Лордъ Коттингтонъ, и другіе Лорды; Арчи; а также Сентъ-Джонъ съ нѣсколькими Джентльмэнами изъ Училища Правовѣдѣнія.**

КОРОЛЬ.

Благодарю васъ, джентльмэны. Я
Сердечно принимаю знаки службы:
Разыгранъ былъ прекрасно маскарадъ.
И это добрый знакъ, когда сливаетъ
Въ одно—вниманье подданныхъ—шипы
Короны нашей Англіи съ такими
Забавами. Незлобивое сердце
Коль радость доставляетъ, въ немъ свѣтло,
А если доставляетъ огорченье,
Въ немъ сумракъ огорченія, хотя бы
Къ удару побуждала Справедливость.
Итакъ сердечно васъ благодарю.

КОРОЛЕВА.

Я, джентльмэны, васъ прошу, считайте,
Что королева ваша вамъ должна.
Причудливое зрѣлище, что здѣсь вы
Устроили, напомнило мнѣ годы
Минувшіе, и тихій путь меня

Къ младенчеству увлекъ, гдѣ все нѣжнѣе,
Красивѣе, и ближе къ колыбели.
Я проливать была готова слезы,
При мысли, что въ Парижѣ я была,
Гдѣ зрѣлища такія столь искусны,—
Была въ тѣ дни, когда я сердцемъ юнымъ
Еще свою не восприняла долю
Той тяжести, которая въ вѣнцѣ
Властителя монархіи великой.
Тамъ, джентльмэны, межь восторгомъ царскимъ
И тѣмъ, что эту радость составляетъ,
Нѣтъ гордаго вмѣшательства, нѣтъ криковъ.
Безпутные хулители въ Парижѣ
Не смѣютъ на безгрѣшныя забавы
Ядъ устремлять отравнымъ языкомъ;
И тѣхъ *его* улыбка согрѣваетъ,
Кто ищетъ въ ней лучей, какъ было бъ здѣсь,
Когда бъ... Сердечно васъ благодарю я;
Признательность мою соедините
Съ словами, что сказалъ супругъ-король мой,
Который, будь Французскій онъ король,
Въ златыя обратилъ бы ихъ дѣянья.

СЕНТЪ-ДЖОНЪ.

Мадамъ, любовь свободныхъ Англичанъ,
Когда благоволитъ король законный,
Способна перевѣсить эту милость,
Ту милость можетъ сдѣлать полновѣснѣй,
Чѣмъ то, въ чемъ милость деспота.—Смиренно
Уходимъ мы, обогатясь улыбкой,
Какой не можетъ Франція купить.

*(Сентъ-Джонъ и Джентльмэны изъ Училища Правовѣдѣнія уходятъ.)*

КОРОЛЬ.

Замѣтили ль вы, Лордъ Архіепископъ,
Какой огонь горитъ въ глазахъ Сентъ-Джона?
Мнѣ кажется, онъ передъ нами наглъ.

Да, прошу Вашу Милость, обратить вниманіе: ибо, подобно тому какъ глазъ, неиспорченный софистикой, видитъ все вверхъ ногами, вы, столь мудрый, разсмотрите тѣнь идіота съ рукавами законника и въ пэрской мантіи, ставящаго силки для ловли куликовъ въ сѣнокосную пору. Бѣдный Арчи, совиные глаза котораго приложены къ заблужденію его вѣка, и вслѣдствіе того, что онъ дуракъ, а также по особому повелѣнію Господа, всегда возбраняющему ему видѣть себя такимъ, каковъ онъ есть, бѣдный Арчи видитъ теперь въ этомъ глубокомъ глазѣ дьявола съ завязанными глазами, сидящаго на глазномъ яблокѣ, и взвѣшивающаго слова между королемъ и подданными. Одна чаша полна обѣщаніями, а другая полна торжественными засвидѣтельствованіями: и вотъ другой дьяволъ выползаетъ изъ-за перваго изъ темныхъ закоулковъ чреватаго мозга законника, и снимаетъ повязку съ глазъ перваго дьявола, и бросаетъ мечъ на лѣвую чашу, и совсѣмъ таки похожъ онъ на нынѣ здѣсь присутствующаго господина моего, Лорда Эссекса.

СТРАФФОРДЪ.

Просоленой бы розгой по спинѣ Дурака!

АРЧИ.

Да, а кое-кто теперь смѣется, чьи слезы образуютъ море; потому что дуракъ видитъ—

СТРАФФОРДЪ.

Наглецъ! За это кафтанъ твой задерутъ и отстегаютъ тебя за стѣнами дворца.

АРЧИ.

Поелику стегаютъ всѣхъ дураковъ, и всѣхъ Протестантскихъ писателей, между тѣмъ какъ мошенники всегда стегаютъ дураковъ съ тѣхъ поръ, какъ вора приставили ловить вора. Кабы всѣхъ перебѣжчиковъ, задирающихъ свои кафтаны, стегали за стѣнами дворцовъ, бѣдный Арчи претерпѣлъ бы свое поношеніе въ доброй компаніи. Пусть мошенники стегаютъ дураковъ, и всѣ дураки смѣются на это. Пусть мудрые и добрые раскраиваютъ другъ другу носы и уши (для этого ремесла имъ особой проницательности не

требуется): а мошенники пусть сопровождаютъ ихъ въ стройной процессіи въ Бэдламъ, чтобы убѣдить полоумныхъ оставить свои возвышенныя Платоническія созерцанія и заняться государственными дѣлами Англіи. Пусть всѣ честные люди, которые валяются по тюрьмамъ или стоятъ у позорныхъ столбовъ, подъ наблюденіемъ герольдовъ Верховнаго Суда, сопровождаютъ ихъ.

*(Входитъ Секретарь Литтельтонъ, съ бумагами)*

КОРОЛЬ *(пробѣгая бумаги).*

Что до Шотландцевъ этихъ, столь упрямыхъ,
Ихъ подъ ярмо Церковное пускай
Кентерберійскій подведетъ Владыка.—
Въ Ирландіи, Уэнтуорсъ, вы будьте
Какъ будто бы я самъ; своимъ умомъ,
И кротостью, и силою своею
Сумѣете дополнить вы все то,
Въ чемъ мнѣ недостаетъ. Милордъ Уэстонъ,
Вниманье обратите, чтобъ купцы
Изъ Тоуэра слитки золотые
Не взяли безъ потери; при уплатѣ
Налога корабельнаго смотрите,
Чтобъ удовлетворенье получить намъ,
За то, что наши царскіе лѣса
Посягновенье знали: тамъ опушки
Коттэджами покрыты и полями.
Сполна взыщите все, послѣдній фарсзингъ,
Съ тѣхъ, кто желаетъ получить изъятье
Отъ рыцарства: то, что наградой было,
Пусть будетъ наказаніемъ теперь,
Чтобъ подданные знали, какъ умѣетъ
Величество упорныхъ подчинить.
Лордъ Ковентри, приказъ мой передайте
Палатѣ Нижней, чтобы на поруки
Не выпускали узниковъ отнынѣ,
Ручательство беря отъ Звѣздной Залы.
Въ упрямости Парламента народъ
Не обрѣтетъ дешевый легкій способъ
Вести борьбу съ владыкою законнымъ:

Лордъ Ковентри, не сомнѣвайтесь въ томъ,
Для кары достодолжной будетъ время.
Милордъ Кентерберійскій—

АРЧИ.

Здѣсь дуракъ!

ЛООДЪ.

У вашего Величества прошу я,
Чтобъ былъ наказанъ этотъ наглый шутъ:
Надъ должностью священной онъ смѣется,
Надъ государствомъ—

КОРОЛЬ.

Какъ, мой добрый Арчи?
Онъ только передразниваетъ то,
Что видитъ онъ и слышитъ, допуская
Невинную причудливую вольность.
Не требуйте, прошу, того за это,
Что Принни пожелалъ бы, если бъ онъ
Былъ въ Англіи примасомъ. Ваша милость
Признать да соизволитъ, что живетъ онъ
Въ своемъ особомъ мірѣ; онъ похожъ
На попугая въ клѣткѣ золоченой,
Висящей надъ дорогою публичной,
Въ окнѣ, въ одной изъ комнатъ королевы.
Вотъ онъ и богохульствуетъ, какъ птица:
Его слова, какъ стрѣлы, что не знаютъ
Внѣ разума стрѣлка искомой цѣли,
Порой пронзаютъ то, что ускользаетъ
Отъ мудрости.—

*(Къ Арчи)*

Ну, плутъ, ступай, раскайся,
Минутъ десятокъ на дождѣ побудь,
И въ видѣ покаянья разузнай намъ,
Что новаго тамъ въ мірѣ.

*(Арчи уходитъ)*

Бѣдный Арчи,

Онъ вкругъ себя сплетаетъ міръ забавы,
Что внѣ крушеній тѣхъ міровъ, гдѣ мы.

ЛОДЪ.

Насмѣшки, что дозволены верховно,
Пріемлю я, какъ сдѣлалъ мой Учитель.

КОРОЛЬ.

Милордъ, прошу васъ, просмотрите эти
Бумаги. Если крылья есть въ словахъ
У Арчи, здѣсь увидите вы когти.

КОРОЛЕВА.

А льва съ когтями должно усмирять.
Я вижу, дорогой мой повелитель,
Въ твоихъ глазахъ свѣтъ мужества, онъ новый
И хочетъ онъ духъ времени убить,
Которымъ уязвленъ до изступленья
Многоголовый звѣрь. Упорствуй въ этомъ:
Чуть только ты въ рѣшимости ослабнешь,—
И для тебя остаться было бъ лучше
Рабомъ твоихъ же собственныхъ рабовъ,
Которые, подобные дворнягамъ,
Бѣгутъ за бѣглецомъ, и убѣгаютъ,
Разъ кто-нибудь погонится за ними;
Удобный Случай—точно волкъ голодный,
Кто упадетъ, того за горло—хвать.
Лишь съ замысломъ своимъ, ему въ угоду,
Всѣ дѣйствія свои соразмѣряй,
Будь закаленъ какъ сталь, что съ устьевъ Эбро:
И Милосердье съ слабыми глазами
Прочь къ слабымъ прогони, оно оттуда
Даръ мира принесетъ тебѣ—не будетъ
Являться съ поцѣлуемъ вѣроломнымъ,
Пока оно съ мятежниками вмѣстѣ,
Готовыми считать, что Милость—Страхъ.
Да, сдѣлай такъ, иначе мы сорвемся
Какъ въ свѣтломъ снѣ съ лучистаго утеса,

И какъ изъ сна пробудимся отъ блеска
Почета нашей власти.

КОРОЛЬ.

Милый другъ,
Свидѣтель Богъ мнѣ: бремя этой власти,
Что онъ моей земной содѣлалъ долей,
Законъ Его велѣвъ мнѣ соблюдать,
Лишь потому—и радость мнѣ и гордость,
Что любишь ты меня и эту власть.
Король несетъ здѣсь въ мірѣ службу Бога,
И Богу одному отдать онъ можетъ
Довѣренность свою, когда онъ будетъ
Лишенъ ея законныхъ аттрибутовъ.
Какъ кажется, всѣ низкія стихіи,
Вставъ мятежомъ на солнце золотое,
Сіяніе его хотятъ убить,
Что блескомъ ихъ въ гармонію сливаетъ,
Въ нихъ умѣряя саморазрушенье;
Безумный милліонъ существъ желаетъ
Тотъ глазъ разбить, что путеводнымъ былъ:
Такъ въ тѣлѣ прихотливыя влеченья,
Чуть занеможешь, въ заговоръ вступаютъ
На духа жизни, чей дворецъ есть сердце,—
И дѣлаются жертвою другъ друга,
Чтобъ жертвой смерти стать въ концѣ концовъ.

СТРАФФОРДЪ.

Что въ подданномъ одно лишь честолюбье,
То долгъ въ лицѣ властителя; на немъ
Покоится, какъ бы на камнѣ сводномъ,
Все зданье жизни,—лишь тогда оно
И крѣпко, если въ камнѣ этомъ—крѣпость.
И форма, степень,—все, что жизнь людскую,
Жизнь человѣка, полную разсудка,
Достоинствомъ сильнѣйшимъ отмѣчаетъ,
Чѣмъ жизнь звѣрей,—зависитъ отъ того,
Что Право защищается упорно

Неколебимой силой; въ этомъ смыслѣ
Чтобъ государство Англіи могло
Отъ узурпацій общинъ оградиться,
Реформъ, скорѣй реформъ намъ нужно дать.
Лелѣй измѣну, береги казну.
Кто громокъ, дай ему монетой плату;
Межь партіями поддержи ревнивость,
Не примыкая ни къ единой самъ;
У многихъ занимай,—тотъ, кто ссужаетъ,
Пока ты не уплатишь, будетъ твой;
Такъ духъ свирѣпый часа будетъ сдержанъ,
Покуда время, сонмы поколѣній
Ночей и дней, которые родятся,
Не принесутъ съ собой удобный случай,
. . . . . .
Война, Чума, или сама Природа,
Какимъ-нибудь великимъ безпорядкомъ
Иль знаменьемъ ужаснымъ, между ними
Да встанетъ ихъ единственнымъ судьей.
И пусть Его Величество не будетъ
Въ опасности незримаго событья
Безплодно сомнѣваться. Какъ, скажите,
Собратья ваши, короли земные,
Наслѣдники въ высокомъ интересѣ,
Въ вопросѣ подчиненія земли,
Достигли послѣ столькихъ возмущеній
До высоты своей высокой власти,
Гдѣ, возсѣдая, съ ясностью ужасной
Они смѣются надъ дрожащимъ міромъ?
Народные такіе ураганы,
Какъ напримѣръ Филиппъ Второй, или
Людовикъ Французскій, иль властитель новый,
Германскій вождь, глава столь многихъ тѣлъ,
Или любой господчикъ Итальянскій,
Смиряли—ухищреньемъ иль оружьемъ.
Что-жь. Англія бѣднѣе, иль слабѣе?
Иль, правя, ты ручнѣе, чѣмъ они?
Иль явитъ этотъ островъ, окруженный

Своею влагой неприкосновенной,
Для міра нашихъ дней и дней грядущихъ,
Монархіи угасшей образецъ?
Нѣтъ,—если ты поступишь, какъ хотѣлъ бы
Я видѣть поступающимъ тебя.

КОРОЛЬ.

Твои слова моимъ предстанутъ дѣломъ:
Въ нихъ яркій образъ помысловъ моихъ.
Мой другъ, (разъ короли друзей имѣютъ,
Тебѣ такое я даю названье),
Сверхъ тѣхъ весьма широкихъ полномочій,
Что нынѣ за печатью государства
Ты получилъ, возьми еще и это:
И по причинамъ нѣкоторымъ явнымъ,
Печати пусть иной на немъ не будетъ,
За исключеньемъ слова короля,
И слова джентльмэна предъ тобою.
Будь—какъ ты есть въ умѣ моемъ и сердцѣ—
Въ Ирландіи и здѣсь—какъ я другой:
Все совершай, что ты почтешь за благо,
Безъ колебаній дѣйствуй, безъ стѣсненій,
Сомнительнаго даже не чуждайся,
Пойми меня, Уэнтуорсъ, вполнѣ:
Моя порука—есть оплотъ упорный
Между тобою и враждебнымъ міромъ,
Которому за то ты ненавистенъ,
Что любишь ты меня.

СТРАФФОРДЪ.

Одинъ лишь другъ
Ты у меня, враги мои—твои:
Все, что помыслишь, мой законъ навѣки.
Какъ коротка, слаба, ничтожна жизнь,
Чтобъ заплатить—

КОРОЛЬ.

Молчи, молчи, ты мнѣ
Не долженъ ничего еще!

*(Къ Лооду)*

Милордъ,

Что говорятъ бумаги?

лоодъ.

Государь,
Къ своей странѣ родимой благосклонны,
Посредникомъ вы были постоянно
Межь тяжкимъ мщеньемъ Церкви и виною
Шотландіи. Замѣтьте результаты
Отогрѣванья на груди своей
Змѣй Сѣвера. Толпа негодной черни,
Конечно, наученная Лудономъ,
Линсэемъ, Юмомъ, и лжецомъ Арджиллемъ,
(Тогда лишь угрожаютъ волны небу,
Когда ихъ хлещетъ тираннія вѣтра
Незримая), въ Господнемъ самомъ храмѣ
На избранныхъ слугъ Бога посягнула.
Надъ литургіей Церкви издѣваясь,
Они уставъ ея не соблюдаютъ,
Апостольскую отрицаютъ власть,
Которою наполнилъ Духъ Святой
Рядъ избранныхъ сосудовъ, начиная
Съ того, кто получилъ ключи и власть
Связать и развязать, вплоть до того,
Кто нынѣ съ Королемъ ведетъ бесѣду.—
Прошу васъ, дайте больше полномочій
И новыя распоряженья тѣмъ,
Кто вами былъ въ Шотландіи поставленъ.
Къ тюрьмѣ, и къ конфискаціи, и къ казни
Прибавьте пытку, раззоренье близкихъ,
Съ преступникомъ карайте всѣхъ родныхъ,
Прибавьте заклейменіе безславья,
Прибавьте изуродованье имъ:
Разъ этого имъ будетъ недовольно,
Огнемъ ихъ покарайте и мечомъ,
Пусть лижутъ накипь своего раскола.
Надъ слабыми бунтовщиками я
Смѣюсь: они того, чѣмъ мы владѣемъ,

Хотѣли бы, и говорятъ еще
О мирѣ Христіанскомъ, точно эти
Ужасные посланники и судьи,
Что вмѣсто Бога межь добромъ и зломъ
Являются рѣшающею силой,
Низринутся на безгрѣховный сонъ
Смѣющихся полей и людныхъ храмовъ,
Руководясь ничтожнымъ аргументомъ
Политики, касающейся нашей
Тщеславности и гордости, тогда какъ
То было бъ Христіанскимъ милосердьемъ
Ударившему по щекѣ подставить
Другую щеку: и когда нашъ Богъ,
Когда великій вѣчный Искупитель,
Что далъ себя, и взялъ, и удержалъ
Во искупленье нашихъ прегрѣшеній,
Когда онъ презирается въ лицѣ
Служителей своихъ наиближайшихъ,
Подъ рискомъ нескончаемой потери
Всей истины и самообузданья,
Людей несчетныхъ, крайнихъ поколѣній,
Они о мирѣ смѣютъ говорить!
Пускай теперь Шотландія увидитъ
Тотъ миръ, который встрѣтилъ Ханаанъ:
Да, именемъ Христа, который съ Неба
Не миръ, а мечъ принесъ на эту землю,
И приказалъ ученикамъ своимъ
Въ день Пасхи, чтобы каждый продалъ платье
И мечъ себѣ купилъ,—раскрой однажды
Гнѣвъ кары въ полновластной наготѣ,
И въ мирѣ никогда онъ не задремлетъ,
Пока, сломясь, Шотландія не будетъ
Подчинена.

КОРОЛЬ.

Милордъ Архіепископъ,
Все дѣлай, что ты хочешь, что ты можешь;
Земной, какъ и небесный твой Король,

Даетъ тебѣ въ своемъ мятежномъ царствѣ
Власть полную. Но денегъ нѣтъ у насъ,
И умъ мой въ опасеньи предвѣщаетъ,
Что мы не подготовлены къ такому
Большому предпріятью.

СТРАФФОРДЪ.

Но оно
Не можетъ медлить долго въ нашихъ воляхъ.

КОТТИНГТОНЪ.

Издержки по сбиранію налога
На корабли, расходы исторганья
Ничтожной каждой доли (потому что
Отчаянное мы сопротивленье
Встрѣчаемъ всюду, въ каждомъ магазинѣ,
На каждой фермѣ), поглотили суммы
Огромныя налоговъ; и страна
Воспринимаетъ ихъ какъ бичъ ужасный,
А какъ доходъ для насъ они ничтожны.

СТРАФФОРДЪ.

Вполнѣ ариѳметическій разсчетъ:
И можетъ быть изъ этого вашъ выводъ,
Что слѣдуетъ парламентъ намъ созвать.
Ну, если человѣкъ созвать желаетъ
Своихъ враговъ заклятыхъ, давъ имъ власть
Надъ жизнію его вершать рѣшенья,
Поступитъ Государь вполнѣ разумно,
Теперь избравши этотъ способъ дѣйствій.

*(Въ сторону, къ Коттингтону)*

Довольно ожидать отъ этихъ тощихъ
Налоговъ, чтобъ они бичомъ являлись,
Безъ выгоды какой-либо другой.

*(Вслухъ)*

Путемъ захватовъ, пеней, и займовъ
Насильственныхъ у городовъ мятежныхъ,
Мы сундуки наполнимъ: золотая
Любовь тѣхъ джентельмэновъ, что лойяльны,

Расположенье благородныхъ всѣхъ
Ко чтимому отцу отчизны общей,
Съ католиковъ обильные поборы,
Все это дастъ возможность намъ заставить
Мятежъ безстыдноликій поблѣднѣть.
Вотъ средства, до тѣхъ поръ, покуда мудрость
И время власть вполнѣ не установятъ.

ЛООДЪ.

И средства очень слабыя! Ужели
Мы все не исчерпали, все, въ чемъ намъ
Рудникъ неистощимый представлялся?

СТРАФФОРДЪ.

Но и любовь—рудникъ, разъ въ сердцѣ вѣрномъ
Кровь въ золото преображаться можетъ.

ЛООДЪ.

Становятся теперь безплодны оба:
Я говорю не какъ какой-нибудь,
Къ парламентамъ исполненный любовью:
Когда они орудіемъ служили
Дурнымъ могучимъ смѣлымъ королямъ,
Бичами Церкви, истекавшей кровью,
Они являлись; я ихъ ненавижу.
Я думаю, не стоитъ ихъ бояться.

СТРАФФОРДЪ.

Возьми, мой повелитель дорогой,
Все то благополучіе, что далъ ты,
Возьми все то, чѣмъ только по наслѣдству
Я обладаю, какъ добромъ твоимъ:
Оставь, прошу, мнѣ только это тѣло,
Безъ помощи чего-либо, чтобъ я
Служилъ тебѣ, и умъ, гдѣ нѣтъ заботы
Иной, какъ о твоемъ благополучьи:—
Но лишь парламентъ ты не созывай.
Подобно мнѣ, другихъ возникнутъ сотни,

Что состоянье принесутъ свое,
Какъ кровь свою охотно принесли бы,
Скорѣй чѣмъ—

КОРОЛЬ.

Нѣтъ, ты говоришь за нихъ,
Но ты одинъ. Увы, мы слишкомъ сильно бъ
Отъ Неба удалились, если бъ только
Презрѣнный этотъ міръ явилъ намъ много
Такихъ, какъ ты, о справедливый, честный
И чтимый, совершенный человѣкъ.
Нѣтъ, никогда не скажутъ, будто Карлъ
Англійскій обобралъ—кого любилъ онъ,
Изъ страха тѣхъ, кого онъ презиралъ,
И онъ свой тронъ не осквернитъ настолько,
Что обѣднитъ всѣхъ тѣхъ, кто долженъ быть
Защитою и украшеньемъ трона.
Нѣтъ, милый Страффордъ. то, къ чему меня
Склоняешь ты, скорѣе заставляетъ
Меня—

КОРОЛЕВА.

Созвать парламентъ? такова-то
Твоя рѣшимость? согласишься ты
Быть во главѣ шипящей этой шайки,
Нахальные ихъ слушать пересуды,
Отъ замысловъ достойныхъ отрекаться,
И выбирать все худшее, когда
Все худшее приходитъ слишкомъ скоро?
Не кличь бѣды, пока бѣдѣ не время.
О, что же, улыбаться будешь ты,
Когда враги, безстыдно облачившись
Въ величье власти, отнятой у насъ,
Начнутъ надъ доброй славой Генріетты
Острить языкъ свой? Нѣтъ, о, нѣтъ, довольно!
Меня совсѣмъ ты болѣе не любишь!

*(Плачетъ)*

КОРОЛЬ.

О Генріетта!

(*Они говорятъ въ сторонѣ*)

КОТТИНГТОНЪ (*къ Лоуду*)

Денегъ нѣтъ у насъ:
Всего того, что предложилъ намъ Страффордъ,
Хватить едва ли можетъ, чтобъ покрыть
Хоть недоимки.

ЛОУДЪ.

Къ сѣверу немедля
Отправить нужно войско; вмѣстѣ съ нимъ—
Служителей Церковныхъ съ полномочьемъ
Гасить въ огнѣ, и въ крови, и въ слезахъ,
И въ ужасѣ, и въ жалостности ада
Тотъ пылъ, съ какимъ встаетъ свирѣпо Ересь.
Богъ дастъ побѣду; и когда побѣда
Шотландію скрутитъ, въ рукахъ у насъ—
Левъ Англіи. Отсюда власть намъ будетъ,
А власть приноситъ деньги.

КОТТИНГТОНЪ.

Но покуда
Начать намъ нужно тѣмъ, чѣмъ Ваша Милость
Окончила. Намъ деньги власть дадутъ,
Или же—

ЛОУДЪ.

Я не прочь созвать парламентъ.
Смиреньемъ словъ и смѣлостію дѣйствій
Повиноваться мы научимъ ихъ.
И что̀ они, какъ не пузырь, который
Явился къ жизни изо рта монарха,
Рожденіе дыханья одного?
Когда для насъ они не нужны будутъ,
Единымъ словомъ мы распустимъ ихъ.

СТРАФФОРДЪ.

Вліяніе парламентовъ могли бы
Мы отложить, пока я не придвину
Ирландскіе полки: они послужатъ
На то, чтобъ обезпечить намъ исходъ
Войны съ Шотландцами. Разъ только эта
Добыча будетъ выиграна,—если
Потеря здѣсь, мы потеряли все,—
Сбирайте этихъ главарей крамолы,
Зовите ихъ парламентомъ тогда.

КОРОЛЬ.

О, пусть еще нога помедлитъ наша,
Предъ тѣмъ какъ кровь пролить, хотя бъ она
Была преступной! Я сберечь хотѣлъ бы
Упрямую страну, гдѣ былъ рожденъ,
Отъ гнѣвной длани Церкви раздраженной.

(*Къ Лоуду*)

Вы просмотрѣли и другіе пункты?

(*Входитъ Арчи*)

ЛОУДЪ.

Хэзлеригъ, Хэмпденъ, Пимъ, и младшій Вэнъ,
Кромвелль, а съ ними также и другіе
Мятежники, что менѣе замѣтны,
Хотятъ отплыть съ попутнымъ первымъ вѣтромъ
Къ Колоніямъ.

АРЧИ.

Гдѣ оснуютъ они
Иное государство, какъ Гонзало
Въ извѣстной пьесѣ: тамъ у нихъ все будетъ
Женотрапезно, пантисократично.

КОРОЛЬ.

Что, плутъ?

АРЧИ.

Затѣя дьявола, изъ новыхъ.
Адъ—истый образецъ всѣхъ общежитій:

Былъ Люциферъ республиканцемъ первымъ.
Хотите знать пророчество Мерлина,
Какъ три поэта странствіе свершатъ,
«Въ безмозгломъ черепѣ, когда въ цвѣту сполна
Шиповникъ свѣтится, вкругъ міра пронесутся:
Въ безмозгломъ черепѣ слетаютъ и вернутся,
Когда засвѣтится вся полная луна»:—
Когда они, на Церковь не взирая,
Всѣ проповѣди слушать пожелаютъ,
Вниманія отнюдь не обращая
На форму ихъ, а также на длину.

КОТТИНГТОНЪ.

Величество Его да пожелаетъ
Приказъ объ ихъ арестѣ подписать.

АРЧИ.

Если бъ вы, Ваше Величество, были терзаемы днемъ и ночью
:орадкой, подагрой, ревматизмомъ, и каменной болѣзнью, и астмой,
:. под., и вы узнали бы, что эти недуги вошли въ тайный загово-
ъ, условившись оставить васъ, сочли ли бы вы необходимымъ
южить на суда запрещеніе выходить именно изъ той гавани,
ѣзъ которую они вознамѣрились обезлюдить ваше безпокойное
овѣческое королевство?

КОРОЛЬ.

Когда бы страхъ для королей былъ сдѣланъ,
Насмѣшка Дурака была бы мудрой:
Теперь же —

*(Подписывая)*

Вотъ, милорды, получите
Довѣренность: чтобы она была
Исполнена въ порядкѣ достодолжномъ.—
Наказанъ будетъ хитрый бѣсъ насмѣшки!

*(Уходятъ всѣ, кромѣ Короля, Королевы, и Арчи)*

АРЧИ.

Вотъ, я тотъ самый врачъ, о которомъ пророчествовалъ Пла-
нъ, что былъ обвиненъ кондитеромъ передъ судомъ, состоявшимъ

изъ дѣтей, нашедшихъ его виновнымъ, не дожидаясь заключительнаго слова, и повѣсившихъ его помимо права духовенства на помилованіе. Такимъ образомъ Младенецъ Карлъ, и Крещенская Царица Сердецъ, и слишкомъ возросшій школьникъ Коттингтонъ, и этотъ мальчишка-молокососъ Лоодъ, — которые пожелали бы привести черезъ посредство голода въ исполненіе приговоръ «виновенъ. присуждается къ смертной казни», если бъ приговоръ этотъ былъ непріемлемъ по своей формѣ,—всѣ вписались въ списокъ присяжныхъ, противъ бѣднаго Арчи за то, что онъ далъ имъ горькое лѣкарство въ послѣдній день праздниковъ.

КОРОЛЕВА.

Что, дождь прошелъ, плутишка?

КОРОЛЬ.

Если дождь
Идетъ и солнце свѣтитъ, это значитъ,
Что завтра снова будетъ дождь идти,
А потому не нужно улыбаться,
Пока совсѣмъ не кончили вы плакать.

АРЧИ.

Но теперь все прошло: какъ Апрѣльскій гнѣвъ женщины, нѣжное небо выплакалось до ясности.

КОРОЛЕВА.

Что новаго? что въ мірѣ этимъ утромъ?

АРЧИ.

Міръ блистателенъ, какъ могила, покрытая дѣвственными цвѣтами. Въ небѣ радуга. Обратите, Ваше Величество, на это вниманіе. потому что

«Радуга въ утренній часъ—
Пастуха извѣщающій—гласъ»;

и стада, кои вы пасете, разбрелись по горнымъ вершинамъ. гдѣ каждая капля воды есть хлопокъ снѣга, и дыханіе Мая пронизываетъ, какъ Январскій вихрь.

КОРОЛЬ.

Эхъ, бѣдняга, овцы приняли волка за своего пастуха: и пастухъ принялъ волковъ за ихъ сторожевыхъ псовъ.

КОРОЛЕВА.

Но радуга была добрымъ знаменіемъ, Арчи: она говоритъ, что воды потопа отошли, и больше не могутъ возвратиться.

АРЧИ.

Вѣрно, но это только касательно соленой воды; что до воды слезъ и крови, она еще будетъ идти дождемъ, а затѣмъ пойдетъ дождь изъ огня, если только въ обманахъ есть какая-нибудь правда. — Радуга повисла надъ городомъ, со всѣми его лавками и церквами, отъ сѣвера до юга, какъ мостъ изъ сплошной молніи, сплоченный каменщиками неба—какъ вѣсы, на которыхъ ангелъ, что раздаетъ грядущій часъ, взвѣсилъ этотъ тяжелый, чья тяжесть нынѣ чувствуется самыми легкими сердцами, прежде чѣмъ онъ согнетъ самыя гордыя головы подъ самыми низкими ногами.

КОРОЛЕВА.

Кто научилъ тебя этой чепухѣ, плутъ?

АРЧИ.

Листъ, вырванный изъ старой книги, затоптанный въ грязи. Но вернемся къ радугѣ. Она двигалась, по мѣрѣ того какъ двигалось солнце... пока не остановилась... и лѣвая верхушка Тоуэра покрылась облакомъ, а Дворецъ Ламбесъ потемнѣлъ, какъ скала, передъ другимъ облакомъ. Мнѣ показалось, что на одной верхушкѣ я увидалъ изображеніе короны, а на другой увидѣлъ митру. И вотъ, такъ какъ я слыхалъ, что тамъ, гдѣ радуга притупитъ свои концы на землѣ, находится кладъ, я отправился, и въ Тоуэрѣ... Но я не скажу Вашему Величеству, что̀ я нашелъ около самаго закрытаго окна, на которомъ сверкала радуга.

КОРОЛЬ.

Говори: я сдѣлаю моего Дурака моей совѣстью.

АРЧИ.

Тогда совѣсть такъ глупа, что и быть ей дурой. Я увидалъ, что кошка попалась въ крысоловку. Я слышалъ, какъ крысы пищали за стѣнной обивкой: казалось мнѣ даже, что и мыши вели совѣщанье о томъ, какой предать ее смерти.

КОРОЛЕВА.

Арчи брюзгливъ и золъ на языкъ.

АРЧИ.

По погодѣ смотря.—Но на другомъ концѣ радуги, гдѣ сѣрый дождь былъ умягченъ вдоль травы и листвы нѣжнымъ смѣшеніемъ фіолетоваго и золотого цвѣта на лугахъ за Ламбесзомъ,—какъ вы думаете, что я нашелъ тамъ вмѣсто митры?

КОРОЛЬ.

Быть можетъ, здравый смыслъ Вэна.

АРЧИ.

Нѣчто такое же вѣтреное и тщетное. Я увидѣлъ тяжелый паръ, онъ висѣлъ въ вонючей ямѣ надъ трупомъ околѣвшаго осла, и нѣсколько рваныхъ лохмотьевъ, и нѣсколько разбитыхъ тарелокъ—остатки того, что было нѣкогда приготовлено, чтобъ начинить и разукрасить червя червей. Его Милость Кентерберійская надѣется въ какое-нибудь вербное воскресенье торжественно вступить въ Новый Іерусалимъ на призракѣ этого осла.

КОРОЛЕВА.

Ну, будетъ, будетъ. Къ Лэди Джэнъ поди,
Скажи ей, чтобы лютню принесла мнѣ
Въ мой будуаръ, и положила ноты,
Которыя въ послѣднюю недѣлю
Пришли къ намъ изъ Италіи, а также—

*(Арчи уходитъ)*

КОРОЛЬ.

Я самъ туда схожу.

КОРОЛЕВА.

Супругъ мой милый,
Замѣтили ли вы, что нашъ Дуракъ
Недавно потерялъ свою веселость
Обычную, и что его слова
Звучатъ, какъ откликъ нашихъ грустныхъ страховъ?
Что это означаетъ? Не хотѣла бъ
Я думать, что его настроилъ такъ
Мятежный рабъ какой-нибудь.

КОРОЛЬ.

О, нѣтъ!
Онъ наученъ лишь Случаемъ. Отчасти
Мы сами, нашимъ собственнымъ умомъ,
Въ пробѣлы дикихъ словъ его влагаемъ
Соображенья наши,—какъ порою
Мечтатели, бездѣльничая, видятъ
Въ цвѣтныхъ узорахъ лѣтнихъ облаковъ,
Или въ угляхъ зимою, тѣ видѣнья,
Которыя въ ихъ мысляхъ рождены;
А частью страхи времени повсюду
Посѣяны въ умахъ Молвой бродячей;
И въ самомъ легкомъ, въ наименьшемъ можно
Всего скорѣе увидать теченье
Вѣтровъ грядущихъ.

КОРОЛЕВА.

Умъ вашъ отягченъ
Такими размышленьями. Идемте,
Я вамъ спою; испробуемъ теперь
Напѣвы Итальянскіе; а также,
По галлереѣ проходя, рѣшимъ,
Куда бы намъ Корреджіо повѣсить—
Ту Дѣву-Мать съ ребенкомъ, что родился
Царемъ земли и неба, возвѣщая
Спасенье людямъ царствіемъ своимъ.
Увидите вы въ ликѣ колыбельномъ
Себя уснувшимъ въ нѣжной миньятюрѣ,

Свѣтло запечатлѣвшимся на сердцѣ
Любви, что безошибочна всегда;
Не достигалъ Ванъ-Дейкъ такого сходства,
То ликъ тебя, что въ будущемъ возникнетъ,
Я плакала отъ радости не разъ
Надъ этою воздушной красотою,
Сегодня плакать стала бъ отъ печали,
Когда бъ не мысль, что послѣ нашей смерти
Соединятся судьбы наши въ немъ,
И что заботы наши о коронѣ,
Такой тяжелой, сдѣлаютъ ее
Блестящею и легкой, какъ гирлянда
Лучей небесныхъ для чела его
Невиннаго.

КОРОЛЬ.

О Генріетта, радость!

## СЦЕНА ТРЕТЬЯ.

**Звѣздная Зала. Лоодъ, Джэксонъ, Страффордъ, и другіе, какъ Судьи. Принни какъ узникъ, и потомъ Баствикъ.**

ЛООДЪ.

Пусть здѣсь предстанетъ узникъ Баствикъ. Кляркъ,
Прочтите приговоръ его.

КЛЭРКЪ.

«Онъ платитъ
Пять тысячъ фунтовъ королю, затѣмъ онъ
Теряетъ оба уха, и клеймится
Желѣзомъ раскаленнымъ въ лобъ и въ щеку,
И будетъ нынѣ жить какъ узникъ въ Замкѣ
Ланкастерскомъ, пока Двору угодно».

ЛООДЪ.

Коль что-нибудь имѣете сказать вы,
Что можетъ, узникъ, этотъ приговоръ
Оставить несвершеннымъ, говорите.

ДЖЭКСОНЪ.

Коль что-нибудь вы можете представить
Въ защиту, какъ смягченье, говорите.

БАСТВИКЪ.

Да, такъ, милорды. Будь я, какъ прелаты,
Заполонитель власти королевской,
И явный презиратель слова Бога,
Будь нечестивъ, язычникъ, и папистъ,
Безчестенъ въ сердцѣ и въ дѣлахъ насильныхъ,
Лишенъ ума и чувства воздержанья;—
Будь Сатана мой господинъ, какъ ихъ,—
Я образца искать не сталъ бы въ Богѣ;
Будь супостатъ я Королю и Богу,
И будь врагомъ всѣхъ добрыхъ я, какъ вы,—
Я былъ бы надѣленъ, въ томъ нѣтъ сомнѣнья,
Ужасной вашей властью и богатствомъ
Раззолочённымъ, тѣмъ благополучьемъ,
Которое, когда проснетесь вы
Отъ сновъ послѣднихъ, превратится въ платья
И клобуки нетлѣннаго огня.
Но разъ я есмь, что есмь, вотъ, васъ прошу я.
Не отнимайте завистью своею
Единственную милость на землѣ,
Что можете вы дать мнѣ,—что̀ достойнымъ
Считаю я принять изъ вашихъ рукъ:
Презрѣнье, нанесеніе увѣчья,
Ввержéніе въ тюрьму. Такъ мой Учитель
Содѣлалъ, до тѣхъ поръ пока на землю
Не снидетъ въ блескѣ Царствіе Небесъ,
Или земля не поглотится въ небѣ,
Въ его огняхъ, какъ тѣнь—пройдетъ немного
Мятежныхъ лѣтъ, и ни слѣда не будетъ
Того, кто возмечталъ своею волей
На волю возставать, въ которой власть.

ЛООДЪ.

Взять узника отсюда, и отрѣзать
Языкъ ему за наглость!

БАСТВИКЪ.

До тѣхъ поръ,
Пока рукой перо держать могу я—

ЛООДЪ.

И руки пусть—

ДЖЭКСОНЪ.

Милордъ, остановитесь!
Языкъ, что нынѣ страха не внушаетъ,
Когда онъ онѣмѣетъ, можетъ стать
Громовъ истолкователемъ для насъ;
И руки, что теперь писать способны
Лишь о своемъ позорѣ, могутъ, ставъ
Кровавыми обрубками, той кровью
Запечатлѣть для нашей прекращенье.

ЛООДЪ.

Среди людей такого «милосердья»
И больше бы явилось, если бъ всѣ,
Кто служитъ исполненью мщеній Неба,
Такъ отступали предъ земною карой.
Я могъ бы претерпѣть—что назначаю!

*(Баствикъ уходитъ въ сопровожденіи Стражи)*

Пускай теперь предстанетъ Лордъ Епископъ
Линкольнскій!—

*(Къ Страффорду)*

Да, когда, чтобъ обезпечить
Уплату пени въ десять тысячъ фунтовъ,
Въ Линкольнѣ опись сдѣлали всѣмъ книгамъ
Его и обстановкѣ, тамъ нашли
Крамольно-возмутительныя письма,
Что нѣкій написалъ Осбальдистонъ,
Который скрылся бѣгствомъ. Это я
Не въ примѣненье къ той особѣ бѣдной
Привелъ сейчасъ: о должности лишь той
Я говорилъ, которая должна бы
Ее была священною содѣлать,
Будь такъ она низка, какъ до тѣхъ поръ
Всегда была примѣрно-безупречна.
Прошу еще, милордъ, замѣтить также,
Что это выраженье поражаетъ
Величество Его, разъ такъ я понялъ.

*(Входитъ Епископъ Уильямсъ подъ стражей)*

СТРАФФОРДЪ.

Чтобы Уильэмсъ горькій плодъ вкусилъ
За связь свою съ расколомъ,—въ этомъ будетъ
Блюденье интересовъ государства
И справедливость. Но вѣдь вы, Милордъ
Архіепископъ, первымъ повышеньемъ
Обязаны его благоволенью,
Вы подъ его улыбкой возросли--

ЛОДЪ.

Я потому при семъ Судѣ Высокомъ
И пожелалъ бы стать теперь судьей,
Означило бы это,—какъ и нынѣ
То означаетъ,—что, принявъ мою
Священную одежду, отстранилъ я
Мірскія предпочтенья всѣ и чувство
Какого-либо личнаго пристрастья,
Всѣ мысли обративъ лишь на одно
Служенье Церкви.—Такъ. Линкольнскій Пастырь—

УИЛЬЭМСЪ.

Молчаніе, надменный іерархъ!
Я приговоръ свой знаю, и пріемлю,
Какъ справедливый. Ты заплатишь мнѣ
Не столько даже, сколько заслужилъ я...

. . . . . .

## СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ.

Хэмпденъ, Пимъ, Кромвелль, его дочь, и молодой Сэръ Харри Вэнъ.

ХЭМПДЕНЪ.

О Англія, прощай, ты мнѣ была
Моею колыбелью, но тюрьмою,
Могилой—мнѣ не будешь никогда.
То, что я унаслѣдовалъ въ тебѣ,
Залогомъ я считалъ того наслѣдства
Свободы, что продать ты захотѣла,
Грабитель твой купилъ его—улыбкой:
Какъ буду звать я, Англія, тебя?

Ты Англія? моя страна?--Что, вѣтеръ—
Попутный?

ВЭНЪ.

Флюгера сидятъ спокойно
На башняхъ задремавшаго Аббатства.
Серебряный огонь звѣзды вечерней,
Дымъ городской пронзая, говоритъ
О царствѣ, въ высяхъ, сѣвернаго вѣтра.
Замѣть и стаю тучъ рунно-крылатыхъ,
Плывущихъ чрезъ Святую Маргариту.

ХЭМПДЕНЪ.

Привѣтъ тебѣ, проворный вѣстникъ бури,
Суровый кормчій, ты направишь путь
Сердецъ, какъ и твое, свободно-гордыхъ,
Въ просторахъ, внѣ ударовъ тиранніи,
Внѣ паутины паука-обжоры,
Внѣ лжи, клеветъ безбожниковъ-поповъ.
Привѣтъ тебѣ, звѣзда, чей свѣтъ прекрасный
Лежитъ лучомъ въ Атлантикѣ широкой,
Вкось поясовъ ея грозы и сна,
Какъ путь въ желанный домъ,—свѣтильникъ нѣжный,
Веди насъ къ островамъ страны вечерней.
Какъ нѣкіе пловучіе Эдемы,
Сіяньемъ убаюканы закатнымъ,
Сквозь дальніе туманы лѣтъ, одѣтыхъ
Мерцаньемъ удалившейся надежды,
Они горятъ, пустынныя поля,
Гдѣ никогда чистѣйшей кровью сердца
Не услаждали дикій страхъ царей
Властями одураченныя жертвы;—
Гдѣ не мѣшались росы со слезами
Тѣхъ, кто рыдаетъ каждый день о злѣ;—
Гдѣ воздухъ, безмятежный и священный,
Еще не знаетъ отклика проклятій,
Кощунствъ религіозныхъ, и обрядовъ
Безчинныхъ, отвращающихъ уродствомъ

Благоговѣнье вольное людей
Отъ Господа, что полонъ къ намъ любовью,—
Къ червю, что полонъ зависти къ любви.
Прими, о непочатый міръ Эдема,
Изгнанниковъ, покинувшихъ грѣховный
И старый—старый міръ.

. . . . . .

Волшебный этотъ климатъ, сводъ небесный,
Чьи свѣточи струятъ свое вліянье
Сквозь дымку блѣдно-синей атмосферы;—
Чьи слезы сохраняютъ изумруднымъ
Покровъ земли, сырой и все-кормящей;—
Тотъ горизонтъ обширный, съ дымнымъ кругомъ,
Круготекущимъ моремъ укрѣпленный,
И твердо отражающій набѣги
Священныхъ башенъ влаги,—это все
Гнететъ меня, какъ дверь тюрьмы съ рѣшеткой,
Какъ низкій сводъ, какъ узкая стѣна,
Сырая, полутемная. Широкій,
Безбрежный міръ становится какъ келья,
Становится онъ тѣснымъ для души,
Межь тѣмъ какъ часть мерзѣйшая, лишь уголъ
Тюрьмы обширной, Англія, встаетъ
Пріютомъ колыбельнаго покоя,
Гнѣздомъ, прильнувшимъ къ высямъ гордыхъ скалъ,
Тѣхъ скалъ, куда орлиный духъ свободныхъ,
Что бродитъ между небомъ и землей,
И презираетъ временныя бури,
И смотритъ на сіянье яркой правды,
Стремится вновь, чтобы лелѣять мысли,
Которыя не могутъ умереть,
И быть порабощенными не могутъ.
Подобныя орлятамъ, что несутся
На смутномъ небѣ времени, тѣ души
Высоко надъ добычею парятъ,
И на дворцы обрушатся, на храмы
Падутъ; онѣ испытаны въ громахъ.

## СЦЕНА ПЯТАЯ.

АРЧИ.

Я пойду и буду жить подъ плющомъ, оброшимъ террассу, и буду считать слезы, пролитыя на старые его корни, въ то время какъ вѣтеръ будетъ пѣть пѣсню—

«Тоскуетъ птичка одиноко
Средь чащи елей и березъ».

*(Поетъ)*

Эй ты, жаворонокъ звонкій, эй, полночная сова,
Первый утро услаждаетъ, а второю ночь жива,
Лишь одинъ, одинъ, бѣдняжка, безразсудный соловей,
Какъ дуракъ, поетъ во мракѣ и въ сіяніи лучей.

«Тоскуетъ птичка одиноко
Средь чащи елей и березъ;
Кругомъ, куда ни глянетъ око,
Холодный снѣгъ поля занесъ.

«На зимнихъ вѣткахъ помертвѣлыхъ
Нѣтъ ни единаго листка;
Среди полянъ, печальныхъ, бѣлыхъ—
Ни птицъ, ни травки, ни цвѣтка.

«И плачетъ птичка одиноко,
А воздухъ тихъ, сильнѣй морозъ;
И еле слышно издалека
Роптанье мельничныхъ колесъ».

# 1822.

# ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ.

*НЕОКОНЧЕННАЯ ПОЭМА.*

Проворный, точно духъ, спѣшащій къ славѣ,
Къ дѣяньямъ полнымъ высшей доброты,
Ликъ Солнца, въ ослѣпительной оправѣ,

Взошелъ, въ весельи яркой красоты;
Съ проснувшейся земли ниспала, тая,
Ночная маска мертвой темноты;

Какъ алтари бездымные, блистая,
Снѣга зажглись нагорныхъ вышнихъ странъ,
Подъ облаками красными мечтая;

Запѣлъ какъ бы обѣдню Океанъ,
Привѣтствуя волной рожденье свѣта,
И птички, увидавъ, что день имъ данъ,

Сложили въ пѣсняхъ—утру гимнъ привѣта;
Дремоту изъ сердецъ своихъ гоня,
Цвѣты, краса весны и счастье лѣта,

Открыли вѣки поцѣлуямъ дня,
Кадильницы свои легко качали
И подъ сіяньемъ новаго огня

Восточный ладанъ утру посвящали,
Въ веселый воздухъ нѣжный ароматъ
Струили, и горѣли, не сгорали;

И вещи всѣ, за свѣтлымъ рядомъ рядъ,
И острова, и море, и долины,
Всѣ формы загорѣлись—и горятъ;

Духъ Солнца, ихъ отецъ, сперва единый,
Вставъ, выполнилъ задачу бытія,
Потомъ и имъ велѣлъ слагать картины,

И вотъ у всѣхъ задача есть своя;
Но, полный мыслей съ тайною бездонной,
Въ тотъ свѣтлый праздникъ утра только я

Лѣнился и лежалъ изнеможенный,
Я съ внутренними мыслями одинъ
Былъ какъ въ ночи, созвѣздьями зажженной;

И на зеленомъ склонѣ Аппенинъ
Сѣдая толща стараго каштана
Мнѣ тѣнь струила съ лиственныхъ вершинъ;

Передо мной, въ одеждахъ изъ тумана,
Бѣжала ночь; и день вставалъ за мной;
У ногъ моихъ пространство Океана

Лазурною свѣтилось глубиной;
И Небо сверху рдѣло позолотой,
И овладѣлъ экстазъ блаженный мной;

Онъ не былъ сномъ, нѣтъ, свѣтлою дремотой,
Прозрачной, я настолько схваченъ былъ,
Что съ каждой краской, съ каждой тонкой нотой

Меня соединялъ онъ, не дробилъ;
Такъ вечеромъ холмы покрыты мглою,
Но вотъ холмы покровъ тотъ не затмилъ;

Я чувствовалъ, какъ свѣжею росою
Мнѣ волосы и лобъ смочило вдругъ,
Я освѣщенъ все тою же зарею,

И это вотъ все тотъ же самый лугъ,
Подъ тѣнью вѣтки, такъ же наклоненной,
Я чувствую, какъ слышится вокругъ

Созвучье пѣсни, всюду повторенной,
Напѣвы птицъ, ключей—во славу дня.
Гулъ океана,—и въ истомѣ сонной

Видѣніе окутало меня.

---

Межь тѣмъ какъ я лежалъ въ мечтѣ чудесной,
Таковъ былъ ходъ отчетливаго сна:—
Я—у большой дороги, неизвѣстной;

Покрыта пылью лѣтнею она;
На ней, какъ мошки въ яркій часъ заката,
Толпа была въ движеніи видна,

Смятенной торопливостью объята,
И численна; спѣшили всѣ впередъ,
И каждый, позабывъ, кѣмъ былъ когда-то,

Не зналъ, откуда онъ, куда идетъ,
И почему во множествѣ онъ этомъ,
Но онъ съ толпой, ихъ вмѣстѣ вихрь мететъ,

Какъ вдоль по небу, надъ умершимъ лѣтомъ,
Несутся милліонами листы;
Освѣщены однимъ обширнымъ свѣтомъ,

Въ смѣшеніи, въ потокѣ тѣсноты,
Старикъ и юный, взрослые и дѣти,
Спѣшатъ, и каждый рабъ своей мечты;

Тотъ отъ сѣтей бѣжитъ, тотъ мчится въ сѣти,
Въ чемъ страхъ однимъ, другимъ въ томъ блескъ лучей,
Тѣ ищутъ наслажденія, а эти

Спѣшатъ къ гробамъ и смотрятъ на червей,
Окутаны одни своею тѣнью,
И смерть свою усматриваютъ въ ней,

Другіе, непонятному волненью
Отдавшись, отъ нея стремятся прочь,
И нѣтъ конца напрасному стремленью;

Ни одного похожаго точь въ точь,
Но всѣ спѣшатъ, потокъ ростетъ все шире,
И больше тѣхъ, въ чьемъ сердцѣ точно ночь;

Отъ облаковъ, что въ поднебесномъ мірѣ,
Они слѣдятъ мелькапія тѣней,
Или отъ птицъ въ полуденномъ эѳирѣ;

Измучены заботою своей,
Бѣгутъ отъ тѣни къ тѣни, жаждой полны,
И нѣтъ цвѣтовъ на пыли ихъ путей,

Имъ не слыхать, какъ нѣжно плещутъ волны
О мшистый берегъ свѣтлыхъ родниковъ,
Не ощутить, какъ сладостно-безмолвны

Лѣсныя дуновенья вѣтерковъ,
Среди прогалинъ, вдоль тропинокъ мглистыхъ,
Средь старыхъ вязовъ, между ихъ стволовъ,

Среди фіалокъ, полныхъ сновъ душистыхъ,—
Они лишь видятъ свой серьезный бредъ;
И мнилось мнѣ, въ мечтаньяхъ тѣхъ лучистыхъ,

Что, какъ Іюньскій лѣсъ грозой одѣтъ,
Толпу сильнѣй волненье охватило,
И, ярче полдня, льдистый вспыхнулъ свѣтъ;

Ликъ солнца то сіянье затемнило,
Какъ солнцемъ бездна звѣздъ затемнена, —
Холодное, но мощное свѣтило.

И какъ новорожденная луна,—
Когда на граняхъ ночи, въ свѣтѣ красномъ,
Ея ладья воздушная блѣдна,

Межь тѣмъ какъ зрѣютъ бури съ вихремъ страстнымъ,—
Тѣнь матери-покойницы несетъ,
Чей хмурый обликъ въ воздухѣ неясномъ

Надъ дѣтскимъ тономъ смотритъ въ небосводъ,
Такъ точно колесница здѣсь предстала
На вихрѣ блесковъ собственныхъ, и вотъ

Я вижу: Призракъ—тамъ, глядитъ устало,
Какъ тотъ, кто изветшалъ во снѣ земномъ,
Тѣнь гроба на него уже упала,

Онъ въ темномъ клобукѣ, въ плащѣ двойномъ;
Надъ тѣмъ, что было будто головою,
Былъ крепъ, какъ туча, гдѣ таится громъ,—

Эѳирный слабый мракъ смягчалъ собою
Блестящій свѣтъ. Возницей Тѣнь была,
Съ лицомъ двойнымъ, какъ Янусъ; мглой густою

Игра сплетенныхъ молній облекла
Тѣ призраки, по волѣ чьихъ усилій
Причудливая колесница шла:—

Лишь музыку всегда-подвижныхъ крылій
Я слышалъ въ нѣжныхъ звонахъ безъ конца.
Закутаны глаза возницы были,

Завязаны у каждаго лица;
Немного толку: спереди стремленье,
А сзади—слѣпота какъ у глупца;

Тутъ блескъ, что въ солнцѣ создаетъ затмѣнье,
Безсиленъ; иль, быть можетъ, скрытый взоръ
Все видитъ: то, что есть, и отдаленье

Минувшаго, грядущаго просторъ;
Такъ дурно колесницей управляли,
Но пышенъ быстрый былъ ея задоръ.

Толпы людей дорогу ей давали,
И я въ испугѣ всталъ, иль мнилось мнѣ,
Что всталъ,—меня мечты заколдовали,—

И видѣлъ: словно тучи въ вышинѣ,
Несомыя по грозовымъ уклонамъ,
Съ напѣвомъ дикимъ, въ пляскѣ, какъ въ огнѣ,

Кружился милліонъ за милліономъ.
Такъ ликовалъ порою царскій Римъ,
Какъ бы морскимъ восколебавши лономъ

Волну людей, привѣтствуя своимъ
Сенатомъ, и мѣстами развлеченья,
И форумомъ—того, велѣньемъ чьимъ,

Рукой завоевателя, плѣненье
На вольныхъ налагалось,—и сполна
Здѣсь воплощалось данное сравненье:

Гдѣ колесница, тамъ толпа видна,
Плѣненная,—въ ней были всѣ, кто властью
Жилъ весь свой вѣкъ, и тѣ, чья жизнь бѣдна

До старости, и кто свой вѣкъ несчастью
Иль дѣйствію сурово подчинилъ,
И сжегъ всю жизнь ненасытимой страстью,

Вплоть до послѣднѣй капли бывшихъ силъ,—
Есть стволъ, но нѣтъ плодовъ, и нѣтъ расцвѣта,—
Всѣ тѣ, кто славой иль безславьемъ былъ

Лелѣемъ до тѣхъ поръ, покуда лѣто
Не облеклось великою зимой,
И нѣтъ ихъ, нѣтъ земли имъ, нѣтъ имъ свѣта;

Всѣ, кромѣ тѣхъ немногихъ, чьей душой
Насильники завладѣвать не властны:
Коснувшись міра огненной мечтой,

Они спѣшатъ туда, гдѣ полдень ясный,
Къ родному дню, подобные орламъ,
Къ земнымъ вѣнцамъ и тронамъ безучастны...

Мужей Аѳинъ я видѣлъ, но не тамъ.
Провидцевъ видѣлъ я Іерусалима,
Они не сопричислились къ рабамъ

Могучимъ, ни къ толпѣ, что мчалась мимо
Въ безпутствѣ, ни къ безстыднымъ, что, кружась
Шли впереди. Межь тѣмъ неукротимо,

Все безразсуднѣй мчался дикій плясъ,
И тѣ, что хоръ вели, сплетая руки,
Летѣли, точно мгла тѣней неслась,

Неистовые имъ играли звуки.
И, чудо-колесницу обогнавъ,
Измучены терзаньемъ сладкой муки,

Въ конвульсіяхъ крутящихся забавъ,
По волѣ духа, чья играла лира,
И кто велѣлъ имъ виться,—не уставъ

Усладу видѣть въ злѣ съ начала міра,—
Они, отбросивъ голову назадъ,
Безчинствуютъ, какъ въ изступленьи пира,

Вкругъ той, предъ кѣмъ померкъ у солнца взглядъ;
И юноши, и дѣвы къ сну слѣпому
Взметаютъ руки, ноги ихъ блестятъ;

Отступятъ, и, склонясь одинъ къ другому,
Незримо загорятся,—и опять,
Какъ бабочки къ сіянью роковому,

Спѣшатъ къ блестящей смерти: вновь пылать,
Пока,—подобно тучамъ двумъ, сплетеннымъ,
Вошедшимъ въ долъ единый, чтобъ сверкать

И умереть дождемъ освобожденнымъ,—
Они не ощутятъ въ свой должный часъ,
Что узамъ ихъ, огнями озареннымъ,

Пришелъ конецъ, что связь ихъ порвалась,
Хотя еще и длится сотрясенье,
Какъ отзвукъ, что звучитъ въ послѣдній разъ.

Одинъ упалъ, безъ чувства, безъ движенья,
За нимъ другой; роднятъ оковы зла,
Но, прежде чѣмъ окончилось мгновенье,

Надъ ними колесница та прошла,
И слѣдъ отъ нихъ не бо̀льшій тамъ остался,
Какъ на прибрежьи, гдѣ волна была.

Рой стариковъ, старухъ безпутно мчался
За пляской, потрясая сѣдиной
Разметанныхъ волосъ,—догнать старался

Проворный свѣтъ, манившій за собой,
Но свѣтъ скользилъ отъ ихъ толпы могильной,
И сумракъ ихъ окутывалъ двойной.

И все-жь, хотя бы съ волею безсильной,
Они спѣшатъ, а страшный сонмъ тѣней
Вкругъ каждаго изъ нихъ стезею пыльной

Идетъ, ростетъ, и вотъ они слабѣй
Изъ праха возстаютъ, и вновь упали,
Ихъ кроетъ гниль завѣсою своей.

Исполненный мучительной печали,
Я вскрикнулъ: «Что же это предо мной?
Чей призракъ тамъ?» Едва уста сказали

Тѣ бѣглыя слова,—и возгласъ мой:
«Что за причина этого несчастья?»
Еще не созданъ былъ моей душой,—

—«Жизнь!» нѣкій голосъ, какъ изъ мглы ненастья,
Откуда-то раздался... Я взглянулъ,
(О Небо, твоего прошу участья!)

Я думалъ, это корень мнѣ мелькнулъ,
На склонѣ старый корень, искаженный,
Но взоръ меня жестоко обманулъ:

То былъ одинъ изъ той толпы плѣненной,
И что считалъ я блѣдною травой,
Волной волосъ являлось измѣненной,

И что считалъ двойною я дырой,
Глазами было.—«Если ты отъ пляски
Способенъ удержаться, будь со мной,

«И удержись, боясь ея завязки!»
На мысль мою отвѣтилъ мнѣ Фантомъ:
«Скажу тебѣ слова правдивой сказки,

«Что̀ быть намъ въ униженіи такомъ
Велѣло, и скажу тебѣ, какими
Съ утра мы шли путями; коль потомъ

«Захочешь больше знать, иди за ними
До самой ночи, пусть; а я усталъ.»—
И онъ, словами пригнетенъ своими,

Шатнулся, и умолкъ; а я вскричалъ:
«Сперва, кто ты?»—«До твоего рожденья
Любилъ я, ненавидѣлъ, и страдалъ,

«И мучился, и воплощалъ свершенья,
И умеръ,—и, когда бы искра та,
Что Небо дало мнѣ для озаренья,

«Была въ своемъ питаніи чиста,—
Такъ много бъ гниль себѣ не получила
Въ наслѣдство, и тогда бы пустота

«Такъ не питалась тѣмъ, кого могила
Пріяла, какъ—Руссо, и этотъ видъ
Я бъ не носилъ такъ жалко и уныло;

«Но, если я погасъ, огонь горитъ,
Мной маяки свѣтлы сторожевые.»—
«А кто вонъ тѣ, въ цѣпяхъ, чей взоръ не спитъ?»

—«Великіе и въ памяти живые,
Они носили шлемы и вѣнцы,
Или гирлянды блеска огневыя,

«Какія скрыто носятъ мудрецы,
Знакъ власти сильной мысли надъ умами,
Но, знаніе струя во всѣ концы,

«Себя они не научили сами
Познать себя; и таинства внутри
Не видѣли, и черными тѣнями

«Окутала ихъ ночь, взамѣнъ зари.»
—«А это кто стоитъ, лицо склоняя
На грудь свою, и на цѣпи—смотри—

«Скрестивши руки, мыслитъ, вспоминая?»—
—«Рожденье злого часа; онъ хотѣлъ
Міръ получить, но, столькаго желая,

«Все потерялъ, величье громкихъ дѣлъ,
И больше славы, больше наслажденья,
Чѣмъ добрый бы снискать себѣ сумѣлъ

«Безъ случая, который восхожденье
Орлиное взметнулъ на горный склонъ,
Гдѣ тысячи извѣдали паденье,

«Упавши, какъ упалъ Наполеонъ.»
Я тотчасъ ощутилъ, что я блѣднѣю,
Увидѣвъ, какъ проходитъ мимо онъ,

Кто этотъ міръ настолько сжалъ своею
Могучей дланью, такъ поработилъ,
Что стало можно жалкому пигмею

Лягнуть его, лежащаго безъ силъ;
И я со скорбью думалъ, отчего же
Власть съ волею здѣсь въ мірѣ Богъ не слилъ,

И почему не примирилъ ты, Боже,
Добро со средствомъ достигать добра?
Насколько бъ все намъ сдѣлалось дороже!

И стала мнѣ почти скучна игра
Познанія временъ, что перестали
Существовать, но были лишь вчера.

Великой былъ исполненъ я печали.
«Смотри», путеводитель молвилъ мнѣ:
«Вонъ, хищники хищенье потеряли,

«Вольтеръ, и Фридрихъ, Павелъ въ сторонѣ,
И Леопольдъ, и демагоги съ ними,
Всѣ тѣ, что были подняты въ волнѣ,

«И съ Жизнью бились мыслями своими,
Но Жизнь сильнѣе. Я былъ побѣжденъ
Лишь сердцемъ, снами сердца огневыми,

«Котораго ни возраста законъ,
Ни слезы, ни безславье, ни могила
Не покорили, нѣтъ, не ввергли въ сонъ.»

—«Пускай проходитъ призрачная сила!»
Воскликнулъ я: «міръ съ участью своей
Таковъ, что нынѣ все—какъ прежде было,

«И поклоненья нѣтъ въ душѣ моей
Предъ тѣми, кто на зеркалѣ фальшивомъ
На время вызвалъ новый рядъ тѣней.»

—«Да, тѣни съ новымъ, съ новымъ все порывомъ
Встаютъ всегда на мыльномъ пузырѣ,
Будь въ немъ—хоть некрасивымъ, хоть красивымъ;

«Когда въ цвѣтущей были мы порѣ,
На немъ мы наши тѣни наложили,
Какъ раньше тѣ, что жили на зарѣ.

«Но посмотри, какъ тѣни давней были
Прикованы у колесницы той:
Все, что въ Платонѣ было смертной пыли,

«Боль искупаетъ съ радостью живой,
Какой не зналъ его учитель, вѣрно;
Онъ жилъ подъ слишкомъ яркою звѣздой,

«И красота ея была чрезмѣрна,
Цвѣтокъ Небесъ давно ужь въ ней не цвѣлъ,
Но, если побѣждалъ онъ достовѣрно

«Печаль, и лѣнь, и бездну всякихъ золъ,
И золото, и возраста вліянье,—
Владыку сердцу онъ въ любви нашелъ.

«Съ нимъ рядомъ двое, тѣсное сліянье,
Учитель и воспитанникъ его,
Кто подчинилъ себѣ Завоеванье;

«Оно какъ коршунъ было для него,
На длинной цѣпи, и подъ ихъ крылами
Міръ слава для любимца своего

«Окутала глубокими тѣнями,
Избравъ его среди толпы вождей,
И окруживъ избранника громами;

«Другой, царя надъ мыслями людей,
На много дольше пережилъ мельканья
Суровыхъ войнъ и плачущихъ скорбей.

«И ключъ ревнивый отъ дверей познанья
Донынѣ бъ за собой онъ сохранилъ,
Когда бъ орелъ-Бэконъ, въ лучахъ сіянья,

«Какъ молнія, изъ тьмы не воспарилъ,
Онъ разбудилъ Протеевъ ликъ Природы,
И тотъ ему сокровища открылъ,

Введя его во мглу пещеръ, подъ своды.
Взгляни на славныхъ бардовъ старыхъ дней:
Ихъ пѣснь звучитъ, уничтожая годы.

«И нѣжною мелодіей своей
Смягчая страсти, хоть они и пѣли
Вліяніе и красоту страстей;

«Свою отраву сладкую сумѣли
Содѣлать благотворною они;
Что до меня, мои слова скорбѣли,

«Но я въ слова влагалъ свои огни,
Самъ выстрадалъ, что я писалъ,—страданье
На многіе посѣяно въ нихъ дни,

«Какъ сѣмя зла таятъ въ себѣ дѣянья
Другихъ.» Онъ на толпу мнѣ показалъ:
Ихъ Цезаря связало злодѣянье,

Насильниковъ я въ нихъ легко узналъ
Отъ самого его до Константина;
Родъ не одинъ отъ нихъ начало взялъ,

И къ самому названью властелина
По волѣ ихъ прилипло, столь давно,
Передаваясь отъ отца до сына.

Чумы кроваво-красное пятно;
То здѣсь, то тамъ—вставать, какъ привидѣнья,
Межъ Богомъ и людьми имъ суждено;

И до сихъ поръ вкругъ солнца—мракъ затмѣнья,
И міръ привыкъ тотъ сумракъ почитать.
—«Имъ власть была дана для разрушенья».

«А я изъ тѣхъ, кто долженъ создавать,
Хотя бъ я создавалъ лишь міръ терзаній!»
Воскликнулъ онъ. А я:—«Хочу я знать,

«Откуда ты? Какъ началъ путь скитаній?
Куда идешь теперь? И почему?
Усталъ я отъ безчисленныхъ мельканій,

«И грустно, больно сердцу моему.
Скажи.»—«Откуда я, отчасти знаю,
Мнѣ кажется: какъ ввергнутъ въ эту тьму

«Несчастія, тебѣ не объясняю.
Поймешь и самъ; зачѣмъ такъ быть должно,
Хотѣлъ бы знать, увы, не понимаю;

«Но мнѣ идти за сильнымъ суждено:
Иди и ты: изъ зрителя нѣмого,
Какъ жертва иль актеръ, войди въ звено.

«И отъ тебя разгадку рокового
Узнаю я, быть можетъ, какъ узнать
Хотѣлъ ты отъ меня. Но слушай снова:

«Въ Апрѣльскій день, когда, спѣша принять
Касанье ласки, созданной весною,
Лѣсъ началъ свѣтлой зеленью сіять,

«На кончикахъ едва сквозя листвою,
Лежалъ я, погруженный въ чуткій сонъ
Подъ нѣкою высокою горою,

«Чей склонъ пещерой былъ разъединенъ,
Оттуда рѣчка нѣжно исходила,
И каждый стебель былъ слегка склоненъ

«Подъ той водой, что свѣтлая, кропила
Мельканьемъ брызгъ, и словно вѣтерокъ
Воздушность звуковъ межь деревъ струила,

«Такихъ, что каждый, кто ихъ слышать могъ,
Не вспоминалъ ни мукъ, ни наслажденья,
Что вѣдалъ онъ когда-то, въ прежній срокъ;

«Здѣсь мать, уснувъ, не знала бъ сновидѣнья
Твердящаго, что умеръ у нея
Единственный ребенокъ; и мученья

«Не зналъ бы царь, впадая въ забытье,
Не думалъ бы, что волей злого слова
Онъ потерялъ владычество свое,

«Что власть его теперь въ рукахъ другого;
И ты бъ свои страданья пересталъ
Оплакивать, скорбя все снова, снова,

«Передъ своимъ страданьемъ слабъ и малъ,
Ты здѣсь нашелъ бы музыку забвенья,
И, зачарованъ, больше бъ не страдалъ;

«Была ли небомъ жизнь до сновидѣнья,
Иль адомъ, гдѣ я бодрствую для мукъ,
Не знаю. Я привсталъ, и міръ сплетенья

«Лѣсныхъ вѣтвей, міръ свѣтлыхъ водъ вокругъ
Въ себѣ таилъ не этотъ свѣтъ привычный,
Что льется днемъ на рѣчку, лѣсъ, и лугъ,

«А свѣтъ иной, нездѣшній, необычный,
И звуки, нѣжной магіей своей,
Въ одинъ напѣвъ сливались гармоничный,

«Средь свѣтлыхъ волнъ и сумрачныхъ тѣней,
Мѣшая чувства въ сладости забвенья;
Я глянулъ и въ сіяніи лучей

«Увидѣлъ солнца свѣтлое явленье:
Въ восточную пещеру ликъ его
Проникъ, и въ чистой влагѣ отраженье

«Нашелъ онъ для сіянья своего,
Позолотивъ ее, и вовлекая
Лѣсные лабиринты въ торжество,

«Гдѣ все зажглось, огнемъ его сверкая,
Воздушно-изумруднымъ и живымъ:
И, въ серединѣ солнца возникая,

«Окутаннаго блескомъ круговымъ.
На глади, полной зыбкаго дрожанья,
Какъ будто всталъ какой-то свѣтлый дымъ.

«Тѣнь дивная, вся—нѣжность, вся—сіянье,
Росу она одной своей рукой
Роняла, точно ласку чарованья.

«Какъ будто бы она была зарей,
А дождь незримый, звонко-серебристый,
Все пѣлъ и пѣлъ воздушною струей.

«Надъ зеленью лужайки этой мшистой:
И предо мной еще огонь сверкалъ,—
Шарфъ радуги горѣлъ, многоцвѣтистый:

«Въ другой рукѣ она несла бокалъ,
Весь полный до краевъ питьемъ цѣлебнымъ:
Пока она пещерой шла межъ скалъ.

«Былъ слѣдъ ея сіяніемъ волшебнымъ
Отмѣченъ; и прозрачною водой.
Что зеркаломъ явилась ей служебнымъ,

«Такъ шла она, воздушною стопой
Не возмущая влаги и красиво
Склоняясь подъ нависшею листвой.

«Пока волна волосъ, какъ будто ива,
Не прикоснулась до рѣчной волны,
Шепнувшей, что она теперь счастлива;

«И какъ влюбленный, погрузившись въ сны,
Надъ озеромъ, въ туманѣ серебристомъ,
Идетъ межь лилій, въ волшебствѣ луны,

«Къ какимъ-то звукамъ музыки, лучистымъ,
Такъ эта тѣнь, едва касаясь водъ,
То будто въ ласкѣ съ этимъ лономъ чистымъ

«Сливается, то въ воздухѣ плыветъ,
Которымъ влажный аметистъ взволнованъ,
То межь сіяній утреннихъ мелькнетъ,

«Чьей лаской лѣсъ былъ точно нѣжно скованъ,
Среди вѣтвей, иль въ тѣни отъ вѣтвей,
И путь ея повсюду зачарованъ;

«Стопой безслѣдно-легкою своей
Она сливалась въ нѣгѣ единенья
Съ гармоніей вѣтровъ, листовъ, стеблей:

«Ей пѣло—волнъ, и пчелъ, и птичекъ пѣнье,
И свѣтлыхъ капель рокотъ ей журчалъ,—
Такъ въ лѣтній вечеръ, въ зыбяхъ дуновенья

«Воздушныхъ вѣтерковъ межь темныхъ скалъ,
Дымъ отъ росы летитъ передъ луною,
Тамъ, тамъ, куда орелъ не залеталъ;

«И все жь она, воздушною стопою,—
Какъ этотъ хоръ, что такъ согласно пѣлъ,
Владѣя зачарованной мечтою

«Того, кто такъ внимательно глядѣлъ,—
Какъ будто бы стирала всѣ движенья
Его мечты,—и міръ кругомъ блестѣлъ,

«Но мнилось—это только сновидѣнье,
И было—точно угли передъ ней
Глядящаго покорное мышленье,

«За искрой искру, чарою своей,
Она, идя, въ прахъ смерти затоптала,
Какъ топчетъ день свѣтильники ночей,

«Пока дыханье сумрака, сначала
Сгустившись, не зажжетъ очей небесъ,
Чтобъ небо новой жизнью заблистало;

«Такъ, превращая ночь въ чертогъ чудесъ,
Она дневнымъ явилась мнѣ сіяньемъ,
И, прежде чѣмъ порывъ ея исчезъ,

«Какъ тотъ, кто между страхомъ и желаньемъ
Замедлилъ, я промолвилъ:—«Если ты
Изъ странъ, что не отмѣчены названьемъ,

«Пришла сюда, гдѣ вѣчный токъ мечты,
Скажи, откуда я, и что, и гдѣ я;
Не уходи въ потокѣ пустоты.

«И голосъ прозвучалъ, воздушно млѣя:
—«Ты жаждешь, встань, и выпей, вотъ бокалъ!»
И словно боязливая лилея,

«Подъ утренней живой росой, я всталъ,
Къ бокалу истомленными губами,
Внимая зову нѣжному, припалъ,

«И вмигъ свой мозгъ сравнить я могъ съ песками
Предѣловъ, гдѣ пустынный Лабрадоръ,
Съ чуть зримыми отъ быстрыхъ сернъ слѣдами,—

«Наполовину бѣгъ волны ихъ стеръ,
За ними волкъ бѣжитъ и оставляетъ
Своихъ слѣдовъ отчетливый узоръ,

«Но бѣгъ второй волны и ихъ стираетъ;
Такъ новое видѣнье предо мной,
Невиданное прежде, возникаетъ,

«И свѣтлый призракъ блескъ теряетъ свой,
Какъ Люциферъ—блестящіе уборы,
Смущенный хризолитною зарей,

«Предъ тѣмъ какъ свѣтъ ея окраситъ горы;
И какъ вліянье той звѣзды, чей взглядъ,
Хотя бъ незримый, зажигаетъ взоры,

«Что тайное вліяніе хранятъ
Звѣзды, чей нѣжный свѣтъ напоминаетъ
Жонкилей золотистыхъ ароматъ,

«Въ которыхъ вѣтеръ сумерекъ вздыхаетъ,—
Или какъ пастуха Брешійскихъ горъ
Напѣвъ о томъ, что онъ не отдыхаетъ,

«Что онъ усталъ,—или какъ нѣжный взоръ,
Который далъ ему восторгъ забвенья,
И усыпилъ души его укоръ,—

«Такъ чувствовалъ еще я то видѣнье
Въ чрезмѣрномъ свѣтѣ, въ пламенномъ огнѣ,
Что двигалось среди уединенья,

«Какъ призракъ, смутно, видѣнный во снѣ,
Какъ днемъ возставшій ликъ ночныхъ мечтаній,
Какъ лучъ, что гдѣ-то тамъ, въ иной странѣ,

«Горитъ намекомъ гаснущихъ сіяній,
Ихъ больше нѣтъ, ихъ ждешь, ихъ больше нѣтъ;
Но, съ легкостью чуть зримыхъ очертаній,

«Тѣнь все еще таила свой привѣтъ;
А въ колесницѣ новое Видѣнье,
Струя кругомъ холодный яркій свѣтъ,

«Чрезъ лѣсъ спѣшило въ пышности явленья,
Громъ музыки его сопровождалъ,
И милліонъ слагалъ ему хваленья;

«Побѣдной аркой слитный свѣтъ блисталъ,
Сводъ Радуги, зеленый, алый, синій,
Ему шатромъ вѣтро-крылатымъ сталъ,

«Внизу эфирный блескъ владѣлъ пустыней,
А впереди, далеко передъ нимъ,
Въ роскошномъ торжествѣ цвѣтовъ и линій,

«Летѣла буря блеска, свѣтлый дымъ
Стиралъ всѣ тѣни, и толпа густая,
Окутана сіяньемъ огневымъ,

«Какъ бы въ лучѣ, что всталъ столбомъ, блистая,
Казалась пляской атомовъ: одни
Рѣзвились, на коврѣ цвѣтовъ играя,

«И позабывъ, какъ быстротечны дни:
Другіе же до той поры взирали,
Когда погасли яркіе огни

«Отъ колесницы, ибо къ нимъ ниспали
Густыя тѣни отъ горы нѣмой;
Иные колесницу обгоняли;

«Иные же сплошною пеленой
Толпились вкругъ нея, съ ея сіяньемъ,
Какъ тучи предъ высокою луной;

«А большинство, съ напѣвнымъ ликованьемъ,
За колесницей тріумфальной шли;—
Но всѣхъ, въ концѣ концовъ, однимъ вліяньемъ

«Въ потокѣ волны мощныя несли,
Какъ сонмы пузырей.—И вотъ толпою
Я также былъ сметенъ. Уже вдали

«Цвѣты виднѣлись съ нѣжной ихъ красою:
И тѣни нѣтъ, уединенья нѣтъ;
Напѣвъ забвенный не течетъ струею,

«Даруя мысли музыку и свѣтъ,
Нѣтъ призрака съ знакомыми чертами,
Въ толпу людей я ввергнулся, какъ въ бредъ,

«И грудь моя окуталась волнами
Холоднаго сіянья, въ чьемъ огнѣ
Овладѣваетъ искаженность нами.

«Предъ тѣмъ какъ на обратной крутизнѣ
Той сказочной долины восхожденье
Для колесницы наступило,—мнѣ

«Открылось столь волшебное явленье,
Что могъ вполнѣ къ нему склонить свой взглядъ.
И дать ему одежду пѣснопѣнья

«Тотъ, кто сходилъ въ нижайшій темный адъ,
Кого Любовь вела чрезъ всѣ сіянья,
Кто видѣлъ рай, и вновь пришелъ назадъ,

«Чтобъ намъ сказать слова негодованья
И ужаса; волшебнѣйшій разсказъ,
Превратности всего—повѣствованье,

«Лишь не Любви, чей свѣточъ не погасъ,
И все горитъ, хоть міръ глухой, какъ море,
Сѣдое отъ буруна въ грозный часъ,

«Не слышитъ въ гнѣвно-пѣнистомъ уборѣ
Воздушныхъ нотъ, которыя влекутъ
Ту сферу, чьи лучи въ глубокомъ взорѣ

«Мелодію любви безмолвно ткутъ.—
Да, дивное свершилося явленье:
За тѣнью тѣнь, они встаютъ, ростутъ,

«По всей землѣ—сѣдыя привидѣнья,
Все призраки—до глубины лѣсной,
И въ воздухѣ—какъ будто испаренья

«Туманныхъ формъ: въ немъ точно смутный рой
Вампировъ, что подъ яркими лучами
Тропическаго солнца вдругъ толпой

«Взметнулись, и ночными полосами
Легли въ моряхъ Индійскихъ, страннымъ сномъ,
На островѣ, окутанномъ волнами;

«Распространились призраки кругомъ;
И тѣнь тѣней одни изъ нихъ бросали,
Летя своимъ обманчивымъ путемъ;

«Другіе какъ орлята возлетали,
Теряясь въ этомъ яркомъ бѣломъ днѣ;
Иные точно эльфы трепетали,

«И тысячами формъ, какъ бы во снѣ,
Плясали надъ лучистыми ручьями
И надъ травой, склонившейся къ волнѣ;

«Иные, глупо-цѣпкими руками
Уклонъ вѣтвей висячихъ ухвативъ,
Какъ будто обезьяны надъ сучками

«Болтали: былъ иной фантомъ спѣсивъ
И въ горностаи царскіе рядился;
Иной, собой тіару осквернивъ,

«На ней какъ дикій коршунъ примостился;
Иной прильнулъ къ коронѣ дурака,
И подъ вѣнцомъ на лбу его гнѣздился.

«Скелеты, воплощенная тоска,
Подъ демонскими темными крылами,
Чья тѣнь была черна и глубока,

«Высиживали что-то, и съ птенцами
Бѣсовскими безмолвный разговоръ
Вели, смѣясь усопшими глазами,

«Передавали чадамъ свой уборъ,
Которымъ эти черви превратили
Всю землю въ склепъ угрюмый, съ давнихъ поръ.

«Иные духи поскромнѣе были,
У простаковъ сидѣли на рукахъ,
Какъ соколы,—вкругъ ихъ головъ парили;

«Или какъ мошки малыя въ лучахъ,
Въ вечерній часъ, надъ топью, возсѣдали.
На знатныхъ, на законникахъ, попахъ;

«Иные точно хлопья упадали
На юное лицо или на грудь,
И таяли, но, полная печали,

«Другою юность уходила въ путь;
И падали, и падали слезами,
Когда могли къ тѣнямъ рѣсницъ прильнуть.

«Я понялъ, что̀ за власть владѣетъ нами,
Откуда эти формы изошли,
Что испещрили весь нашъ путь тѣнями.

«Въ короткій часъ всѣ краски отцвѣли,
Поблекла красота всѣхъ очертаній,
Что было свѣжимъ, чахнуло въ пыли.

«И крѣпкій станъ, и сила для дѣяній
Ослабли, жизнь отъ членовъ отошла.
Черты заботъ, морщины отъ страданій

«Пронзили мраморъ юнаго чела,
Во взорахъ, гдѣ надежда-чаровница
Когда-то нѣжно-свѣтлая жила,

«Желаніе, какъ раненая львица,
Дѣтеныша послѣдняго лишась,
Сверкнуло, какъ мгновенная зарница,

«Предъ смертію зажглось въ послѣдній разъ;
И каждый въ той толпѣ неисчислимой,
Тѣнь выдѣлялъ, когда лицомъ онъ гасъ,

«И тѣнь неслась, какъ листъ сухой, гонимый,
Въ осенній день отъ тополя; ихъ рой
Рѣкою убѣгалъ неистощимой;

«Сначала тѣнь была самой собой,
И на другихъ похожей; но иныя
Какъ будто были тучей грозовой,

«Ихъ такъ сложили вѣтерки живые;
Изъ нихъ-то колесница, проходя,
Тѣ призраки сплетала роковые,

«Какъ солнце—тучи, воздухъ бороздя;
Личина упадала за личиной,
Мѣнялись формы всѣ, впередъ идя;

«И, прежде чѣмъ за горною вершиной
День умеръ, радость нѣжная забавъ
Ушла, и не смѣялся ни единый;

«Отъ пляски той чудовищной уставъ,
Одни, какъ я, упали близь дороги,
Скорѣй другихъ всю силу потерявъ,

«Ихъ тѣни были слишкомъ-слишкомъ многи.
Ихъ красота поблекла, мракъ струя,
Какъ бы застывши на своемъ порогѣ.

«Такъ что же значитъ жизнь?» воскликнулъ я..

. . . . . .

# проза

ПОВѢСТВОВАТЕЛЬНЫЕ ОТРЫВКИ,

ЗАМѢТКИ,

СТАТЬИ.

(1814—1821).

# 1814.

# АССАССИНЫ.

*ОТРЫВОКЪ ИЗЪ РОМАНА.*

# ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Іерусалимъ, доведенный до сопротивленія безпрерывными захватами и наглостью Рима, объединилъ свои враждующія партіи, чтобы возмутиться противъ общаго врага и притѣснителя. Будучи ниже своего непріятеля во всемъ, кромѣ непобѣдимой надежды на свободу, Іудеи окружили свой городъ укрѣпленіями необыкновенно сильными и помѣстили передъ храмомъ отрядъ отчаянно-храбрый, полный патріотизма и религіознаго одушевленія. Даже женщины предпочитали скорѣе умереть, чѣмъ пережить гибель своей родины. Когда Римское войско приблизилось къ стѣнамъ священнаго города, принятыя имъ мѣры, его дисциплина и его численность показывали убѣжденность его вождя въ томъ, что онъ имѣетъ дѣло не съ простыми варварами. При приближеніи Римскаго войска чужеземцы удалились изъ города.

Среди множества людей, что отъ каждой націи Востока собрались въ Іерусалимѣ, была небольшая кучка Христіанъ. Они не были замѣчательны ни своей численностью, ни своимъ вліяніемъ. Среди нихъ не было ни философовъ, ни поэтовъ. Не признавая никакихъ законовъ, кромѣ законовъ Божескихъ, они выработали свое поведеніе по отношенію къ собратьямъ-людямъ на основаніи личныхъ умозаключеній касательно дѣйственнаго примѣненія этихъ законовъ. Было очевидно изъ простоты и строгости ихъ нравовъ, что это презрѣніе къ человѣческимъ учрежденіямъ создало среди нихъ характеръ высшаго простосердечія и искренней самооцѣнки, сравнительно съ рабствомъ языческихъ обычаевъ и съ грубыми заблужденіями устарѣлыхъ суевѣрій. Многія изъ ихъ мнѣній въ значительной степени походили на мнѣнія секты, впослѣдствіи сдѣлавшейся извѣстною подъ именемъ Гностиковъ. Они считали, что человѣческое разумѣніе есть основное правило человѣческаго поведенія; они

утверждали, что самыя темныя религіозныя истины требуютъ для своего полнаго выясненія лишь упорнаго примѣненія умственныхъ силъ. Имъ казалось невозможнымъ, чтобы какое-нибудь ученіе, враждебное человѣческому счастью, нельзя было опровергнуть доводами, заимствованными изъ природы существующихъ вещей. Съ самымъ набожнымъ подчиненіемъ закону Христа они соединяли безстрашный духъ изслѣдованія; они являли самый безупречный способъ дѣйствія во всѣхъ отдѣльныхъ случаяхъ поведенія, какой можно видѣть среди людей. Принявъ ученіе Мессіи о благоволеніи и справедливости для упорядоченія своихъ поступковъ, они не могли признать, чтобы въ божественномъ законѣ было какое-нибудь явное предписаніе, указывавшее, само по себѣ, что какое-либо дѣйствіе должно быть непремѣнно предпочтено другому, какъ исполненіе воли ихъ великаго Учителя.

Презрѣніе, съ которымъ судъ и духовенство относились къ этой невидной общинѣ мыслителей, до сихъ поръ охраняло ихъ отъ преслѣдованій. Но они достигли теперь какъ разъ той степени развитія и благосостоянія, которая въ особенности подвержена враждѣ богатыхъ и вліятельныхъ. Моментъ ихъ удаленія изъ Іерусалима былъ переломомъ въ ихъ будущей судьбѣ. Если бъ они продолжали искать непрочнаго убѣжища въ городѣ, принадлежащемъ Римской имперіи, это преслѣдованіе не замедлило бы наложить новый отпечатокъ на ихъ мнѣнія и ихъ поведеніе; узкіе взгляды и ограниченность сектантскаго патріотизма не преминули бы очень быстро исказить величественность и красоту ихъ страннаго и дивнаго состоянія.

Склонная по самому убѣжденію къ миру, исполненная презрѣнія и ненависти къ охваченной вырожденіемъ массѣ человѣчества, эта непышная община благихъ и счастливыхъ людей бѣжала въ уединеніе Ливана. Для Арабовъ и страстныхъ энтузіастовъ торжественность и величіе этихъ пустынныхъ прибѣжищъ имѣли особенную притягательную силу. Съ справедливостью ихъ представленій объ относительныхъ обязанностяхъ человѣка касательно своихъ собратьевъ въ обществѣ вполнѣ согласовалась необходимость работать въ невынужденномъ равенствѣ, чтобы лишить волка и тигра ихъ царства, и основать на ихъ гибели владычество разума и добродѣтели. Почитатели Бога Природы не нуждались болѣе въ сотнѣ рукъ, чтобы удовлетворить свои простыя нужды. Не будетъ

больше самая ихъ пища осквернена, какъ чумой, отравою нездоровой цивилизаціи. Они не будутъ болѣе обязаны, самымъ своимъ существованіемъ, порокамъ, страхамъ и безумію человѣчества. Ихъ промышленная дѣятельность будетъ отнынѣ руководиться соображеніями любви, дружбы и человѣколюбія. Работникъ посвятитъ свой трудъ своей возлюбленной или своему другу; другіе будутъ о немъ помнить, онъ самъ забудетъ о себѣ. «Богъ питаетъ голодныхъ вороновъ, и одѣваетъ лиліи долинъ, и однако самъ Соломонъ во всей славѣ своей не одѣвался такъ, какъ всякая изъ нихъ».

Римъ былъ теперь тѣнью того, что представлялъ въ прежніе дни. Свѣтъ величія и очарованія отошелъ. Послѣдніе и благороднѣйшіе изъ его поэтовъ и лѣтописцевъ предсказали въ агоніи грядущее его рабство и униженіе. Разрушеніе человѣческаго ума, болѣе страшное и зловѣщее, чѣмъ запустѣніе самыхъ торжественныхъ храмовъ, бросало мрачную тѣнь на золотые его дворцы, которую грубая толпа не могла видѣть, но которую могущественные ощущали со внутреннимъ трепетомъ и отчаяніемъ. Развалины Іерусалима лежали, незащищенныя и необитаемыя, среди горячихъ песковъ; всякій, кто посѣщалъ это проклятое и пустынное мѣсто, испытывалъ глубокій, торжественный ужасъ. Преданіе гласило, что среди обожженныхъ и раздробленныхъ обломковъ храма видѣли нѣкое существо: оно медлило, и тотъ, кто его видѣлъ, не смѣлъ назвать его человѣкомъ, существо со сжатыми руками, недвижными глазами, и съ лицомъ ужасающе-яснымъ. Не отъ воли прихотливой толпы, не отъ постоянныхъ колебаній тѣхъ, что многи и слабы, зависитъ перемѣна въ царствахъ и религіяхъ. Они не что иное, какъ безчувственные матеріалы, изъ которыхъ нѣкій утонченный умъ ваяетъ свои неумирающія статуи. Тѣ, которые управляютъ перемѣнами этой смертной сцены, произносятъ приговоры своего владычества съ трона тьмы и бури. Власть человѣка велика.

Послѣ многихъ дней скитаній, Ассассины раскинули свои шатры въ долинѣ Виѳсатанаи. Вѣка и вѣка эта плодоносная долина была сокрыта отъ предпріимчивыхъ исканій человѣка среди горъ, окутанныхъ вѣчными снѣгами. Люди старыхъ дней жили на этомъ мѣстѣ. Громады массивнаго мрамора и обломки колоннъ, которые въ своей цѣльности кажутся какъ бы созданіемъ какого-то разума, болѣе причудливаго и фантастическаго, чѣмъ грубый разумъ смертныхъ, лежали грудами около озера, и были видимы въ его прозрач-

ныхъ водахъ. Цвѣтущее апельсинное дерево, бальзамное дерево и безчисленные пахучіе кусты росли въ дикомъ состояніи въ заброшенныхъ входахъ. Ключевой водоемъ былъ переполненъ черезъ край, и среди роскошной растительности, принявшейся на его закраинахъ, жила въ нетревожимомъ жилищѣ желтая змѣя. Сюда приходили тигръ и медвѣдь, поспорить о тѣхъ, нѣкогда домашнихъ, животныхъ, которыя позабыли о безопасной неволѣ своихъ предковъ. И не было ни звука, когда голодный дикій звѣрь уходилъ въ отчаяніи отъ страшнаго запустѣнія этого мѣста, завершенію котораго онъ помогалъ, только слышался рѣзкій крикъ аиста, взлетѣвшаго съ какой-нибудь высокой колонны, да хлопанье его тяжелыхъ крыльевъ, и пронзительный крикъ голоднаго ястреба, лишившагося своей единственной жертвы. Знаніе древней мудрости было изваяно въ мистическихъ знакахъ на скалахъ. Человѣческій духъ и человѣческая рука работали здѣсь, чтобы свершить глубочайшія свои таинства. Это былъ храмъ, посвященный богу знанія и истины. Дворцы Халифовъ и Цезарей легко могли бы превзойти эти развалины въ величіи и пышности; но они были замысломъ насильниковъ и дѣломъ рабовъ. Проницательный геній и завершенная мудрость задумали и выполнили Виосатанаи. Въ каждой линіи ея фантастическихъ изваяній было глубокое и важное значеніе. Непонятная надпись, нѣкогда такая красивая и совершенная, столь исполненная поэзіи и исторіи, говорила, даже въ разрушеніи,— и въ словахъ ея были цѣлые томы таинственной важности и смутной значительности.

Но въ пору крайняго благосостоянія и пышности, искусство не могло бы соперничать съ природой въ долинѣ Виосатанаи. Все, что было чудеснаго и чарующаго, было собрано въ этомъ глубокомъ уединеніи. Зыбкія стихіи, казалось, навѣки были сдѣланы неподвижными въ формахъ удивленія и восторга. Ливанскія горы были раздѣлены въ своемъ основаніи, чтобы образовать эту счастливую долину: на каждой сторонѣ ихъ льдистыя высоты устремляли свои бѣлыя острія въ свѣтлое голубое небо, образуя, въ причудливыхъ своихъ очертаніяхъ, минареты, и разрушенные соборы, и колонны, источенныя временемъ. Далеко внизу серебряныя облака стремили свои блестящія громады во множественности прекрасныхъ очертаній и питали вѣчные источники, которые, какъ запястьями, украшали темные прорывы тысячами блистательныхъ радугъ, сбѣ-

гали въ тихую долину, потомъ, медля на многихъ полутемныхъ прогалинахъ въ рощахъ кипарисовъ и пальмъ, терялись въ озерѣ. Безмѣрность этихъ обрывистыхъ горъ, съ ихъ звѣздными пирамидами изъ снѣга, устраняла солнце, которое, даже въ полдень, не восходило надъ ихъ нависшими утесами. Но болѣе небесный и болѣе ясный свѣтъ отражался отъ ихъ ледяныхъ зеркалъ, которыя, пронзивши многоцвѣтныя облака, создавали свѣтъ и цвѣта неистощимаго разнообразія. Трава была постоянно зеленой, и одѣвала самые темные уголки пещеръ и лѣсныхъ пустынь.

Природа, ничѣмъ не тревожимая, сдѣлалась чаровницей этого уединенія; она собрала здѣсь все, что было волшебнаго и божественнаго въ арсеналѣ ея всемогущества. Въ самыхъ вѣтрахъ дышало здоровье, и обновленіе, и радостность юношеской смѣлости. Источники съ кристальной водой безпрерывно журчали среди ароматныхъ цвѣтовъ и смѣшивали свѣжесть съ благовоніемъ. Вѣтки сосенъ превращались въ изысканные инструменты, среди которыхъ каждое измѣнчивое дуновеніе вѣтерка пробуждало музыку съ новой, еще болѣе плѣнительной, мелодіей. Метеорные призраки, болѣе блестящіе, чѣмъ лунный свѣтъ, парили на кочующихъ облакахъ, и смѣшивались въ безпорядочной пляскѣ вокругъ извилистыхъ источниковъ. Голубые туманы принимали странныя очертанія подъ скалами и среди развалинъ, они медлили какъ привидѣнья съ неспѣшнымъ торжественнымъ шагомъ. Черезъ темную расщелину на востокѣ, въ длинной перспективѣ входа, блиставшаго безчисленными богатствами подземнаго міра, свѣтилъ широкій мѣсяцъ, изливая въ одномъ желтомъ непрерываемомъ потокѣ свои горизонтальные лучи. Ближе къ льдистому царству, осень и весна царили съ перемѣннымъ владычествомъ. Падали увядшіе листья и засоряли лѣнивые ключи; убійственные туманы висѣли алмазами надъ брызгами пѣны; а въ темный холодный вечеръ ворчащіе вѣтры создавали печальную музыку въ деревьяхъ. Далеко въ высотѣ сіялъ блестящій тронъ зимы, свѣтлый, холодный и ослѣпительный. Иногда тамъ было видно, какъ падаютъ снѣжные хлопья передъ заходящимъ шаромъ солнца безъ лучей, подобно дождю изъ огнистой сѣры. Водопады, задержанные въ своемъ теченіи, своими прозрачными колоннами какъ будто поддерживали мрачно-хмурыя скалы. Иногда льдистый вихрь захватывалъ съ на-

лету и мчалъ снѣжный прахъ, и мѣшалъ свистящіе метеоры, и разсыпалъ блестки въ разрѣженной атмосферѣ безъ лучей.

Такія странныя картины хаотическаго смятенія и тревожнаго величія, окружая и замыкая долину, усиливали восторги ея спокойствія. Никакой созерцатель не отказался бы повѣрить, что нѣкій духъ великаго разума и власти посвятилъ это дикое и прекрасное уединеніе глубокой и торжественной тайнѣ.

Непосредственное впечатлѣніе отъ такой картины, внезапно представшей созерцанію смертныхъ глазъ, рѣдко является предметомъ достовѣрнаго разсказа. Самый холодный рабъ обычая не можетъ не вспомнить нѣсколькихъ краткихъ мгновеній, въ которыя дыханіе весны или столпившіяся тучи заката, съ блѣднымъ мѣсяцемъ, свѣтящимъ чрезъ ихъ рунообразные края, пробудили въ немъ чувство природы. А тѣ, что вошли въ долину Внесатанаи, были Арабами; людьми, обожавшими природу и Бога природы; людьми, для которыхъ любовь и возвышенныя мысли, и воспріятія неиспорченнаго духа, были пищей и жизнью. При такой отчужденности отъ ненавистнаго міра, всякая мысль объ его сужденіи была вычеркнута быстротою ихъ пламенныхъ фантазій. Они перестали признавать, или не удостоивали обращать вниманіе на тѣ различія, которыми большинство низкихъ и вульгарныхъ умовъ сдерживаетъ бореніе души, тяготѣющей къ мѣсту своего успокоенія. Новый и священный огонь загорѣлся въ ихъ сердцахъ и запискрился въ ихъ взорахъ. Каждое движеніе, каждая черта, малѣйшее дѣйствіе были преобразованы въ благотвореніе и красоту священнымъ вдохновеніемъ, снизошедшимъ въ ихъ пытливыя души. Эпидемическое восхищеніе сообщилось черезъ каждое сердце съ быстротою вихря съ небесъ. Они уже были освобожденными отъ тѣлъ духами; они уже были жителями рая. Жить, дышать, двигаться—было однимъ ощущеніемъ безмѣрнаго восторга. Каждое новое созерцаніе своей природы придавало счастливому энтузіасту увеличенную мѣру восторга, и доставляло каждому органу, которымъ умъ соединенъ съ внѣшними вещами, острое и болѣе изысканное воспріятіе всего, что они содержатъ чарующаго и божественнаго. Любить, быть любимымъ—внезапно становилось ненасытимымъ голодомъ его природы, и обширный кругъ вселенной, содержащій существа столь неистощимо разнообразныя и порази-

тельное величіе превосходства, казался слишкомъ узкимъ и сомкнутымъ, чтобы насытить его.

О, горе, что эти посѣщенія духа жизни должны поколебаться и пройти! Что тѣ мгновенья, когда человѣческій умъ соразмѣренъ со всѣмъ, что́ онъ можетъ представить себѣ прекраснаго и могучаго, не должны продолжаться съ его существованіемъ и пережить самую многозначительную его перемѣну! Но красота весенняго заката, съ его нависшими занавѣсями очервленныхъ облаковъ, быстро таетъ, чтобъ вернуться въ неожиданный часъ и распространить какую-то облегчающую печаль надъ темными бодрствованіями отчаянія.

Это вѣрно, восхищеніе побѣдительнаго восторга, дѣлавшее каждое сердце среди Ассассиновъ вдохновеннымъ, болѣе не существуетъ. Необходимость ежедневныхъ занятій и будничная заурядность этой человѣческой жизни, нести бремя которой есть удѣлъ каждаго человѣческаго существа, не уничтожили, но погасили этотъ божественный и вѣчный огонь. И тѣмъ не менѣе впечатлѣнья, сообщенныя всѣмъ, были неизгладимыми и длительными; и черты ихъ общественнаго характера были созданы и рѣшены его вліяніемъ.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

I

Римъ палъ. Зданіе его сената сдѣлалось оскверненной берлогой воровъ и лжецовъ; его торжественные храмы превратились въ арену теологовъ-спорщиковъ. которые сдѣлали огонь и мечъ миссіонерами своихъ невообразимыхъ представленій. Городъ чудовища Константина, символизуя, въ послѣдствіяхъ своего основанія, порочность и слабость его преемниковъ, въ малой степени изобразилъ съ угасающей мощью существенное величіе Римскаго имени. Пилигримы новой и болѣе могущественной вѣры толпились, чтобы посѣтить заброшенныя развалины Іерусалима, и плакать и молиться предъ гробницею Вѣчнаго Бога. Земля была наполнена распрей, смутой и гибелью. Духъ безкорыстной добродѣтели вооружилъ одну половину цивилизованнаго міра противъ другой. Чудовищныя и отвратительныя вѣрованія отравили и наполнили порчей семейное чувство милосердія. Нельзя было больше взывать къ есте-

ственной любви, или къ старинной вѣрѣ, разъ были гордость, суевѣріе и месть.

Четыре столѣтія прошли, страшно отмѣченныя самыми злополучными насильственными переворотами. Между тѣмъ Ассассины, не тревожимые окружающею смутой, владѣли своей плодородною долиной и воздѣлывали ее. Постепенное дѣйствіе особаго состоянія ихъ жизни заставило созрѣть и усовершенствовало особенность и превосходство ихъ характера. Эта причина, переставшая дѣйствовать какъ непосредственное и властно завладѣвающее возбужденіе, сдѣлалась незамѣчаемымъ закономъ ихъ жизней, и поддерживающимъ началомъ ихъ натуръ. Ихъ религіозные помыслы тоже претерпѣли перемѣну, находившуюся въ соотвѣтствіи съ возбужденнымъ состояніемъ ихъ нравственнаго существа. Признательность, съ которой они должны были относиться къ благотворящему Духу, чьею силой ихъ ограниченные разумы не только были созданы, но и искуплены, менѣе часто обсуждалась, меньше являлась предметомъ замѣчаній или размышленія, но оттого она не перестала быть ихъ заботливымъ хранителемъ, руководителемъ ихъ завѣтныхъ мыслей, судилищемъ, къ которому могли бы взывать малѣйшія частности ихъ поведенія. Они научились отождествлять этого таинственнаго благотворителя съ тѣмъ восторгомъ, который возникаетъ среди пустынныхъ скалъ, и имѣетъ свое мѣстопребываніе одинаково и въ перемѣнчивыхъ краскахъ облаковъ, и въ самыхъ потаенныхъ уголкахъ пещеръ. Притомъ же будущее ихъ существовало лишь въ благословенномъ спокойствіи настоящаго. Время мѣрялось и создавалось пороками и злосчастіями людей, а между ними и счастливымъ народомъ Ассассиновъ не было ни подобія, ни сравненья, ихъ вѣчный миръ уже начался. Тьма отошла отъ раскрытыхъ вратъ смерти.

Практическія послѣдствія, созданныя ихъ вѣрой и ихъ состояніемъ въ области внѣшняго ихъ поведенія, были особенны и достопамятны. Вдали отъ великаго и разнообразнаго общества людей, уединенная долина сдѣлалась для нихъ священной обителью, гдѣ всѣ составляли какъ бы единое существо, не раздѣленное само въ себѣ никакою спорящею волей или мятежными страстями. Каждое побужденіе вело къ единой цѣли и тяготѣло къ одному предмету. Каждый отдавалъ свои силы для счастья другого. Ихъ общежитіе было сценой безпрерывныхъ состязаній благоволенія; не

бездушная и лишь внѣшне-принятая доброта человѣка торговаго, а подлинная благость явственно была запечатлѣна въ каждой чертѣ лица и въ каждомъ движеніи тѣла. Извращенность и бѣдствія тѣхъ, что жили за предѣлами горъ, окружавшихъ ихъ нетревожимыя владѣнія, были невѣдомы и невообразимы. Мало стѣсненные сложностями цивилизованнаго общества, они не знали, что̀ это значитъ—задумать какую-нибудь усладу, которая можетъ быть насыщена безъ участія, или которая не жаждетъ воспроизводить и безпрерывно возрождать себя. Путь добродѣтели и блаженства былъ ясенъ и безъ препонъ. Они ясно сознавали, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, что нужно предпочесть то поведеніе, которое явнымъ образомъ должно создать наибольшее наслажденіе. Они не могли себѣ представить какой-нибудь такой примѣръ, когда было бы ихъ обязанностью колебаться создать, во что бы то ни стало, величайшій и самый цѣльный восторгъ.

Отсюда проистекла особенность, не породившая необыкновенныхъ и многозначительныхъ послѣдствій лишь потому, что Ассассины удалились отъ общенія съ человѣчествомъ, которымъ властвовали иныя побужденія и правила поведенія, нежели справедливость и благоволеніе. Весьма было бы затруднительно для людей съ такой искренней и простой вѣрой оцѣнить конечные результаты своихъ намѣреній среди испорченнаго и рабскаго множества. Они были бы также затруднены въ выборѣ средствъ, съ помощью которыхъ намѣренія ихъ могли бы быть осуществлены. На самомъ дѣлѣ, создавать непосредственную боль или безпорядокъ ради будущаго блага—согласно съ чистѣйшей религіей и философіей, но это всегда, съ неизмѣнностью, вызываетъ чувство непобѣдимаго отвращенія у многихъ. Противъ пристрастій и отвращеній многихъ, Ассассинъ, случайно ставшій обитателемъ какой-нибудь цивилизованной общины, съ самаго начала затѣялъ бы непримиримую вражду. Онъ увидалъ бы себя вынужденнымъ усвоить средства, которыя показались бы этимъ людямъ ненавистными, во имя цѣли, относительно которой они не могли бы себѣ представить, что онъ долженъ былъ бы ею задаться. Сохранный и самозаключенный, какъ въ ковчегѣ, въ великолѣпіи и превосходствѣ своихъ представленій, незапятнанный, какъ свѣтъ небесный, среди людей онъ былъ бы жертвой клеветы и преслѣдованія. Неспособные различить побудительные его мотивы, они занесли бы его въ число самыхъ низкихъ и же-

стокихъ преступниковъ. Великаго, внѣ всякаго сравненія съ ними, они стали бы презирать его, въ самонадѣянности своего невѣжества. Такъ какъ духъ его горѣлъ непогасимой пламенностью, устремленной на ихъ благополучіе, они, среди хохота, насмѣшекъ, и оскорбленій, повели бы его, въ воздаяніе, какъ славнаго его учителя, къ позорной смерти.

Кто поколеблется уничтожить ядовитую змѣю, подползшую къ спящему его другу, кромѣ человѣка, который своекорыстно боится, какъ бы злокозненная гадина не обратила свою ярость на него самого? И если отравитель принялъ человѣческій обликъ, если ядъ отличается отъ змѣиной отравы лишь избыткомъ и размѣрами своей губительной силы, будетъ ли здѣсь спаситель и отмститель отступать и медлить, заключенный въ траншею суевѣріемъ, глася щимъ о непреложной божественности человѣка? Что же тогда,— человѣческая форма есть не что иное, какъ эмблема исключительнаго права на недозволительную порочность и злодѣянія? Можетъ ли власть, основанная на слабости угнетаемаго, или на невѣжествѣ обманутаго, обезпечивать право насильничать и опутывать ложью?

Подданный точно-осуществленныхъ правленій и ученикъ установленнаго суевѣрія не дерзаетъ ставить этотъ вопросъ. Ради окончательной выгоды, онъ претерпѣваетъ то, что онъ считаетъ временнымъ зломъ, и нравственное приниженіе человѣка не безпокоитъ его терпѣнія. Но религія Ассассина предписываетъ иныя добродѣтели, нежели покорное терпѣніе, если его собратья-люди стонутъ подъ гнетомъ насилія и настолько превратились въ животныхъ и отверженцевъ что не могутъ чувствовать своихъ цѣпей. Ассассинъ вѣритъ, что человѣкъ въ высокой степени есть человѣкъ и лишь тогда пользуется преимуществами своего исключительнаго положенія, когда его чувства и его сужденіе платятъ дань Богу Природы. А извращенный, и низкій, и порочный—что же такое они? Формы какого-то нечестиваго видѣнія, созданныя, какъ образы, Духомъ Зла; мечъ милосерднаго разрушителя долженъ былъ бы смести ихъ прочь изъ этого прекраснаго міра. Ничто, образы, созданные сномъ: привидѣнья злополучія и злодѣянія, смертоподобно царящія на блистательныхъ тронахъ и въ гнусныхъ притонахъ нищеты. Никакой Ассассинъ не согласился бы покорно вступать въ сдѣлку съ порокомъ, и въ холодномъ мягкосердечіи дѣлаться сводникомъ лжи

и запустѣнія. Его путь чрезъ пустыню цивилизованнаго общества былъ бы отмѣченъ кровью притѣснителя и губителя. Злосчастный, котораго народы съ трепетомъ обожаютъ, искупилъ бы въ его удушающей длани тысячу дозволенныхъ и достопочтенныхъ преступленій.

Сколькихъ святоликихъ лжецовъ и паразитовъ, одѣтыхъ въ торжественную одежду, его спасительная рука стащила бы съ ихъ сладострастнаго ложа и бросила бы въ холодный склепъ, чтобы зеленыя и многоногія чудовища липкой могилы могли съѣсть, не торопясь, очертанья закоренѣлой злокозненности и отвратительнаго коварства. Улыбающійся, съ открытымъ лицомъ, покрытый лоскомъ негодяй, котораго уважаетъ весь городъ, который промышляетъ ложью и убійствомъ, который покупаетъ ежедневное свое пропитаніе цѣною крови и слезъ людскихъ,—накормилъ бы вороновъ своими членами. Ассассинъ благородно добылъ бы пищи для безглазыхъ червей земли и для хищныхъ птицъ небесныхъ.

Но тутъ религіозное чувство и человѣческая любовь наполнили нравы этого уединеннаго народа неизреченной кротостью и благоволеніемъ. Смѣлость и дѣйственная добродѣтель, и негодованіе на порокъ, дѣлающееся бѣшеной и неудержимой страстью, спали, какъ землетрясенье, заключенное въ темницу, или какъ стрѣлы молніи, что висятъ въ золотыхъ вечернихъ облакахъ. Они были невинны, но они были способны на большее, чѣмъ невинность; ибо великія основы ихъ вѣры были постоянно признаваемы и припоминаемы; и въ этомъ безпрерывномъ покоѣ они не забыли творца ихъ блаженства.

Четыре столѣтія прошли такъ, не создавъ никакого событія. Люди умирали, и естественныя слезы проливались надъ ихъ могилой, въ печали, отъ которой сердце дѣлается лучше. Тѣ, которые были связаны любовью, уходили къ смерти вмѣстѣ, оставляя друзьямъ своимъ въ наслѣдство самую священную скорбь, и печаль, смѣшанную съ наслажденіемъ. Дѣти, бывшія на груди у матерей своихъ, сдѣлались людьми; люди умерли; множество дикихъ пышныхъ растеній, ростущихъ выше обиталищъ долины, сплели свои корни вокругъ ихъ забытыхъ костей. Ихъ спокойное состояніе было какъ лѣтнее море, нѣжная зыбь котораго не тревожитъ отраженныхъ звѣздъ и не порываетъ длинную спокойную линію радужныхъ красокъ заката.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Гдѣ такъ тихо, тамъ самое незначительное обстоятельство заносится въ память и помнится. Передъ шестымъ столѣтіемъ совершилось одно событіе, замѣчательное и странное. Юноша, по имени Альбединъ, блуждая въ лѣсу, былъ пораженъ рѣзкимъ крикомъ какой-то хищной птицы, и, взглянувши вверхъ, увидалъ, что среди переплетенныхъ вѣтвей кедра, капля за каплей, падаетъ кровь. Взобравшись на дерево, онъ увидалъ страшное и гнетущее зрѣлище. Обнаженное человѣческое тѣло было, какъ на колъ, насажено на сломанный сукъ. Оно было чудовищно изуродовано и обезображено; каждый членъ избитъ и согнутъ въ ужасающей искаженности, каждый членъ являлъ дышащій образъ самой болѣзненной насмѣшки надъ жизнью. Чудовищная змѣя почуяла среди горъ свою добычу— а сверху рѣялъ голодный коршунъ. Изъ этой груды обездоленной человѣчности свѣтились неземнымъ сіяньемъ два глаза, черные и несказанно блестящіе. Подъ запятнанными кровью бровями ихъ упорные лучи являли ясность безсмертной власти, собранную воедино энергію безсмертнаго ума, чарой сохраненнаго отъ разрушенія. Горькая усмѣшка отвращенія и презрѣнія искажала его израненныя губы; казалось, онъ холодно наблюдалъ и измѣрялъ все вокругъ; самообладаніе не покинуло раздробленную груду жизни.

Юноша приблизился къ вѣтви, на которой висѣло дышащее тѣло. По мѣрѣ того какъ онъ приближался, змѣя съ неохотой развернула свои блистающія звенья и поползла назадъ въ свое темное и отвратительное подземелье. Коршунъ, съ нетерпѣніемъ ждавшій своей ѣды, полетѣлъ къ горѣ, и она зазвучала откликами эхо отъ хриплыхъ криковъ. Поднялся угрюмый вѣтеръ, и вѣтви кедра слабо заскрипѣли подъ движущейся своею тяжестью. Все другое хранило мертвое молчаніе.

Наконецъ, исшелъ голосъ изъ этого изуродованнаго человѣка. Онъ захрипѣлъ въ сиплыхъ ропотахъ изъ его горла и его легкихъ; слова его были заключеніемъ какого-то страннаго таинственнаго монолога. Они были обрывисты, между ними не было видимой связи, какъ будто они заполняли огромные пробѣлы непередаваемыхъ представленій.

«Великій насильникъ осмѣянъ и пораженъ, даже въ торжествѣ.

Радость! радость! его пытаемому врагу! Торжество червю, котораго онъ затаптываетъ своею ногой. Ха! Его самоубійственная рука могла бы также успѣшно дерзнуть уничтожить могучую скрѣпу вещей! Восторгъ и восхищеніе сидятъ передъ закрытыми вратами смерти! — Я не боюсь быть подъ ихъ черной и страшной тѣнью. Здѣсь твоя власть безсильна! Ты создаешь, — мнѣ надлежитъ губить и разрушать.—Я былъ твой рабъ—я твой равный, и твой врагъ.— Тысячи дрожатъ передъ твоимъ тономъ, которыя, по моему голосу, осмѣлятся сорвать золотой вѣнецъ съ твоей нечестивой головы!» Онъ умолкъ. Молчаніе полдня поглотило его слова. Альбедиръ прильнулъ плотнѣе къ дереву — онъ не могъ отъ страшной тревоги отвести свои глаза. Онъ оставался безмолвнымъ, въ возмущеньи глубокаго, наползавшаго на него, ужаса.

«Альбедиръ!» проговорилъ тотъ же самый голосъ: «Альбедиръ, во имя Бога, приблизься. Тотъ, кто дозволилъ, чтобы я палъ, слѣдить за тобою;—кроткіе и милосердные духи нѣжной человѣческой любви не услаждаются пыткой и ужасомъ. Во имя жалости, приблизься, во имя твоего благого Бога, приблизься, Альбедиръ!» Интонаціи были мягки и ясны, какъ отвѣты Эоловой музыки. Они струились къ слуху Альбедира, какъ теплое дыханіе Іюня, что медлитъ въ ровныхъ, какъ поляна, рощахъ, окутывая все своею мягкостью. Слезы нѣжной растроганности брызнули изъ его глазъ. Это былъ какъ бы голосъ любимаго друга. Казалось, что товарищъ его дѣтства, братъ его души, взывалъ къ помощи, и съ паѳосомъ медлительно увѣщевалъ. Онъ не противился магическому побужденію, но приблизился къ этому мѣсту и съ заботливостью попытался содвинуть раненаго. Осторожно онъ спустился съ дерева съ злосчастною своею ношей, и сложилъ ее на землю.

Послѣдовалъ промежутокъ страннаго молчанія. Испугъ и холодный ужасъ мало-по-малу уступили мѣсто болѣе нѣжнымъ ощущеніямъ бурнаго состраданія, какъ вдругъ онъ опять услышалъ серебряные переливы того же самаго чарующаго голоса. «Не плачь обо мнѣ, Альбедиръ! Какой несчастный былъ такъ безконечно потерянъ, чтобы не быть въ состояніи вдохнуть миръ и обновленіе изъ такого рая! Я раненъ, и я мучаюсь; но, разъ я нашелъ убѣжище въ этомъ уединеніи, и друга въ тебѣ, я болѣе достоинъ зависти, чѣмъ состраданія. Отнеси меня тайно въ твой домъ: я не хотѣлъ бы тревожить своимъ появленіемъ твою крот-

кую подругу. Она должна полюбить меня болѣе нѣжно, чѣмъ брата. Я буду сверстникомъ вашихъ дѣтей; я уже отношусь къ нимъ съ отцовской любовью. Мое появленіе не должно быть разсматриваемо, какъ что-то связанное съ тайной и съ изумленіемъ. Если только люди не склонны къ ошибкѣ и преувеличенію, что̀ можетъ быть, на самомъ дѣлѣ, менѣе необъяснимымъ, какъ то, что какой-то чужеземецъ, блуждая по Ливану, упалъ со скалъ въ долину? Альбедиръ», продолжалъ онъ, и его голосъ, становясь болѣе глубокимъ, сдѣлался страшно-торжественнымъ, «въ отвѣтъ на привязанность, съ которой я душою своею лелѣю тебя и твоихъ, ты долженъ въ этомъ оказать мнѣ повиновеніе».

Альбедиръ слѣпо повиновался; даже и мысль не имѣла власти отказывать въ своемъ уваженіи. Онъ снова поднялъ свою ношу, и направился къ дому. Онъ выслѣдилъ минуту, когда Халидъ должна была отлучиться, и доставилъ чужеземца въ помѣщеніе, приспособленное для принятія тѣхъ, кто случайно посѣщалъ ихъ жилище. Тотъ пожелалъ, чтобы дверь была плотно заперта, и чтобы до слѣдующаго утра къ нему никто не приходилъ.

Альбедиръ съ нетерпѣніемъ ждалъ возвращенія Халидъ. Необычайная тяжесть даже такой преходящей тайны тяготѣла надъ его простодушной и неискушенной натурой, какъ губительное цѣпкое проклятіе. Интонаціи чужеземца убаюкали его, погрузивъ его въ сладостную скованность смутной и восхитительной фантазіи. Чаянія, такія призрачныя и воздушныя, что они остались безъ названія, окутали его умственный ликъ, и, будучи призраками, они преобразовали существо его по своему образу. Однако, умъ его еще не былъ чуждъ безпокойства и смущенія. Это былъ смутный потокъ мысли, надъ зыбкими волнами котораго неизслѣдимая судьба, казалось, царила, ведя неумолимою рукой непредвидѣнныя ея измѣненія. Альбедиръ задумчиво шагалъ по саду, прилегавшему къ его дому, и въ мысляхъ перебиралъ каждое обстоятельство, относившееся къ событію дня. Съ напряженной силой онъ возсоздавалъ въ воображеніи мельчайшія подробности сцены. Напрасно — онъ былъ рабомъ внушеній, которыми нельзя было управлять. Изумленіе, ужасъ, испугъ, бурное сочувствіе и таинственная возвышенность души—смели прочь всякое дѣйствіе сужденія, и съ оглушительной силой вытѣснили всякую попытку разсужденья или разсмотрѣнія.

Его мечтанья были прерваны, наконецъ, возвращеніемъ Халидъ. Она вошла въ домъ, въ этотъ міръ безмятежнаго покоя, въ увѣренности, что перемѣна такъ же скоро можетъ захватить вѣчный міръ, какъ смутить это неприкосновенное святилище. Она вздрогнула, увидавъ Альбедира. Безъ предисловія или какого-либо замѣчанія, онъ разсказалъ ей съ жадной поспѣшностью событія дня. Спокойный духъ Халидъ едва могъ поспѣвать за бездыханной быстротой его повѣствованія. Она была ошеломлена и исполнена трепетнаго изумленія уже оттого, что она слышала его смутный говоръ, и видѣла его взволнованное лицо.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

На слѣдующее утро Альбедиръ всталъ съ восходомъ солнца и навѣстилъ чужеземца. Онъ нашелъ его уже вставшимъ, онъ былъ занятъ украшеніемъ комнатной рѣшетки цвѣтами изъ сада. Было что-то въ его манерахъ и въ томъ, какъ онъ отдавался этому занятію, съ особенной выразительностью указывавшее на полное его знакомство съ данной обстановкой. Жилище Альбедира, казалось, было обычнымъ его домомъ. Онъ обратился къ своему хозяину въ томъ тонѣ веселаго и сочувственнаго привѣтствія, который всегда безошибочно сообщаетъ силой сочувствія тѣ ощущенія, изъ которыхъ оно возникло.

«Другъ мой», сказалъ онъ: «бальзамъ росы въ вашей долинѣ нѣженъ; или этотъ садъ есть излюбленное мѣсто для вѣтровъ, гдѣ они сговариваются разсыпать лучшія благовонія, какія только они могутъ найти? Подойди, дай мнѣ на минутку твою руку, я чувствую себя очень слабымъ». Онъ сдѣлалъ движеніе, чтобы идти впередъ, но, какъ бы будучи неспособенъ идти дальше, сѣлъ на сидѣнье, находившееся около двери. Въ теченіи нѣсколькихъ мгновеній они сохраняли молчаніе, если обмѣнъ веселыми и счастливыми взглядами можетъ быть названъ молчаніемъ. Наконецъ, онъ замѣтилъ лопату, прислоненную къ стѣнѣ. «У тебя только одна лопата, братъ», промолвилъ онъ: «я думаю, что у тебя только по одному изъ всѣхъ орудій для обработки земли. Площадь сада тоже занимаетъ такое пространство, что ее необходимо расширить. Этому нужно быстро помочь. Я не могу заработать свой ужинъ ни се-

годня, ни завтра; но потомъ я не намѣренъ ѣсть хлѣбъ даромъ. Я знаю, что ты охотно бы выполнилъ добавочный трудъ, котораго потребовало бы мое пропитаніе; я знаю также, что ты чувствовалъ бы извѣстнаго рода удовольствіе, уставая такимъ образомъ отъ работы, но я буду оспаривать у тебя такія удовольствія, и только такія удовольствія». Его глаза были нѣсколько утомленными, и тонъ его голоса медлительнымъ, когда онъ говорилъ.

Въ то время какъ они такъ бесѣдовали, къ нимъ подошла Халидъ. Чужеземецъ сдѣлалъ ей знакъ, чтобы она сѣла рядомъ съ нимъ, и, взявъ ея руки въ свои, внимательно посмотрѣлъ на ея кроткое лицо. Халидъ спросила его, освѣжилъ ли его сонъ. Онъ въ отвѣтъ разсмѣялся смѣхомъ беззаботнаго и безобиднаго веселья и, положивши одну изъ ея рукъ въ руки Альбедира, сказалъ: «Если только это сонъ, здѣсь въ этой благовонной долинѣ, гдѣ насъ окружаютъ эти нѣжныя улыбки, и слышатся голоса тѣхъ, которые любятъ—если только это видѣнія сна, сестра,—тѣ, которые легли въ злополучіи, встанутъ болѣе легкими, чѣмъ мотыльки. Я пришелъ изъ смятенія міра, настолько отличнаго отъ этого! Я неожиданно среди васъ, и вокругъ меня такая картина, какой никогда мнѣ не смѣло обѣщать мое воображеніе. Я хочу остаться здѣсь—я не уйду отсюда». Халидъ, очнувшись отъ восхищенья и изумленія, которыми наполнили ее слова и манеры чужеземца, увѣрила его, какое счастье для нея будетъ въ этомъ добавленіи къ ея обществу. Альбединъ, который еще болѣе, чѣмъ Халидъ, былъ взволнованъ событіемъ его появленія, сталъ усиленно увѣрять его, что онъ исполнилъ ихъ пламеннымъ чувствомъ привязанности. Чужеземецъ кротко улыбнулся, услыхавъ, съ какой необычною пылкостью искренности они обращались къ нему, и всталъ, чтобы удалиться, но Халидъ промолвила: «Ты не видалъ нашихъ дѣтей, Маимуну и Абдаллу. Они у воды, играютъ съ своей любимой змѣей. Намъ нужно только перейти вонъ тотъ небольшой лѣсокъ и обогнуть дорогу, высѣченную въ скалѣ, нависшей надъ озеромъ, и мы найдемъ ихъ въ укромномъ уголкѣ, который образованъ тамъ берегомъ, и который какъ бы замкнутъ расщелиной между скалъ и лѣсовъ. Какъ ты думаешь, ты могъ бы дойти туда?» —«Чтобы увидѣть твоихъ дѣтей, Халидъ? Я думаю, что я могъ бы, если я обопрусь на руку Альбедира, и на твою.»—И они пошли такъ черезъ лѣсъ старыхъ кипарисовъ, перемѣшанныхъ съ яркостью

многоцвѣтныхъ цвѣтковъ, которые блистали, какъ звѣзды, на его романтическихъ прогалинахъ. Они пересѣкли зеленый лугъ и вошли въ пространство между обрывистыми разсѣлинами, прекрасными въ своей одеждѣ благовонныхъ кустарниковъ. Они пришли, наконецъ, пройдя дорогу, вившуюся по запутанностямъ маленькой пустыни, къ берегамъ озера. Они стояли на скалѣ, нависшей надъ нимъ; отсюда открывалась перспектива на всѣ чудеса природы и искусства, которыя окружали и украшали его берега. Чужеземецъ посмотрѣлъ на него съ лицомъ, неизмѣненнымъ какимъ-либо ощущеніемъ, но, казалось, задумчиво и созерцательно. Между тѣмъ какъ онъ глядѣлъ, Халидъ пылко пожала его руку и сказала тихимъ, но страстнымъ голосомъ: «Смотри, смотри, вонъ они!» Онъ обернулся къ ней, но глаза ея были обращены не къ нему. Она глядѣла внизъ—ея губы были раздѣлены чувствами, владѣвшими ея душой—ея дыханіе было правильно, но было слышно. Она склонилась надъ обрывомъ, и темные ея волосы, вися вдоль ея лица, оттѣняли тонкія ея черты, воодушевленныя такой любовью, которая превышаетъ способность быть выраженной. Чужеземецъ слѣдилъ за ея глазами, и увидалъ, что ея дѣти были на прогалинѣ внизу; потомъ, поднявъ глаза, онъ обмѣнялся съ ней прочувствованными взглядами, выражавшими привѣтствіе и восхищеніе. Мальчику, повидимому, было лѣтъ восемь, дѣвочка была года на два моложе. Въ красотѣ ихъ тѣла и лица было что-то настолько божественное и странное, что она завладѣвала чувствами созерцателя, наполняя ихъ, какъ нѣкій чудесный сонъ, невыносимымъ восхищеніемъ. Они были одѣты въ просторную льняную одежду, черезъ которую были видны изящныя соразмѣрности ихъ формъ. Не зная, что за ними слѣдятъ, они продолжали свое занятіе. Они выстроили маленькую лодку изъ древесной коры, придѣлали къ ней паруса изъ сплетенныхъ перьевъ и пустили по водѣ. Они сидѣли около бѣлаго плоскаго камня, на которомъ кольцомъ свернулась маленькая змѣя, и когда работа была окончена, они встали и позвали змѣю мелодическими звуками, такъ что она поняла ихъ рѣчь. Ибо она развернула свои сіяющія звенья и вползла въ лодку; едва только она въ нее вошла, какъ дѣвочка отвязала ленту, державшую ее у берега, и она поплыла. Тогда они побѣжали кругомъ и кругомъ маленькой бухточки, хлопая въ ладоши и издавая мелодическіе причудливые звуки, на которые змѣя, казалось, отвѣчала

неустаннымъ блескомъ своей шеи. Наконецъ, отъ берега пришло дуновеніе вѣтра, и лодка измѣнила свое направленіе, устремившись къ выходу изъ бухточки, змѣя это замѣтила, прыгнула въ воду, и приплыла къ маленькимъ дѣтскимъ ногамъ. Дѣвочка запѣла ей, и она прыгнула къ ней на грудь, она обвила ея прекрасныя руки надъ грудью, какъ будто желая ласкать ихъ именно здѣсь. Тогда мальчикъ отвѣтилъ пѣсней, и она соскользнула съ ея рукъ и поползла къ нему. Въ то время какъ они этимъ были заняты, Маимуна взглянула вверхъ, и, увидавъ на утесѣ своихъ родителей, побѣжала имъ навстрѣчу по крутому пути, вившемуся вокругъ; и Абдалла, оставивъ змѣю, радостно послѣдовалъ за ней.

# 1818.

# КОЛИЗЕЙ.

*ОТРЫВОКЪ.*

Въ полдневный часъ, въ праздникъ Пасхи, нѣкій старикъ, въ сопровожденіи дѣвушки, повидимому своей дочери, вошелъ въ Колизей, въ Римѣ. Они тотчасъ прошли черезъ арену и, желая найти какую-нибудь впадину среди сводовъ южной части развалинъ, выбрали для сидѣнья одну упавшую колонну, и, взявшись за руки, сидѣли такъ, въ молчаливомъ созерцаніи картины. Но глаза дѣвушки были устремлены на губы ея отца, и лицо его, возвышенное и нѣжное, но неподвижное, какъ какой-нибудь Праксителевскій образъ величайшаго изъ поэтовъ, наполняло безмолвный воздухъ улыбками, не отраженными отъ внѣшнихъ формъ.

Былъ великій праздникъ Воскресенія, и все туземное населеніе Рима, вмѣстѣ со всѣми иностранцами, сошедшимися со всѣхъ концовъ земли, чтобы созерцать его празднованіе, собралось вокругъ Ватикана. Самая страшная религія міра выступила, окруженная пышными гербами смертнаго величія, и человѣчество собралось, чтобы дивиться и благоговѣйно преклоняться передъ созданіями собственной своей силы. Ни одного праздношатающагося не было видно на улицахъ и на травяныхъ лужайкахъ, ведущихъ къ Колизею. Отецъ и дочь отыскали это мѣсто немедленно по своемъ прибытіи.

Фигура, которую можно было видѣть въ Римѣ лишь ночью или въ мѣстахъ уединенныхъ, среди опустѣлыхъ храмовъ Форума, или проскользающей среди поросшихъ сорными травами галлерей Колизея, пересѣкла ихъ путь. Этотъ призракъ, хотя и исхудалый, являлъ первичныя черты изысканнаго изящества, и былъ облеченъ въ древнюю хламиду, наполовину скрывавшую его лицо; бѣлоснѣжныя ноги были обуты въ сандаліи изъ слоновой кости, тонко изваянныя въ видѣ двухъ женскихъ фигуръ, крылья которыхъ

встрѣчались на пяткѣ, и жадныя полураскрытыя губы которыхъ, казалось, дрожали, томительно желая встрѣчи. Это было одно изъ тѣхъ лицъ, которыя, разъ увидѣвъ, уже не забудешь никогда. Ротъ и очертанья подбородка напоминали пылкую и страстную нѣжность изваяній Антиноя, но, вмѣсто изнѣженной тупости глазъ, и узкой гладкости лба, свѣтилось выраженіе глубокой и проницающей мысли; лицо было ясное и открытое, и глаза у него были глубокіе, какъ два колодца хрустальной воды, которая отражаетъ всевидящія небеса. Надо всѣмъ было робкое выраженіе женственной нѣжности и нерѣшительности; оно было въ противорѣчіи и все же странно сочеталось съ отвлеченнымъ и безстрашнымъ характеромъ, господствовавшимъ въ его внѣшнемъ обликѣ и движеніяхъ.

Онъ избѣгалъ, до степени чрезмѣрной, всякихъ сношеній съ Итальянцами, языкъ которыхъ, повидимому, онъ едва понималъ, но иногда его видали разговаривающимъ съ какимъ-нибудь изысканнымъ чужестранцемъ, чей внѣшній видъ и жесты могли привлечь его къ себѣ во время его торжественныхъ прогулокъ. Онъ говорилъ по-латински, и въ особенности по-гречески, бѣгло и съ своеобразнымъ, но пріятнымъ акцентомъ; онъ, повидимому, также зналъ сѣверные языки Европы. Съ нимъ не было связано никакого обстоятельства, которое давало бы хоть малѣйшее указаніе на его родину, его происхожденіе и его занятія. Одежда его была причудлива, но блистательна и торжественна. Онъ всегда былъ одинъ. Римскіе литераторы считали его достопримѣчательностью, но въ его манерахъ было что-то непостижимое, и въ то же время внушительное, что держало ихъ въ отдаленіи, не позволяя имъ вторгаться въ его міръ и заговаривать съ нимъ. Поселяне, съ которыми онъ изрѣдка встрѣчался, странно смѣшивая религіозныя и историческія представленія, какъ это обычно въ Италіи, называли его Il Diavolo di Bruto.

Такова была фигура того, кто прервалъ созерцаніе чужеземцевъ, если они предавались таковому, обратившись къ нимъ съ ясными и точными, но несвойственными духу языка, фразами природной ихъ рѣчи:—«Чужеземцы, васъ двое; взгляните на третьяго, въ этомъ большомъ городѣ для него одного зрѣлище этихъ мощныхъ развалинъ болѣе восхитительно, чѣмъ заблужденья суевѣрія, разрушившаго ихъ».

«Я ничего не вижу», сказалъ старикъ.

«Такъ что же вы здѣсь дѣлаете?»

«Я слушаю нѣжное пѣніе птицъ, и звукъ дыханія моей дочери настраиваетъ меня, какъ мягкій ропотъ воды—и я ощущаю согрѣтый солнцемъ вѣтеръ—и въ этомъ для меня услада».

«Несчастный старикъ, вы не знаете, что это развалины Колизея?»

«Увы, чужеземецъ», сказала дѣвушка, голосомъ печальнымъ, какъ музыка, «не говорите такъ—онъ слѣпой».

Глаза чужеземца мгновенно наполнились слезами, и черты его лица умягчились. «Слѣпой!» воскликнулъ онъ тономъ страданія, который былъ болѣе чѣмъ оправданіемъ; и онъ сѣлъ въ сторонѣ, на полосѣ ступеней раздробленной и покрытой мхомъ лѣстницы, вившейся среди лабиринтовъ развалинъ.

«Милая Елена», сказалъ старикъ: «ты не сказала мнѣ, что это Колизей».

«Какъ могла я сказать тебѣ это, дорогой мой отецъ, когда я этого не знала? Я какъ разъ хотѣла спросить о дорогѣ въ это зданіе, когда мы вошли въ этотъ кругъ руинъ, и до тѣхъ поръ, когда чужеземецъ заговорилъ съ нами, я сохраняла молчаніе, побѣжденная величіемъ того, что я вижу».

«Ты обыкновенно описываешь мнѣ, милое дитя мое, предметы, доставляющіе тебѣ наслажденіе. Ты наряжаешь ихъ въ нѣжное сіяніе твоихъ словъ, и, пока ты говоришь, я ощущаю свой недугъ, держащій меня въ такой желанной зависимости, лишь какъ благословеніе. Почему ты безмолвствовала теперь?»

«Я не знаю—сперва удивленіе и восторгъ передъ этимъ зрѣлищемъ, потомъ слова чужеземца, и потомъ мысль о томъ, что онъ сказалъ, и какъ онъ посмотрѣлъ,—и теперь, дорогой мой отецъ, твои собственныя слова».

«Хорошо, скажи мнѣ теперь, что ты видишь?»

«Я вижу огромный кругъ сводовъ, построенныхъ надъ сводами, кругомъ лежатъ разбитые камни, которые составляли нѣкогда часть этой плотной стѣны. Въ расщелинахъ и на сводчатыхъ кровляхъ ростетъ множество кустарниковъ, дикія оливы и мирты, чаща терновника, и перепутанныя сорныя травы и растенія, которыхъ я раньше никогда не видала. Камни непомѣрно массивны, и они выступаютъ одинъ изъ другого. Въ стѣнѣ есть страшныя трещины и широкія окна, черезъ которыя видно голубое небо. Здѣсь, кажется, болѣе тысячи арокъ, однѣ разрушенныя, другія цѣлыя, и всѣ онѣ

непомѣрно высоки и велики. Нѣкоторыя раздроблены, и стоятъ огромными грудами, и на крошащихся ихъ верхушкахъ гнѣздятся поросли. Вокругъ насъ лежатъ громадныя колонны, разрушенныя и безформенныя, и обломки капителей и карнизовъ, украшенныхъ тонкими изваяніями».

«Оно открыто для голубыхъ небесъ?» спросилъ старикъ.

«Да. Мы видимъ текучую глубину неба надъ нами черезъ расщелины и окна; и цвѣты, и кусты, и травы, и ползучій мохъ питаются дождемъ, который доходитъ до нихъ безпрепятственно. Сверху голубое небо, широкое, свѣтлое, голубое небо; оно течетъ сквозь большіе разрывы въ высотѣ, и сквозь нагія вѣтви мраморныхъ узлистыхъ смоковницъ, и сквозь листы и цвѣты плевеловъ, вплоть до темныхъ сводовъ внизу. Я вижу, я чувствую, какъ свѣтлые и проницающіе лучи наполняютъ вселенную, и насыщаютъ внушающій радость вѣтеръ жизнью и свѣтомъ, и бросаютъ покровъ своего блеска на все—даже на меня. Да, а сквозь самую высокую расщелину видно, какъ виситъ полдневный убывающій мѣсяцъ, какъ бы нависаетъ изъ плотныхъ небесъ, и это показываетъ, что воздухъ совсѣмъ прозраченъ, и ты чувствуешь, я этому радуюсь».

«Что ты видишь еще?»

«Ничего».

«Ничего?»

«Только мшистую изумрудную землю, испещренную пучками росистаго клевера, забѣжавшаго въ щели разбитыхъ сводовъ и возникшаго вокругъ одинокихъ верхушекъ руины».

«Какъ будто травянистыя ложбины, покрытыя нѣжной короткою травой, которая вьется среди сосновыхъ лѣсовъ и пропастей въ Савойскихъ Альпахъ?»

«Да, отецъ, твои глаза обладаютъ зрѣніемъ болѣе яснымъ, чѣмъ мои».

«А огромныя разрушенныя арки, распавшіяся массы стремящейся внизъ руины, поросшія кустарниками, и болѣе похожія на разсѣлины въ горахъ, раздавшихся отъ землетрясенья, чѣмъ на слѣды того, что было человѣческимъ искусствомъ—что они такое?»

«Нѣчто чудесное и внушающее благоговѣйный страхъ».

«Не пещеры ли это, такія, какія могъ бы себѣ выбрать дикій слонъ въ Индійской глуши, чтобы укрыть тамъ своихъ дѣтенышей; какія, если бы море залило землю, самыя мощныя чудовища глубинъ могли бы превратить въ свои обширные покои?»

«Отецъ, твои слова выражаютъ въ образахъ то, что я хотѣла бы выразить, но, увы, не могу».

«Я слышу шелестъ листьевъ, и ропотъ водъ, — но дождь не идетъ,—какъ будто это быстрыя капли водомета среди лѣсовъ.»

«Сверху изъ грудъ развалинъ течетъ, надъ головами нашими, какъ я думаю, вода, скопившаяся среди расщелинъ отъ дождей».

«Питомецъ человѣческаго искусства, заброшенный и лишенный его заботливости, и превращенный чарами Природы въ подобіе ея собственныхъ созданій, и предназначенный на то, чтобы дѣлить ихъ безсмертіе! Превращенный въ разбитый утесъ, съ лѣсистыми ложбинами, которыя нависли своими лабиринтными прогалинами, и распаденьемъ превращенный въ обрушивающіяся пропасти! Даже облака, захваченныя въ своемъ пути утесистой его вершиной, питаютъ вѣчные его источники своимъ дождемъ. Судя по той колоннѣ, на которой я сижу, я долженъ думать, что нѣкогда это зданіе увѣнчивалось храмомъ или театромъ, и что въ священные дни толпа всходила на этотъ утесистый путь, для зрѣлища или жертвоприношенія... Да, таково оно было *). Елена, что это за взмахи крыльевъ?»

«Это дикіе голуби возвращаются къ своимъ птенцамъ. Ты не слышишь, какъ воркуютъ они въ своихъ гнѣздахъ?»

«Слышу, это рѣчь ихъ счастья. Они счастливы, какъ мы, дитя,

---

*) Воспоминаніе о томъ употребленіи, для котораго зданіе могло предназначаться, не противорѣчитъ этимъ ощущеніямъ. Время набросило пурпурную тѣнь свою на эту картину, и ничто болѣе не зримо, кромѣ широкаго и вѣчно-длящагося характера человѣческой силы и генія, въ чемъ есть залогъ всего, что будетъ достойнымъ изумленья и любви въ вѣкахъ еще грядущихъ. Торжественные храмы, гдѣ собирался сенатъ міра, дворцы, тріумфальныя арки, и облаками окруженныя колонны, обремененныя скульптурными лѣтописями завоеванья и господства,— какія дѣйствія и совѣщанія призваны они были окружать и увѣковѣчивать? Суевѣрные обряды, которые въ самой мягкой своей формѣ оскорбляютъ разсудокъ и затемняютъ нравственное чувство человѣчества: замыслы широко-задуманныхъ убійствъ, и опустошенія, и злоправленія, и рабства: и, наконецъ, эти замыслы, доведенные до своего ужасающаго завершенія, и человѣческое существо, возвращающееся среди празднества и торжествующей радости, съ тысячами и тысячами обращенныхъ въ рабство и обездоленныхъ собратьевъ, прикованныхъ за его колесницей, являющее, какъ залогъ славы, работу вѣковъ и почитаемыя созданія генія, опрокинутыя животной силой, помѣщенной въ его рукѣ, какъ мечъ, и размышленье страшное и отвратительное!—этотъ человѣкъ самъ,—способный на нѣжнѣйшія и наилучшія ощущенія, вдохновленный убѣжденіемъ, что онъ совершилъ добродѣтельное дѣяніе. Мы все это помнимъ...

только въ другомъ родѣ. Они не знаютъ ощущеній, которыя эта руина возбуждаетъ въ насъ. Но для нихъ наслажденіе жить въ ней; и смѣна ея формъ, когда они мелькаютъ мимо нихъ, связана въ ихъ умахъ съ сочетаніями, для нихъ священными, какъ эти— для насъ. Внутренняя природа каждаго существа окружена кругомъ, за который не перейти его собратьямъ; и это-то отталкиваніе и составляетъ несчастіе жизни. Но есть кругъ, который сочетаетъ, какъ есть кругъ, который взаимно разъединяетъ все, что чувствуетъ. И, что касается человѣка, его общественное и частное счастье состоитъ въ уменьшеніи окружности, включающей существа, похожія на него, пока они не станутъ съ нимъ одно, и онъ съ ними. Именно въ силу того, что мы вступаемъ въ міръ размышленій, замысловъ и судебъ чего-то, что внѣ насъ, созерцаніе развалинъ человѣческой власти вызываетъ возвышающее чувство страшнаго величія и красоты. Именно поэтому океанъ, ледникъ, водопадъ, буря, вулканъ, имѣютъ каждый въ себѣ нѣкій духъ, который оживляетъ наше существо, заставляя его оконечности какъ бы звенѣть радостью. Именно поэтому пѣніе птицъ, и качаніе листьевъ, ощущенье пахучей земли внизу, и свѣжесть живительнаго вѣтра вокругъ возбуждаютъ чувство нѣжности. И это Любовь. Это религія вѣчности, приверженцы которой были изгнаны изъ толпы человѣчества. О Власть!» воскликнулъ старикъ, поднимая свои незрячіе глаза къ неослѣпляющему солнцу, «ты, что проникаешь все, ты, безъ чего этотъ бдительный міръ былъ бы лишь слѣпымъ и безформеннымъ хаосомъ, Любовь, Создатель Блага, Богъ, Царь, Отецъ! Другъ этихъ твоихъ почитателей! Два одинокія сердца тебя призываютъ, да не будутъ они раздѣлены никогда! Если распри людей были ихъ злополучіемъ; если давать и искать счастья, что въ тебѣ, было ихъ выборомъ и удѣломъ; если, созерцая эти величественные памятники власти ихъ рода, они видятъ тѣнь и пророчество того, чему ты могъ повелѣть возникнуть; если справедливость, свобода, красота, правда, являющіяся твоими ступенями, были ими отыскиваемы, не раздѣляй ихъ! Вѣдь тебѣ надлежитъ соединять, увѣковѣчивать; заставлять пережить предѣлы могилы—тѣхъ, что оставили среди живыхъ знаки памяти о тебѣ. Когда вотъ эта форма будетъ безчувственной пылью, пусть надежды, и желанія, и восторги, оживляющіе ее теперь, никогда не изсякаютъ въ моемъ ребенкѣ; такъ же какъ, если бы дочь моя была снесена въ могилу, моя память

была бы запечатлѣннымъ памятникомъ всѣхъ ея неизреченныхъ достоинствъ».

Лицо старика и его жесты, отмѣченные сіяньемъ вдохновенныхъ его словъ, окутались, когда онъ умолкъ, болѣе чѣмъ обычнымъ спокойствіемъ,—онъ услыхалъ, что дочь его рыдаетъ, и вспомнилъ, что онъ заговорилъ о смерти.

«Отецъ мой, могу ли я пережить тебя?» сказала Елена.

«Не будемъ говорить о смерти», промолвилъ старикъ, внезапно мѣняя свой тонъ. «Гераклитъ дѣйствительно умеръ въ моемъ возрастѣ, и если бъ я имѣлъ такой же угрюмый характеръ, могла бы быть извѣстная опасность. Но Демокритъ дожилъ до ста двадцати лѣтъ, въ силу лишь повторнаго дѣйствія своего радостнаго и непобѣдимаго духа. Онъ умеръ въ концѣ концовъ только потому, что у него не было такой нѣжно-любящей заботливой души, какъ моя Елена, жить для которой было бы ему усладой. Ты помнишь, его веселая старая сестра просила его отложить смертельное голоданіе, пока она не вернется съ празднествъ Цереры, поставивъ ему на видъ, что отказомъ онъ испортилъ бы ей праздники, ибо запрещено было появляться въ процессіи тотчасъ послѣ смерти кого-либо изъ родственниковъ; ты помнишь, что исполненный благоволенія мудрецъ уважилъ ея просьбу».

Старикъ не могъ видѣть благодарной улыбки своей дочери, но онъ почувствовалъ пожатіе ея руки, которымъ она была выражена. — «Дѣйствительно», продолжалъ онъ, «эта тайна, смерть, является перемѣной, которая ни для насъ, ни для другихъ не составляетъ достовѣрнаго предмета надежды или страха. Мы не знаемъ, хороша она или нѣтъ, мы только знаемъ, что она есть. Старикъ, юноша—могутъ одинаково умереть; ни время, ни мѣсто, ни возрастъ, ни предусмотрительность не увольняютъ насъ отъ смерти, и отъ случайностей смерти. У насъ нѣтъ знанія, приноситъ ли смерть какія-либо ощущенія, нѣтъ предосторожности, которая можетъ сдѣлать эти ощущенія счастливыми, если существующій рядъ событій не создастъ это впечатлѣніе. Не думай о смерти, или думай о ней какъ о чемъ-то общемъ для всѣхъ насъ. Случалось,» сказалъ онъ глубокимъ и страдающимъ голосомъ, «что люди хоронили своихъ дѣтей».

«Увы! дорогой отецъ мой, какъ тогда я жалѣю тебя!»

Они встали, чтобъ уйти изъ Колизея, но неизвѣстный, что за-

говорилъ съ ними вначалѣ, удержалъ ихъ:—«Синьорина», сказалъ онъ, «если скорбь есть искупленіе ошибки, я глубоко скорбѣлъ о словахъ, которыя я сказалъ вашему спутнику. Люди, въ древности жившіе на этомъ мѣстѣ, и тѣ, отъ кого они научились своей мудрости, уважали недугъ и преклонный возрастъ. Если я неосмотрительно оскорбилъ этотъ достойный образъ, одновременно величественный и беззащитный, могу ли я быть прощенъ?»

«Мнѣ больно видѣть, какъ ваша ошибка огорчаетъ васъ», сказала она: «если вы можете забыть, не сомнѣвайтесь, что мы прощаемъ».

«Вы подумали, что я одинъ изъ тѣхъ, кто слѣпъ въ душѣ», сказалъ старикъ: «и кто заслуживаетъ, если только какое-нибудь человѣческое существо можетъ этого заслуживать, презрѣнія и порицанія. О, конечно, созерцая этотъ памятникъ, какъ созерцаю его я, хотя и въ зеркалѣ ума моей дочери, я исполненъ изумленіемъ и восторгомъ; какъ будто духъ отшедшихъ поколѣній оживляетъ мои члены и бьется, кружась, по всѣмъ фибрамъ моего существа. Чужестранецъ, если я выразилъ то, что вы всегда чувствовали, узнаемъ другъ друга ближе».

«Звукъ вашего голоса, и гармонія вашихъ мыслей плѣняютъ меня», сказалъ юноша, «и это — наслажденіе видѣть какую-либо форму, которая выражаетъ столько красоты и доброты, какъ образъ вашей дочери; если вы награждаете меня за мою грубость позволеніемъ узнать васъ, моя ошибка уже искуплена, и вы болѣе не помните монхъ злыхъ словъ. Я живу одинокой жизнью, и рѣдко бываетъ, чтобы я повстрѣчалъ какого-нибудь чужеземца, съ которымъ пріятно говорить: притомъ же ихъ размышленія, хотя бы и очень ученыя, не всегда совпадаютъ съ моими; и хотя я могу простить это различіе, они не могутъ. Я также никогда не объяснялъ причину, почему я такъ одѣтъ, и различіе, которое я усматривалъ между моимъ языкомъ и обыкновеніями, и языкомъ и обыкновеніями тѣхъ, съ кѣмъ я вступаю въ соотношеніе. Не то, чтобы для меня не мучительно жить безъ соприкосновенія съ разумными, нѣжно-ощущающими существами. Что вы принадлежите къ такимъ существамъ, я это чувствую»...

# 1815.

# О ЛЮБВИ.

Что такое Любовь? Спроси того, кто живетъ, что такое жизнь? Спроси того, кто полонъ вѣры, что такое Богъ?

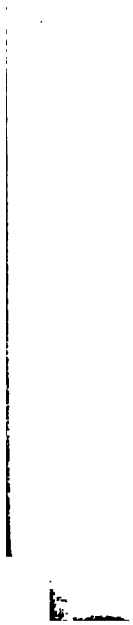
Я не знаю, какія внутреннія особенности свойственны людямъ, не знаю даже. какія внутреннія особенности свойственны тебѣ, къ кому я теперь обращаюсь. Видя, что нѣкоторыми внѣшними чертами люди похожи на меня, и будучи введенъ въ заблужденіе этими внѣшними признаками, я взывалъ къ общечеловѣческимъ чувствамъ, я жаждалъ подѣлиться съ другими всѣмъ, что есть въ моей душѣ сокровеннаго,—и что же? Мои слова подверглись ложнымъ толкованіямъ, какъ будто я находился въ дикой чуждой странѣ. Чѣмъ больше возросталъ мой опытъ, тѣмъ глубже сказывалось различіе между мной и людьми, — потомъ выросла цѣлая пропасть, и всякія узы порвались. Не имѣя силъ выносить такія жестокія испытанія, сгорая трепетной нѣжностью, я вездѣ искалъ сочувствія, и всюду встрѣчалъ вражду и непріязнь.

Ты спрашиваешь, что есть Любовь? Это — могучее влеченіе ко всему, что мы рисуемъ себѣ, или чего трепещемъ, или на что надѣемся — внѣ насъ самихъ, когда въ области собственной нашей мысли мы ощущаемъ пустоту и стремимся соединить окружающій насъ міръ гармонической связью съ нашими чувствами. Если мы разсуждаемъ, мы хотимъ, чтобы насъ поняли; если мы создаемъ что-нибудь въ своемъ воображеніи, мы хотимъ, чтобы воздушныя дѣти нашей фантазіи возродились вновь въ умѣ другихъ; если мы чувствуемъ, мы хотимъ, чтобы нервы другихъ соединились съ нашими въ сочувственной вибраціи, чтобы наши взоры, вспыхнувъ, слились съ загорѣвшимися взорами, чтобы наши уста, въ которыхъ горитъ лучшая кровь сердца. не встрѣтились съ равнодушными ледяными устами. Вотъ въ чемъ Любовь. Это — священное звено, связующее человѣка не только съ человѣкомъ, но и со всѣмъ, что есть въ мірѣ. Съ самаго моменга нашего рожденія что-то невѣдо-

мое намъ, но живущее въ насъ, все болѣе и болѣе жаждетъ найти свой образъ, свое подобіе. Вѣрно, именно этотъ законъ побуждаетъ ребенка пить молоко изъ груди матери; это свойство нашего существа развивается по мѣрѣ того, какъ мы сами переживаемъ развитіе. Въ умственной своей природѣ мы смутно видимъ какъ бы миніатюру всего нашего я, но безъ примѣси чего-либо низкаго и презрѣннаго, видимъ идеальный прообразъ всего нѣжнаго и обаятельнаго, что можетъ принадлежать человѣческой природѣ; не только нашъ внѣшній портретъ, но и всѣ малѣйшія внутреннія частности, составляющія нашу личность*); зеркало, отражающее только чистое и прекрасное; душу души, очерчивающую кругъ около своего Эдема, куда не дерзаютъ проникнуть ни скорбь, ни печаль, ни несчастія. Съ этимъ идеаломъ мы стараемся связать всю сѣть нашихъ впечатлѣній, страстно хотимъ, чтобы наши чувства слились съ нимъ въ одно. Стремленіе найти первообразъ идеальнаго типа; тяготѣніе къ уму, способному справедливо оцѣнить насъ, къ фантазіи, способной проникнуть въ тѣ изящныя тонкія способности, которыя мы любимъ втайнѣ ласкать и лелѣять; жажда встрѣтить нервную организацію, которая, какъ нѣжная арфа, поющая вмѣстѣ съ прелестнымъ голосомъ, вибрируетъ въ соотвѣтствіи съ нашей нервной вибраціей; наконецъ, сочетаніе всего этого въ одно стройное цѣлое—вотъ незримая и недосягаемая цѣль, къ которой стремится Любовь. Только тотъ былъ бы въ состояніи достигнуть этой цѣли, кто сумѣлъ бы удержать слабѣйшую тѣнь того, безъ чего нѣтъ ни покоя, ни отдыха—для сердца, надъ которымъ царитъ это чувство. Потому-то, находясь въ уединеніи или въ осиротѣломъ состояніи, когда мы окружены людьми, не связанными съ нами сочувствіемъ, мы любимъ цвѣты, зелень травъ, воды и небо. Мы находимъ тогда таинственное соотвѣтствіе между нашимъ сердцемъ и молодыми весенними листами или ясной лазурной высью. Есть краснорѣчіе въ ропотѣ вѣтра, лишеннаго голоса, есть мелодія въ журчаніи ручья и въ шелестѣ осоки; непостижимымъ образомъ сочетаясь съ какими-то движеніями нашей души, эта музыка природы возбуждаетъ въ насъ безумный восторгъ, извлекаетъ изъ глазъ нашихъ слезы мистической нѣжности,—въ неменьшей мѣрѣ,

*) Эти слова блѣдны и метафоричны. Большая часть словъ такова—что дѣлать!
*Шелли.*

чѣмъ благородный энтузіазмъ заботъ о родномъ краѣ или голосъ любимаго существа, чье пѣніе звучитъ лишь для насъ однихъ. Стернъ сказалъ, что, если бъ онъ былъ въ необитаемой пустынѣ, ему хотѣлось бы любить хотя дерево кипариса. Какъ скоро такая потребность или такая способность изсякла въ сердцѣ, человѣкъ превращается въ живую гробницу самого себя, и то, что остается отъ него, есть не болѣе, какъ скорлупа.



# 1815.

# РАЗМЫШЛЕНІЯ О МЕТАФИЗИКѢ.

# I. УМЪ.

## I.

Аксіома мыслительной философіи гласитъ, что мы не можемъ думать ни о чемъ, чего мы не ощутили. Говоря «мы не можемъ думать ни о чемъ», я разумѣю, что мы не можемъ вообразить ничего, не можемъ разсуждать ни о чемъ, не можемъ вспомнить ничего, не можемъ предвидѣть ничего. Удивительнѣйшія сочетанія поэзіи, тончайшіе выводы логики и математики, суть не что иное, какъ сочетанія, которыя разумъ дѣлаетъ изъ ощущеній, согласно съ своими собственными законами. Перечисленіе всѣхъ мыслей ума и всѣхъ ихъ возможныхъ видоизмѣненій—есть энциклопедическая исторія вселенной.

Но, возразятъ, жители различныхъ планетъ этой и другихъ солнечныхъ системъ и существованіе власти, находящейся ко всему, что мы воспринимаемъ и что мы есть, въ томъ же самомъ отношеніи, какъ то, что мы называемъ причиной, относится къ тому, что мы называемъ слѣдствіемъ,—никогда не были предметомъ ощущенія, и однако же законы ума почти повсемѣстно внушаютъ, согласно съ различнымъ расположеніемъ каждаго, догадку, увѣренье, или убѣжденіе относительно ихъ существованія. Отвѣтъ очень простъ: эти мысли также должны быть включены въ общую роспись существованія; онѣ суть способы, по которымъ сочетаются наши мысли; возраженіе только придаетъ силы заключенію, что за предѣлами воспріятія и мысли не существуетъ ничего.

Мысли, или идеи, или понятія, зовите ихъ какъ хотите, отличаются между собою, не по роду своему, а по силѣ. Какъ утверждаетъ общепринятое предположеніе, ясныя мысли, возникающія у множества лицъ, въ опредѣленные промежутки, при прохожденіи

цѣлой массы другихъ мыслей, которыя зовутся реальными или внѣшними предметами, совершенно отличны по роду своему отъ мыслей, возникающихъ лишь у немногихъ, возвращающихся въ неправильные промежутки, и обыкновенно болѣе смутныхъ и неясныхъ, каковы галлюцинаціи, сны и идеи, рожденныя безуміемъ. Никакое существенное различіе между какими-либо изъ этихъ идей, или какимъ-либо разрядомъ ихъ, не основано на правильномъ наблюденіи надъ природой вещей; различіе основано лишь на соображеніи о томъ, какія мысли съ наибольшей неизмѣнностью пригодны для безопасности и счастья жизни; и если бы ничего иного не выражалось такимъ различіемъ, философъ могъ бы спокойно приспособить свой языкъ къ языку толпы. Но они притязаютъ на утвержденіе существеннаго различія, которое не имѣетъ основанія въ истинѣ, и которое внушаетъ узкое и ложное понятіе о всемірной природѣ, откуда—самыя пагубныя заблужденія въ умозрѣніи. Особое отличіе, отдѣляющее каждую мысль ума, есть, на самомъ дѣлѣ, необходимое послѣдствіе того закона, по которому онъ воспринимаетъ несходство и число; но родовое и существенное отличіе совершенно произвольно. Начало согласованія и сходства всѣхъ мыслей заключается въ томъ, что всѣ онѣ мысли; начало несогласія состоитъ въ разнообразіи и неправильности случаевъ, при которыхъ онѣ возникаютъ въ умѣ. То, въ чемъ онѣ согласуются, по отношенію къ тому, въ чемъ онѣ различаются, есть какъ бы все по отношенію къ ничто. На самомъ дѣлѣ, важныя различія, разнообразныхъ степеней силы, могутъ быть установлены между ними, разъ онѣ, какъ онѣ могутъ быть, суть предметы этическаго и экономическаго разсужденія; но это вопросъ совершенно иной.

Разсматривая все знаніе, какъ ограниченное воспріятіемъ, дѣйствія котораго могутъ принимать безконечное число сочетаній, мы приходимъ къ представленію о природѣ, невыразимо болѣе величественному, простому и истинному, чѣмъ это согласуется съ обычными системами запутаннаго и частичнаго разсмотрѣнія. Притомъ же созерцаніе вселенной, при условіи разсмотрѣнія, такого захватывающаго и синтетическаго, не исключаетъ тончайшаго анализа ея измѣненій и частей.

Можно было бы создать скàлу, размѣченную согласно съ указаніями сложнаго отношенія напряженности, длительности, связи,

періодовъ возврата, и полезности, для выработки образцовой мѣры, согласно съ которой можно было бы измѣрять всѣ идеи, и можно было бы наблюдать непрерываемую цѣпь тонко оттѣненныхъ отличій, отъ слабѣйшихъ впечатлѣній нашихъ чувствъ до самыхъ явственныхъ сочетаній этихъ впечатлѣній,—отъ простѣйшаго изъ этихъ сочетаній до той массы знанія, которая, включая нашу собственную природу, составляетъ то, что мы называемъ вселенной.

Мы интуитивно сознаемъ наше собственное существованіе и ту связь въ теченьи нашихъ послѣдовательныхъ идей, которую мы называемъ нашимъ тождествомъ. Мы сознаемъ также существованіе другихъ умовъ; но не интуитивно. Наше свидѣтельство, относительно существованія другихъ умовъ, основано на весьма сложномъ отношеніи идей, анатомировать которое не входитъ въ планъ даннаго разсужденія. Основаніемъ этого отношенія, несомнѣнно, является періодическое возвращеніе цѣлой массы идей, которыхъ наши волевыя рѣшенія, въ особомъ направленіи, не могутъ заключить въ въ извѣстныя рамки, или задержать, и противъ возвращенія которыхъ они могутъ принять лишь несовершенныя мѣры. Неудержимые законы мысли понуждаютъ насъ вѣрить, что точныя границы нашихъ настоящихъ идей не суть настоящія границы возможныхъ идей; законъ, согласно съ которымъ устанавливаются эти выводы, называется аналогіей; и это есть основаніе всѣхъ нашихъ умозаключеній, отъ одной идеи къ другой, поскольку онѣ походятъ одна на другую.

Мы видимъ деревья, дома, поля, живыя существа, имѣющія нашъ собственный обликъ или обликъ болѣе или менѣе аналогичный нашему. Они безпрерывно мѣняютъ способъ своего существованія относительно насъ. Чтобы выразить различіе этихъ способовъ, мы говоримъ: мы движемся, они движутся; и такъ какъ это движеніе длительно, хотя не единообразно, мы выражаемъ наше представленіе объ его различіяхъ словами: это было, это есть, это будетъ. Эти различія суть событія или объекты, и они необходимы, если разсматривать ихъ въ отношеніи человѣческаго тождества, для существованія человѣческаго ума. Потому что, если бы неравенства, создаваемыя тѣмъ, что было названо дѣйствіями внѣшняго міра, были сглажены воспріятіемъ нашего существа, смыкающаго и заполняющаго ихъ промежутки, — движеніе, и измѣреніе, и время, и пространство, — элементы человѣческаго ума, — были бы такимъ образомъ втянуты

въ область отвлеченія; ощущеніе и воображеніе прекратились бы. Умъ не можетъ быть разсматриваемъ въ своей чистотѣ.

### 1.—Что такое Метафизика. Ошибки въ обычныхъ методахъ ея разсмотрѣнія.

Мы не слѣдимъ съ достаточнымъ вниманіемъ за тѣмъ, что происходитъ внутри насъ самихъ. Мы сочетаемъ слова, сочетавшіяся тысячу разъ до тѣхъ поръ. Въ нашихъ умахъ мы принимаемъ цѣлыя мнѣнія, и въ выраженіи этихъ мнѣній цѣлыя фразы, когда мы начинаемъ философствовать. Весь нашъ стиль выраженія и чувства зараженъ образцами самаго затасканнаго плагіата. Наши слова мертвы, наши мысли холодны и заемны.

Будемъ разсматривать факты; будемъ, въ великомъ изученіи насъ самихъ, рѣшительно принуждать нашъ умъ къ строгому разсмотрѣнію самого себя. Мы не довольствуемся догадками, и наведеніями, и силлогизмами въ знаніяхъ, касающихся внѣшнихъ предметовъ. Пусть же, какъ въ нихъ, мы будемъ, при разсмотрѣніи явленій ума, строго собирать тѣ факты, которые не могутъ быть оспариваемы. Метафизика будетъ такимъ образомъ обладать тѣмъ важнымъ преимуществомъ передъ каждой иной отраслью знанія, что всякій, ее изучающій, внимательно обратившись къ своему собственному уму, можетъ удостовѣриться въ авторитетахъ, которые поддерживаютъ какое-либо увѣреніе касательно его. Такимъ образомъ не можетъ быть никакого обмана, ибо мы сами будемъ хранилищами очевидностей относительно разсматриваемаго нами предмета.

Метафизика можетъ быть опредѣлена, какъ изслѣдованіе тѣхъ вещей, которыя принадлежатъ къ внутренней природѣ человѣка, или съ нею связаны.

Было сказано, что умъ создаетъ движеніе; и совершенно такъ же могло бы быть сказано, что движеніе создаетъ умъ.

### 2.—Трудность анализировать человѣческій умъ.

Если бъ было возможно, чтобы кто-нибудь далъ вѣрную повѣсть своего существа, отъ самыхъ раннихъ поръ воспоминанія, возникла бы картина, какой міръ никогда еще доселѣ не видалъ. Предъ всѣми людьми было бы поставлено зеркало, гдѣ они могли бы созер-

цать собственныя свои воспоминанія и, въ смутной перспективѣ, свои тѣневыя чаянья и опасенія,—все, что они не смѣютъ, или, смѣя и желая, не могутъ явить предъ открытыми глазами дня. Но мысль съ затрудненіемъ можетъ посѣщать запутанные и извилистые покои, въ которыхъ она живетъ. Она точно рѣка, чей быстрый и непрерывный потокъ течетъ во внѣ; — точно кто-то, кто въ страхѣ спѣшитъ чрезъ темныя углубленія огромнаго зданія, посѣщаемаго духами, и не смѣетъ оглянуться назадъ. Пещеры ума смутны и полны тѣней; или залиты сіяньемъ, прекраснымъ, блестящимъ поистинѣ, но не сіяющимъ за чертой входовъ. Если бъ было возможно быть тамъ, гдѣ мы были, жизненно и дѣйствительно; если бъ, въ мигъ нашего присутствія здѣсь, мы могли опредѣлить результаты опыта; если бъ переходъ отъ ощущенія къ размышленію, отъ состоянія бездѣйственнаго воспріятія къ волевому созерцанію, не былъ такимъ головокружительнымъ и такимъ бурнымъ,—эта попытка была бы менѣе трудной.

### 3. — Какъ слѣдовало бы производить анализъ.

Большая часть заблужденій философовъ произошла отъ разсмотрѣнія человѣческаго существа съ точки зрѣнія, слишкомъ частичной и ограниченной. Онъ существо не только моральное и интеллектуальное, но также, и главнымъ образомъ, живущее въ мірѣ фантазіи. Его собственный умъ есть его законъ; его собственный умъ есть для него все. Если бы мы хотѣли достичь какого-нибудь знанія, пригоднаго по практическимъ послѣдствіямъ, къ которымъ оно ведетъ, мы должны были бы разсматривать умъ человѣка и міръ, какъ великое цѣлое, на которомъ мы могли бы обострять наши умозрѣнія. Здѣсь, прежде всего, словесные споры должны быть устранены, хотя здѣсь издавна было ихъ излюбленное поле сраженія. Мало толку изслѣдовать, отлична ли мысль отъ объектовъ мысли. Употребленіе словъ внѣшній и внутренній, въ примѣненіи къ установленію этого различія, было символомъ и источникомъ многихъ споровъ. Дѣло тутъ дѣйствительно только въ словахъ, и, какъ заслуживаетъ споръ, надо сказать, что, когда мы говоримъ объ объектахъ мысли, мы дѣйствительно описываемъ только одну изъ формъ мысли, или—что, когда мы говоримъ о мысли, мы только воспринимаемъ одно изъ дѣйствій всемірной системы существъ.

### 4.—Перечисленіе явленій въ области сновидѣній, въ связи со сномъ и бодрствованіемъ.

1. Будемъ размышлять о нашемъ дѣтствѣ и возсоздадимъ по возможности вѣрно взаимоотношеніе событій сна.

И прежде всего я обязанъ дать вѣрную картину моей собственной особой природы относительно сна. Я не сомнѣваюсь, что, если бы каждый отдѣльный человѣкъ мнѣ подражалъ, было бы найдено, что среди многихъ обстоятельствъ, особыхъ для индивидуальныхъ натуръ, достаточно общее сходство доказываетъ связь, существующую между этими особенностями и наиболѣе всеобщими явленіями. Я сдѣлаю однако оговорку, что факты, мною устанавливаемые, не содержатъ въ себѣ ничего ложнаго или преувеличеннаго. Они содержатъ не болѣе, какъ достовѣрныя изъясненія моей собственной натуры; относительно сходства ея съ натурою другихъ, или ея отъ нихъ отличія, я не имѣю средствъ быть точно освѣдомленнымъ. Достаточно, однако, предостеречь читателя отъ извлеченія общихъ выводовъ изъ частныхъ случаевъ.

Я опускаю общіе примѣры заблужденія въ лихорадкѣ или въ бредѣ, такъ же какъ сны, разсматриваемые сами по себѣ. Я долженъ обойтись безъ очерка этого предмета, хоть онъ интересенъ и неистощимъ.

Въ чемъ заключается связь между сномъ и бодрствованіемъ?

2. Я явственно помню, что три раза, въ промежуткѣ двухъ-трехъ лѣтъ, мнѣ снился совершенно одинъ и тотъ же сонъ. Это было не такъ много, какъ то, что обыкновенно называется сномъ; отдѣльный образъ, несвязанный съ другими образами, образъ юноши, воспитывавшагося въ той же школѣ, что и я, явился мнѣ во снѣ. Даже теперь, по истеченіи многихъ лѣтъ, я никогда не могу услышать имя этого юноши безъ того, чтобы уму моему не представились совершенно отчетливо тѣ три мѣста, гдѣ я видѣлъ его во снѣ.

3. Въ снахъ образы вступаютъ въ сочетанія, особыя для видящаго сонъ. Когда представленіе о какомъ-нибудь домѣ возникаетъ въ снахъ вторично, оно вызоветъ первое представленіе о томъ же домѣ: но это первое представленіе будетъ сильно отличаться отъ того, какое составляешь, если видишь этотъ домъ или думаешь о немъ во время бодрствованія.

4. Я видѣлъ картины, внутренняя и необъяснимая связь которыхъ со смутными частями моей собственной природы произвела на меня неудержимое впечатлѣніе. Я видѣлъ, напр., одну картину, не оказавшую особаго дѣйствія на мои мысли. По истеченіи нѣсколькихъ лѣтъ я снова увидѣлъ ее во снѣ. Она нависала надъ моей памятью, она, временами, преслѣдовала мои мысли, съ упорствомъ предмета, связаннаго съ человѣческими привязанностями. Я посѣтилъ это мѣсто опять. Ни сонъ не могъ быть отдѣленъ отъ ландшафта, ни ландшафтъ отъ сна, ни чувства, такія, какихъ ни тотъ, ни другой не пробудили бы въ отдѣльности, отъ того и другого. Но самое достопримѣчательное событіе этого рода, какое когда-либо со мною случилось, произошло пять лѣтъ тому назадъ въ Оксфордѣ. Я гулялъ съ однимъ своимъ другомъ въ окрестностяхъ этого города, и между нами былъ очень серьезный и интересный разговоръ. Мы внезапно повернули за уголъ тропинки между изгородями, и передъ нами предсталъ видъ, который былъ закрытъ этими высокими изгородями и насыпями. Передъ нами была вѣтряная мельница, она находилась на одномъ изъ покрытыхъ лужами луговъ, и была огорожена каменными стѣнами: неправильное и неровное пространство, между стѣною и дорогой, на которой мы стояли; длинный низкій холмъ за мельницей, и сѣрый покровъ однообразнаго облака, распростершійся по вечернему небу. Была та пора, когда послѣдній листъ только-что опалъ со скуднаго и малорослаго ясеня. Картина была несомнѣнно заурядной; время года и часъ мало были разсчитаны на то, чтобъ зажечь мысль незаконную; это было покорное неинтересное сборище предметовъ, такое, что оно должно было бы устремить воображеніе прочь, заставить его искать убѣжища въ серьезномъ и трезвомъ разговорѣ, уйти къ вечернему камину и къ усладѣ зимнихъ плодовъ и вина. Дѣйствіе, оказанное этой картиною на меня, было не такимъ, какого можно было ожидать. Я внезапно вспомнилъ, что я видѣлъ совершенно такую же картину во снѣ давно *)...

*) *Здѣсь я долженъ былъ остановиться, охваченный пронзительнымъ ужасомъ.*—Это замѣчаніе заканчиваетъ данный отрывокъ, написанный въ 1815 году. Я хорошо помню, что онъ пришелъ ко мнѣ послѣ того какъ писалъ его, блѣдный и взволнованный, ища въ разговорѣ защиты отъ страшныхъ ощущеній, этимъ вызванныхъ.

(Примѣчаніе *мистриссъ Шелли*).

# 1816.

# РАЗМЫШЛЕНІЯ О МОРАЛИ.

*ОТРЫВКИ.*

## 1. Планъ трактата о Морали.

Великое знаніе, разсматривающее природу и дѣйствія человѣческаго ума, обыкновенно раздѣляютъ на Мораль и Метафизику. Послѣдняя стремится къ справедливой классификаціи и къ назначенію отличительныхъ именъ для идей человѣческаго ума; первая просто разсматриваетъ, при какомъ порядкѣ ихъ достигается наибольшее и наиболѣе прочное счастье. Допускаютъ, что добродѣтельное или моральное дѣйствіе есть такое дѣйствіе, которое, если разсматривать его со всѣми сопутствующими обстоятельствами и послѣдствіями, способно создать наивысшее наслажденіе для наибольшаго числа чувствующихъ существъ. Законы, соотвѣтственно съ которыми все наслажденіе должно быть распредѣлено волевымъ дѣятелемъ,—ибо оно не можетъ равнымъ образомъ ощущаться всѣми чувствующими существами,—будутъ разсмотрѣны въ особой главѣ.

Задача этого небольшого трактата ограничивается развитіемъ первичныхъ основъ морали. Поскольку дѣло касается этого замысла, метафизическое знаніе будетъ обсуждаться лишь какъ источникъ отрицательной истины; мораль же будетъ разсматриваться какъ знаніе, относительно котораго мы можемъ придти къ положительнымъ заключеніямъ.

Главной прямой услугой, какую метафизическое знаніе можетъ доставить моральному, дурно направленное воображеніе людей сдѣлало удостовѣреніе въ томъ, что не истинно. Само моральное знаніе есть ученіе о волевыхъ дѣйствіяхъ человѣка, какъ ощущающаго и общественнаго существа. Эти дѣйствія зависятъ отъ мыслей, возникающихъ въ его умѣ. Но есть цѣлая масса общераспространенныхъ мнѣній, отъ которыхъ самыя просвѣщенныя личности рѣдко вполнѣ свободны, и относительно правды или ложности которыхъ намъ надлежитъ произвести разслѣдованіе, прежде чѣмъ

мы можемъ придти къ какимъ-либо твердымъ заключеніямъ о томъ, какого намъ держаться поведенія въ упорядоченіи нашихъ собственныхъ умовъ, или по отношенію къ нашимъ собратьямъ, или прежде чѣмъ мы можемъ удостовѣриться въ первичныхъ законахъ, согласно съ которыми первоначально сплетены эти мысли, откуда проистекаютъ данныя дѣйствія.

Задача формъ, соотвѣтственно съ которыми управляется человѣческое общество, есть счастье отдѣльныхъ личностей, образующихъ данное общежитіе, и эти формы совершенны или несовершенны, въ соотвѣтствіи съ той степенью, съ какой они достигаютъ такой задачи.

Эта задача заключается не только въ количествѣ счастья, испытываемаго отдѣльными личностями, какъ чувствующими существами, но и въ способѣ, по которому оно должно быть распредѣлено между ними, какъ существами общественными. Не довольно, если такое совпаденіе можетъ быть постигнуто какъ возможное, что одно лицо или одинъ классъ лицъ можетъ наслаждаться высшимъ счастьемъ, въ то время какъ другой страдаетъ отъ несоразмѣрной степени нищеты. Необходимо, чтобы счастье, создаваемое общими усиліями, и сохраняемое общею заботой, распредѣлялось согласно съ истинными потребностями каждой отдѣльной личности; въ противномъ случаѣ, хотя бы создаваемое количество было тѣмъ же самымъ, задача общества будетъ оставаться невыполненной. Задача находится въ сложномъ соотношеніи съ количествомъ создаваемаго счастья и въ соотвѣтствіи способа его распредѣленія съ первичными чувствами человѣка, какъ существа общественнаго.

Склонность отдѣльной личности способствовать разрѣшенію такой задачи называется добродѣтелью; и двѣ составныя части добродѣтели, благоволеніе и справедливость, находятся въ соотвѣтствіи съ этими двумя великими частями единственно вѣрной задачи всякихъ волевыхъ дѣйствій человѣческаго существа. Благоволеніе есть желаніе быть создателемъ добраго, а справедливость — воспріятіе способа, которымъ добро должно быть сдѣлано.

Справедливость и благоволеніе проистекаютъ изъ первичныхъ законовъ человѣческаго ума.

# ГЛАВА ПЕРВАЯ.

## О ПРИРОДѢ ДОБРОДѢТЕЛИ.

*Отд.* I. 1. Общій взглядъ на природу и цѣли Добродѣтели.— 2. Происхожденіе и основа Добродѣтели опираются на первичныя начала ума. — 3. Законы, проистекающіе изъ природы ума, правящіе примѣненіемъ этихъ началъ къ человѣческимъ дѣйствіямъ. — 4. Добродѣтель, какъ возможное свойство человѣка.

Мы живемъ среди множества существъ, подобныхъ намъ, и бо́льшая часть нашихъ дѣйствій оказываетъ на ихъ счастье нѣкоторое очевидное и рѣшительное вліяніе.

Упорядоченіе этого вліянія составляетъ задачу моральнаго знанія.

Мы знаемъ, что мы способны воспринимать болѣзненныя и пріятныя ощущенія большей или меньшей напряженности и длительности. То, что создаетъ наслажденіе, зовется добромъ; то, что создаетъ боль, зовется зломъ. Это общія наименованія, примѣнимыя къ каждому разряду причинъ, изъ которыхъ можетъ получиться перевѣсъ боли или наслажденія. Но когда человѣческое существо является дѣйственнымъ орудіемъ возникновенія или распространенія счастья, начало, съ помощью котораго оно наиболѣе успѣшно можетъ достигать такой цѣли, называется добродѣтелью. И благоволеніе, или желаніе быть создателемъ добра, соединенное съ справедливостью, или усвоеніемъ способа, которымъ это добро можетъ быть сдѣлано, составляетъ добродѣтель.

Но почему человѣкъ долженъ быть благоволящимъ и справедливымъ? Непосредственныя ощущенія его природы, особенно въ наименѣе искусственномъ его состояніи, побуждаютъ его причинять страданія и врываться во владѣнія. Онъ желаетъ нагромождать излишества про запасъ для себя, хотя бы другіе погибали отъ голода. Его толкаетъ побужденіе ограждать свою свободу отъ малѣйшаго посягновенія, хотя другихъ онъ низводитъ до состоянія самаго безжалостнаго рабства. Онъ мстителенъ, гордъ и себялюбивъ. Зачѣмъ будетъ онъ склонять подъ ярмо эти наклонности?

Спрашивается, на какомъ основаніи человѣческое существо приняло бы обязательство создавать счастье, или воздерживаться отъ причиненія боли другому? Если нужно доказать необходимость усвоенія какой-либо системы поведенія, чего требуетъ возражатель? Онъ требуетъ доказательства, что система поведенія будетъ по своимъ свойствамъ наиболѣе дѣйствительной въ смыслѣ способности содѣйствовать счастью человѣчества. Доказать это—значитъ представить нравственный доводъ. Такова задача Добродѣтели.

Общераспространенный софизмъ, который, какъ многіе другіе, зависитъ отъ метафорическаго способа выраженія въ примѣненіи къ буквальной цѣли, создалъ много смуты, запутавшей ученіе о нравственности. Было сказано, что никто не обязанъ быть справедливымъ или добрымъ, если, при своемъ небреженіи, онъ не подвергнется какой-нибудь отвѣтственности. Долгъ есть обязательство. Не можетъ быть обязательства безъ лица обязывающаго. Добродѣтель есть законъ, съ которымъ по волѣ законодателя мы должны сообразоваться; его волѣ мы никоимъ образомъ не должны были бы повиноваться, если бы непослушаніе не было связано съ нѣкоторымъ страшнымъ наказаніемъ. Это философія рабства и суевѣрія.

Въ дѣйствительности никто не можетъ быть обязанъ или долженъ безъ какой-либо предшествующей власти, которая бы связывала и обязывала. Если я вижу человѣка, связаннаго по рукамъ и по ногамъ, я знаю, что кто-нибудь его связалъ. Но, если я вижу, что онъ съ чувствомъ удовлетворенія возвращается отъ свершенія какого-либо дѣйствія, въ которомъ онъ былъ добровольнымъ творцомъ обширнаго благого дѣла, я не вывожу изъ этого, что его вынудило къ тому предвкушеніе адскихъ пытокъ, или надежда на небесную награду *).

* * * * * * * * * * * *

Остается только установить, какимъ образомъ рождается въ человѣческомъ умѣ ощущеніе, составляющее основу добродѣтели; каковы законы, имъ получаемые; насколько начала ума позволяютъ

---

*) Здѣсь въ рукописи недостаетъ одного листка, очевидно содержащаго разсужденіе о себялюбіи и безкорыстіи.

(Прим. мистриссъ Шелли).

добродѣтели быть однимъ изъ свойствъ человѣческаго существа; и, наконецъ, можно ли убѣдить человѣчество принять его, какъ всеобщій и систематическій побудительный мотивъ поведенія.

## Благоволеніе.

Есть извѣстный разрядъ ощущеній, которыхъ мы инстинктивно избѣгаемъ. Человѣческое существо, такое, какъ человѣкъ, разсматриваемый въ его возникновеніи, четырехнедѣльный ребенокъ, имѣетъ лишь очень несовершенное сознаніе существованія другихъ натуръ, похожихъ на него. Всѣ силы его существа направлены на погашеніе страданій, которыя безпрерывно на него нападаютъ. Въ концѣ концовъ, онъ открываетъ, что окруженъ существами, способными на ощущенія, схожія съ его собственными. Лишь очень поздно дѣти достигаютъ этого знанія. Если ребенокъ безъ волненія смотритъ на свою няню или свою мать, страдающую отъ какой-нибудь острой боли, это нужно приписать скорѣй незнанію, чѣмъ нечувствительности. Какъ только звуки или тѣлодвиженія, означающія боль, отнесены къ чувствамъ, ими выражаемымъ, они возбуждаютъ въ умѣ зрителя желаніе, чтобъ они прекратились. Боль такимъ образомъ постигается какъ зло само по себѣ, безъ какого-либо иного неизбѣжнаго отношенія къ уму, воспринимающему ея существованіе, кромѣ такого, которое необходимо для ея воспринятія. Всѣ наши первичныя ощущенія, на самомъ дѣлѣ, тяготѣютъ къ одной цѣли, именно къ сохраненію нашего личнаго существованія. Но они бездѣйственны и безсознательны. По мѣрѣ того какъ умъ пріобрѣтаетъ дѣйственную силу, власть этихъ тяготѣній дѣлается ограниченной. Такимъ образомъ ребенокъ, дикарь и одинокій звѣрь себялюбивы, ибо ихъ умъ неспособенъ получить точное представленіе о боли, существующей въ схожихъ съ ними существахъ. Членъ высоко цивилизованнаго общежитія болѣе остро будетъ сочувствовать страданіямъ и радостямъ другихъ, чѣмъ членъ общества, находящагося на меньшей степени цивилизаціи. Тотъ, кто культивировалъ свои умственныя силы близостью съ высочайшими образцами поэзіи и философіи, обыкновенно болѣе способенъ на сочувствіе, нежели тотъ, кто вовлеченъ въ менѣе утонченныя отправленія ручного труда. Каждый испыталъ, что сочувствовать страданіямъ другого—это значитъ радоваться временному забвенію своихъ.

Умъ такимъ образомъ какъ бы пріобрѣтаетъ, черезъ упражненіе. привычку постигать зло и отвращаться отъ него, хотя бы оно было очень отдаленнымъ отъ непосредственной сферы ощущеній, среди которыхъ вращается этотъ индивидуальный умъ. Воображеніе, или умъ, пророчески воображающій себѣ свои объекты, есть та способность человѣческой природы, отъ которой зависитъ каждая ступень ея совершенствованія,—мало того,—мельчайшая ея перемѣна. Боль или наслажденіе, при тончайшемъ разсмотрѣніи, оказываются состоящими лишь въ перспективѣ. Единственное различіе между себялюбивымъ человѣкомъ и добродѣтельнымъ заключается въ томъ, что воображеніе перваго ограничено болѣе узкимъ предѣломъ, въ то время какъ воображеніе второго обнимаетъ обширный кругъ. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что мудрость и добродѣтель неразрывны и являются мѣрилами по отношенію другъ къ другу. Себялюбіе есть чадо незнанія и недоразумѣнія; это часть неразмышляющаго дѣтства или дикаго одиночества, или тѣхъ, кого работа и дурныя занятія притупили и сдѣлали отяжелѣлыми; безкорыстное благоволеніе есть результатъ выработаннаго воображенія, и находится въ тѣсной связи со всѣми искусствами, придающими украшеніе, или достоинство, или силу, или устойчивость общественному состоянію человѣка. Добродѣтель такимъ образомъ всецѣло является утонченностью цивилизованной жизни, созданіемъ человѣческаго ума, или, скорѣе, сочетаніемъ, которое онъ, слѣдуя основнымъ правиламъ, въ немъ содержащимся, сдѣлалъ изъ чувствъ, внушаемыхъ отношеніями, установившимися между человѣкомъ и человѣкомъ.

Всѣ ученія. утончившія и возвысившія человѣчество, или тѣ ученія, которыя были изобрѣтены какъ облегченіе недоразумѣній и золъ, были основаны на первичныхъ ощущеніяхъ безкорыстія, составляющихъ, мы чувствуемъ это, величіе нашей природы. Патріотизмъ, какъ онъ существовалъ въ древнихъ республикахъ, никогда не былъ, какъ предполагали, разсчетомъ на личныя выгоды. Когда Муцій Сцевола швырнулъ свою руку въ горящіе угли, и Регулъ возвратился въ Карѳагенъ, и Эпихарисъ молча выдерживала пытку, лишь бы не выдать заговорщиковъ тирану, *)—эти знаменитые люди, конечно, мало цѣнили частный свой интересъ. Если

*) Тацитъ.

скажутъ, что они искали посмертной славы, въ исторіи нѣтъ недостатка въ примѣрахъ, доказывающихъ, что люди смѣло шли даже на безславіе во имя добра. Когда любовь къ славѣ считаютъ себялюбіемъ, это—великое заблужденіе. Возможно, что какой-нибудь человѣкъ будетъ искать отличія, какъ средства личнаго удовлетворенія. Но любовь къ славѣ часто есть не что иное, какъ желаніе, чтобы чувства другихъ подтвердили наши, иллюстрировали ихъ и сочетались съ ними сочувственною связью. Въ этомъ отношеніи она соединена со всѣмъ, что извлекаетъ насъ изъ самихъ себя. Это «послѣдняя слабость благородныхъ умовъ». Рыцарство подобнымъ образомъ было основано на ученіи о самопожертвованіи. Любовь обладаетъ такой исключительной властью надъ человѣческимъ сердцемъ только потому, что безкорыстіе связано съ естественными наклонностями. Сами эти наклонности сравнительно безсильны въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ представленіе о наслажденіи, которое будетъ дано, такъ же какъ наслажденіе, которое будетъ получено, не входитъ въ разсчетъ. Пусть не возражаютъ, что патріотизмъ, и рыцарство, и сантиментальная любовь были источниками чудовищныхъ злодѣяній. На нихъ указано лишь для того, чтобъ установить положеніе, что, согласно съ первичными началами ума, человѣкъ способенъ желать добра и искать его ради его самого.

## Справедливость.

Такимъ образомъ благоволеніе присуще человѣческому уму. Насъ влечетъ искать счастья другихъ. Мы чувствуемъ удовлетвореніе, когда являемся виновниками этого счастья. Все, что живетъ, открыто для ощущеній наслажденія и боли. Благоволеніе побуждаетъ насъ смотрѣть на каждое человѣческое существо, съ которымъ мы вступаемъ въ соприкосновеніе, безразлично. Оно оказываетъ предпочтеніе лишь тѣмъ, кто наиболѣе явно предстаетъ нашему вниманію. Человѣческія существа неспособны къ распознаванію и слѣпы; они не захотятъ причинить страданье, хотя бы это страданіе сопровождалось случайной выгодой; они будутъ стараться доставлять наслажденіе, не принимая въ разсчетъ зло, которое можетъ получиться въ результатѣ. Они доставляютъ выгоду одному насчетъ многихъ.

Есть чувство въ человѣческомъ умѣ, которое упорядочиваетъ благоволеніе въ его примѣненіи, какъ принципъ поведенія. Это—чувство справедливости. Справедливость, такъ же какъ благоволеніе, есть первичный законъ человѣческой природы. Этотъ принципъ побуждаетъ людей раздѣлять равными долями среди равнаго числа примѣненій какія-нибудь средства наслажденія, которыя благоволеніе побуждаетъ сообщать другимъ. Если десять человѣкъ потерпѣли кораблекрушеніе и выброшены на пустынный островъ, все, что у нихъ остается изъ пропитанія, они дѣлятъ между собою равными долями. Если шестеро изъ нихъ сговорятся лишить остальныхъ четырехъ ихъ доли, ихъ поведеніе будетъ названо несправедливымъ.

Существованіе боли, какъ было показано, есть обстоятельство, на которое человѣческій умъ смотритъ съ неудовольствіемъ, и прекращенія котораго онъ желаетъ. Равнымъ образомъ съ его природой согласно—желать, чтобы преимущества, составляющія удѣлъ ограниченнаго числа лицъ, являлись удѣломъ всѣхъ равно. Это положеніе подтверждается очевидностью неоспоримыхъ фактовъ. Дайте какой-нибудь неприкрашенный разсказъ объ извѣстномъ числѣ людей, сдѣлавшихся жертвою преимуществъ одного, и тотъ, кто будетъ взывать,—въ пользу какого-либо порядка вещей, способнаго создавать такое зло,—къ первичнымъ ощущеніямъ нашей природы, не найдетъ ничего въ отвѣтъ.

* * *  * * *  * * *  *

Комитетъ Б. Служащихъ Сѣверо-Западныхъ ж. д.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Въ общую цѣль этого небольшого разсужденія не входитъ загромождать простой аргументъ опроверженіемъ какого-либо изъ пошлыхъ возраженій обычая или фанатизма. Но есть два: первое есть основаніе всякихъ политическихъ недоразумѣній, второе—многообильная причина и слѣдствіе заблужденія религіознаго; эти два мнѣ кажется полезнымъ опровергнуть.

Во-первыхъ, спрашиваютъ: «Почему человѣку нужно быть благоволящимъ и справедливымъ?» Отвѣтъ былъ данъ въ предъ-идущей главѣ.

Если человѣкъ продолжаетъ настаивать на вопросѣ, почему онъ долженъ содѣйствовать счастью человѣчества, онъ желаетъ

математическаго или метафизическаго основанія для моральнаго дѣйствія. Вздорность такого скептицизма менѣе очевидна, но не мелѣе дѣйствительна, чѣмъ желаніе имѣть какое-нибудь моральное основаніе для какого-нибудь математическаго или метафизическаго факта. Если кто-нибудь отказывается допустить, что всѣ радіусы круга—равной длины, или что человѣческія дѣйствія необходимо опредѣляются побудительными мотивами, пока не будетъ доказано, что эти радіусы и эти дѣйствія единообразно тяготѣютъ къ созданію величайшаго общаго блага, кто не подивится на безразсудное и капризное сочетаніе его идей?

Быть можетъ, найдутся люди, которые захотятъ изъять отъ повелѣній ума ту или иную изъ различныхъ системъ смутныхъ мнѣній касательно морали, которыя въ разныхъ странахъ и въ разныя эпохи господствовали среди человѣчества подъ названіемъ вѣрованій. Но—кто пишетъ философское разсужденіе, тотъ можетъ, думается мнѣ, въ эту ушедшую впередъ эру человѣческаго разума, не заниматься опроверженіемъ этихъ людей. Притомъ же, если послѣдствіемъ извѣстныхъ дѣйствій являются вѣчныя муки или вѣчное блаженство, какъ говорили эти люди,—мы отъ этого не ближе къ рѣшенію, какое изъ дѣйствій есть правое и какое неправое, если бъ даже мнимое прозрѣніе подробнымъ образомъ ихъ перечислило. Характеръ дѣйствій, добродѣтельныхъ или порочныхъ, отнюдь не опредѣляется только личной выгодой или невыгодой каждаго дѣйствующаго въ области морали, индивидуально разсматриваемаго. Дѣйствіе нерѣдко является добродѣтелью, въ соразмѣрности съ тяжестью личнаго бѣдствія, которое добровольно навлекаетъ на себя тотъ, кто осмѣлился дѣйствовать. Дѣйствіе хорошо или дурно потому, что оно создаетъ перевѣсъ наслажденія или страданія для наибольшаго числа чувствующихъ существъ, а не потому только, что слѣдствія его выгодны или вредоносны для виновника этого дѣйствія. Мало того, это послѣднее соображеніе можетъ осквернять чистоту добродѣтели, поскольку она состоитъ въ мотивѣ, болѣе, чѣмъ въ послѣдствіяхъ дѣйствія. Тотъ, кто будетъ трудиться для счастья человѣчества потому, что иначе онъ вѣчно будетъ мучиться въ Аду, въ виду этого побудительнаго мотива такъ же мало будетъ имѣть правъ на эпитетъ добродѣтельнаго, какъ тотъ, кто сталъ бы мучить, ввергать въ тюрьму и сжигать заживо,—

болѣе обычное и естественное слѣдствіе такихъ принциповъ,—ради наслажденій Неба.

Мой сосѣдъ, опираясь на свою силу, можетъ указать мнѣ, чтобы я совершилъ какое-нибудь особое дѣйствіе или воздержался отъ него, намѣчая извѣстное произвольное наказаніе, которое будетъ въ его власти причинить мнѣ, въ случаѣ моего неповиновенія. Если мое дѣйствіе будетъ видоизмѣнено его угрозами, оно далеко отъ добродѣтели. Оно не доставило мнѣ никакого мѣрила касательно того, что̀ право, что̀ неправо. Властитель, или собраніе людей, можетъ опубликовать указъ, назначающій то или иное наказаніе за опредѣленное дѣйствіе, но дѣйствіе не безнравственно оттого, что за него назначено наказаніе. Нѣтъ ничего болѣе очевиднаго, какъ то, что наименованіе добродѣтель непримѣнимо къ воздержанію отъ дѣйствія по причинѣ зла, произвольно съ нимъ связаннаго. Если дѣйствіе само по себѣ благотворно, добродѣтель скорѣе состоитъ не въ томъ, чтобы воздерживаться отъ него, а въ томъ, чтобы смѣло вызвать всѣ личныя послѣдствія, связанныя съ его совершеніемъ.

Если бъ какой-нибудь сверхприродный узурпаторъ могъ подчинить своей власти весь земной шаръ,—если бъ онъ имѣлъ неслыханныя средства надѣлять свои кары самыми страшными свойствами пытки,—если бъ мученія его жертвъ были напряженными по своей степени и продолжительными по своей безконечной длительности,—все же «воля законодателя» не доставила бы никакого достовѣрнаго мѣрила касательно правыхъ и неправыхъ дѣйствій. Она только увеличила бы возможную добродѣтель тѣхъ, кто отказывается быть орудіемъ его тиранніи.

### 2. Моральное знаніе состоитъ въ разсмотрѣніи не сходства, а различія отдѣльныхъ личностей.

Внутреннее вліяніе, заимствуемое изъ построенія ума, откуда проистекаютъ дѣйствія, создаетъ то особое ихъ видоизмѣненіе, которое дѣлаетъ ихъ внутренно добрыми или злыми.

Чтобы понять, какъ важно это различіе, разсмотримъ, въ воображеніи, то, что дѣлаетъ какая-нибудь столица. Взглянемъ на множество человѣческихъ существъ, въ ней живущихъ, и обозрѣемъ, въ мысли, дѣйствія отдѣльныхъ классовъ, на которые они раздѣляются. Явныя ихъ дѣйствія по видимости единообразны: устой-

чивость человѣческаго общества, какъ кажется, въ достаточной степени поддерживается единообразіемъ поведенія его сочленовъ, какъ въ отношеніи къ самимъ себѣ, такъ и въ отношеніи къ другимъ. Работникъ встаетъ въ опредѣленный часъ, и принимается за работу, ему предписанную. Должностныя лица, въ области администраціи и закона, исполняютъ свои обязанности на мѣстахъ службы и въ судахъ. Торговецъ—въ обычной своей колеѣ, отъ которой онъ никогда не отступаетъ. Особы духовныя говорятъ своимъ обычнымъ языкомъ, поддерживая пристойное и равномѣрное отношеніе. Войска—въ дѣлѣ, движенія каждаго солдата таковы, какъ можно ждать; генералъ командуетъ, и слова его переходятъ, какъ эхо, отъ отряда къ отряду. Домашнія дѣйствія людей, по большей части, неотличимы одно отъ другого, при поверхностномъ взглядѣ. Дѣйствія, классифицируемыя подъ общими наименованіями брака, воспитанія, дружбы и пр., безпрерывно осуществляются и, на поверхностный взглядъ, похожи одно на другое.

Но, если бы мы захотѣли видѣть правду вещей, мы должны были бы совлечь съ нихъ этотъ обманчивый видъ единообразія. Въ дѣйствительности ни одно дѣйствіе, если разсматривать его во всемъ его объемѣ, не имѣетъ существеннаго сходства съ какимъ-либо другимъ. Каждая изъ личностей, составляющихъ обширное множество, нами разсмотрѣнное, имѣетъ особый складъ ума, и этотъ складъ отмѣчаетъ мельчайшія линіи своею собственной окраской, въ то время какъ черты большой массы данныхъ дѣйствій остаются единообразными. Такимъ образомъ, въ то время какъ жизнь какого-нибудь человѣка, въ цѣломъ, похожа на жизнь другихъ людей, въ частностяхъ она до крайности отлична; и чѣмъ больше дѣйствія подраздѣляются, то-есть, чѣмъ болѣе они входятъ въ тотъ разрядъ, который имѣетъ жизненное вліяніе на счастье другихъ и на его собственное, тѣмъ больше и больше они отличаются отъ дѣйствій другихъ людей.

«Тѣ безъимянно-малые поступки,
Дѣянія любви и доброты,
Которыхъ мы не помнимъ» *),

такъ же, какъ тѣ смертельныя оскорбленія, которыя причиняются однимъ взглядомъ, однимъ словомъ—или того менѣе—самымъ воз-

*) Wordsworth, *Tintern Abbey.* (Прим. Шеперда).

держаніемъ отъ какого-нибудь слабаго и мимолетнѣйшаго выраженія на лицѣ,—все это проистекаетъ изъ болѣе глубокаго источника, чѣмъ цѣлая система нашего обычнаго поведенія, заимствующаго, какъ уже было сказано, свое происхожденіе извнѣ. Именно такія дѣйствія, и подобныя имъ, дѣлаютъ человѣческую жизнь тѣмъ, что она изъ себя представляетъ, и являются, источниками всего добраго и злого, чѣмъ вся ея поверхность такъ широко и такъ безпристрастно покрыта; и хотя ихъ называютъ мелкими, они такъ зовутся въ угоду слѣпотѣ, незнанію тѣхъ, кто не можетъ оцѣнить ихъ важности. Наиболѣе важная часть моральнаго знанія состоитъ въ томъ, чтобы оцѣнить общее вліяніе ихъ особенностей и выработать привычку пріобрѣтать рѣшительное знаніе касательно тяготѣній и склонностей, проистекающихъ изъ нихъ въ особыхъ случаяхъ. Необходимо, чтобы мы посѣтили глубочайшую бездну этихъ обширныхъ и многочисленныхъ пещеръ.

Таково различіе между общественнымъ и частнымъ человѣкомъ. Не то, чтобы это различіе считалось окончательнымъ, или опредѣляющимъ для какого-нибудь человѣческаго существа, по сравненію его съ другимъ; оно отмѣчаетъ скорѣе два разряда дѣятельности, общей въ извѣстной степени для каждаго человѣческаго существа. Никто, на самомъ дѣлѣ, не изъятъ отъ тѣхъ вліяній, которыми затрагивается какъ бы поверхность его существа, и которыя даютъ особый характеръ его поведенію. Почти все, что явно, подчинено этому законодательству, созданному общимъ представительствомъ минувшихъ чувствъ человѣчества—несовершенному, конечно, благодаря многообразію причинъ — какъ оно существуетъ въ правительствѣ, въ религіи, въ семейныхъ нравахъ. Тѣ, которые не подчиняются той же самой власти по имени, подчиняются ей въ дѣйствительности. Внѣшнія черты ихъ поведенія, на самомъ дѣлѣ, не могутъ отъ нея ускользнуть, какъ не могутъ облака ускользнуть отъ потока вѣтра; и мнѣніе, которое тотъ или другой человѣкъ составилъ, какъ онъ думаетъ, безпристрастно, совершенно независимо отъ всякой заразы предразсудка и вульгарности, при ближайшемъ разсмотрѣніи, оказывается неизбѣжнымъ наростомъ на тѣхъ самыхъ обыкновеніяхъ, на разногласіи съ которыми онъ такъ горячо настаиваетъ. Внутренно все ведется иначе; вліяніе, существенность, жизненность дѣйствій заимствуетъ свою окраску отъ того, что никоимъ образомъ не доставляется изъ какого-нибудь

внѣшняго источника. Такъ растеніе, заимствуя случайныя свойства роста и формы отъ почвы, на которой оно возникаетъ, изъязвлено, или искажено, или раздуто, но все же сохраняетъ тѣ качества, которыя существеннымъ образомъ отдѣляютъ его отъ другихъ: цикута не перестаетъ быть ядовитой, а фіалка не перестаетъ издавать ароматъ, на какой бы почвѣ она ни росла.

Мы разсматриваемъ нашу природу слишкомъ поверхностно. Мы смотримъ въ себѣ на все то, что мы можемъ открыть въ себѣ схожаго съ другими; и разсматриваемъ эти сходства, какъ матеріалы моральнаго знанія. Въ дѣйствительности же, оно состоитъ въ различіяхъ.

# О БУДУЩЕМЪ СОСТОЯНІИ.

Это было убѣжденіемъ огромнаго большинства человѣческихъ существъ, во всѣ вѣка и у всѣхъ народовъ, что мы продолжаемъ жить послѣ смерти,—этого видимаго окончанія всѣхъ отправленій чувственнаго и умственнаго существованія. Человѣчество не удовольствовалось также предположеніемъ тѣхъ способовъ существованія, которые были защищаемы нѣкоторыми философами; здѣсь разумѣется распаденіе составныхъ частей механизма живого существа на его элементы и невозможность малѣйшаго уменьшенія мельчайшей его частицы. Они ухватились за идею, что ощущеніе и мысль, отличаемыя ими отъ объектовъ, подъ отдѣльными наименованіями духа и матеріи, по собственной природѣ своей, менѣе способны на раздѣленіе и разрушеніе, и что, когда тѣло распадается на составные свои элементы, начало, его одушевлявшее, будетъ оставаться непрерывнымъ и неизмѣннымъ. Нѣкоторые философы – и тѣ, кому мы обязаны самыми удивительными открытіями въ области естествознанія,—предполагаютъ, съ другой стороны, что разумъ есть не что иное, какъ результатъ извѣстныхъ сочетаній между частицами его объектовъ; и тѣ среди нихъ, которые вѣрятъ, что мы живемъ послѣ смерти, прибѣгаютъ ко вмѣшательству сверхъестественной силы, которое осилитъ наклонность, присущую всѣмъ матеріальнымъ сочетаніямъ, разсѣеваться и быть поглощаемыми въ другія формы.

Прослѣдимъ разсужденія, которыя привели къ этимъ двумъ мнѣніямъ, и попытаемся дознаться, что мы должны думать о вопросѣ, столь важномъ и интересномъ. Попытаемся проанализировать мысли и чувства, составляющія враждебныя вѣрованія, и тщательно установимъ различеніе между словами и мыслями. Подвергнемъ вопросъ испытанію черезъ сопоставленіе его съ опытомъ и фактомъ: и, разсматривая нашу природу въ ея цѣломъ, спросимъ себя, какой свѣтъ можемъ мы получить изъ освѣдомленнаго

и полнаго разсмотрѣнія ея составныхъ частей, который далъ бы намъ возможность утверждать съ достовѣрностью, живемъ мы или не живемъ послѣ смерти.

Разсмотрѣніе этого вопроса требуетъ, чтобы онъ былъ освобожденъ отъ всѣхъ чисто-внѣшнихъ добавленій, сопровождающихъ его въ общемъ представленіи людей. Существованіе Бога и будущее состояніе наградъ и наказаній совершенно чужды самому вопросу. Если доказано, что міръ управляется нѣкоторой Божественной Властью, изъ этого обстоятельства не можетъ быть необходимымъ образомъ извлечено никакого вывода въ пользу будущаго состоянія. На самомъ дѣлѣ, было высказано утвержденіе, что такъ какъ благость и справедливость должны быть сопричислены къ свойствамъ Божества, оно несомнѣнно вознаградитъ добродѣтельныхъ, страдающихъ при жизни, и сдѣлаетъ каждое чувствующее существо, не заслуживающее наказанія, счастливымъ навсегда. Но это разсмотрѣніе вопроса лишь разрубаетъ узелъ, который мы стараемся распутать. Кромѣ того, если бы было доказано, съ другой стороны, что таинственное начало, правящее процессами вселенной, не является ни разумнымъ, ни ощущающимъ, не будетъ, однако, непослѣдовательностью предположить, что воодушевляющая сила переживетъ тѣло, которое было ею одушевлено, по законамъ, настолько же независимымъ отъ какого-либо сверхъестественнаго дѣятеля, какъ тѣ законы, по которымъ она вначалѣ была съ нимъ соединена. И если будущее состояніе будетъ ясно доказано, изъ этого еще не слѣдуетъ, что оно будетъ состояніемъ наказанія или награды.

Подъ словомъ *смерть* мы разумѣемъ только состояніе, при которомъ сущности, похожія на наши, повидимому, перестаютъ быть тѣмъ, чѣмъ онѣ были. Мы болѣе не слышимъ, чтобы онѣ говорили, и не видимъ, чтобы онѣ двигались. Если у нихъ есть ощущенія и воспріятія, мы болѣе не участвуемъ въ нихъ. Мы знаемъ только одно: эти внѣшніе органы и вся эта тонкая ткань матеріальной формы, безъ которыхъ, по даннымъ нашего опыта, жизнь или мысль существовать не могутъ, распались и разсѣялись. Тѣло помѣщено подъ землей и, по истеченіи нѣкотораго времени, тамъ не остается даже слѣда его формы. Это размышленіе безконечно печальное, и одна тѣнь его затемняетъ блистательность міра. Обычный наблюдатель пораженъ унынiемъ при видѣ этого зрѣ-

лища. Онъ напрасно борется противъ убѣжденія могилы, глася-щей, что мертвый дѣйствительно перестаетъ существовать. Трупъ у его ногъ пророчески возвѣщаетъ объ его собственной судьбѣ. Тѣхъ, которые предшествовали ему, чей голосъ былъ усладите-ленъ для его слуха, чье прикосновеніе встрѣчало его прикосно-веніе, какъ нѣжный и утонченный огонь, чей видъ распростра-нялъ призрачный свѣтъ на его пути,—ихъ больше онъ уже не можетъ встрѣтить. Органы чувствъ разрушены, и умственные про-цессы, отъ нихъ зависѣвшіе, погибли вмѣстѣ съ своими источ-никами. Какъ можетъ трупъ видѣть или чувствовать? Глаза его выѣдены, его сердце черно и безъ движенія. Какой разговоръ мо-жетъ быть между двумя грудами гнилого праха и крошащихся костей? Если вы можете открыть, гдѣ находятся свѣжія краски увядшаго цвѣтка и музыка сломанной лиры,—ищите жизни среди мертвыхъ. Таковы тоскливыя и страшныя размышленія обычнаго наблюдателя, хотя общераспространенная религія нерѣдко предо-стерегаетъ его отъ исповѣди въ этомъ даже самому себѣ.

Философъ-естествоиспытатель, въ добавленіе къ ощущеніямъ, внушаемымъ всѣмъ вообще людямъ самымъ событіемъ смерти, ви-дитъ, какъ ему кажется, съ большой достовѣрностью, что она со-провождается уничтоженіемъ чувства и мысли. Онъ наблюдаетъ ростъ и угасаніе умственныхъ силъ вмѣстѣ съ ростомъ и угаса-ніемъ тѣла и тотъ фактъ, что они даже приспособляются къ са-мымъ преходящимъ перемѣнамъ нашей тѣлесной природы. Сонъ задерживаетъ многія изъ способностей жизненнаго и мыслительнаго начала; опьяненіе и болѣзнь временно или постоянно нарушаютъ ихъ. Сумасшествіе или идіотизмъ могутъ до крайности погасить наиболѣе превосходныя и тонкія изъ этихъ силъ. Въ преклонномъ возрастѣ умъ постепенно изнашивается: и какъ онъ возросталъ и становился сильнѣе вмѣстѣ съ тѣломъ, такъ вмѣстѣ съ тѣломъ онъ приходитъ въ упадокъ. Конечно, это убѣдительныя свидѣтель-ства въ пользу того, что разъ органы тѣла подвержены законамъ неодушевленной матеріи,—ощущенію и воспріятію, и постиженію конецъ. Вполнѣ вѣроятно, что то, что мы называемъ мыслью, не есть дѣйствительное бытіе, а не болѣе, какъ отношеніе между ча-стями той безконечно разнообразной массы, изъ которой состав-лено все остальное во вселенной: она перестаетъ существовать, какъ только эти части измѣняютъ свое положеніе по отношенію

другъ къ другу. Такимъ образомъ, цвѣтъ и звукъ, и вкусъ, и запахъ существуютъ лишь относительно. Но допустимъ, что мысль есть особая сущность, проницающая собою одушевленіе живыхъ существъ и являющаяся его причиной. Почему должны мы полагать, что эта сущность есть нѣчто совершенно отличное отъ всѣхъ другихъ и изъята отъ подчиненія тѣмъ законамъ, изъ которыхъ не изъята никакая другая сущность? Она отличается, на самомъ дѣлѣ, отъ всѣхъ другихъ сущностей, какъ электричество и свѣтъ, и магнетизмъ, и составныя части воздуха и земли отличаются отъ всѣхъ другихъ. Каждая изъ нихъ подвержена перемѣнѣ и упадку, и обращенію въ другія формы. Но различіе между свѣтомъ и землей врядъ ли болѣе велико, чѣмъ различіе, существующее между жизнью, или мыслью, и огнемъ. На различіе между двумя первыми никогда не ссылались, какъ на доводъ въ пользу вѣчнаго ихъ существованія, въ той формѣ, въ которой они могли впервые представиться нашему наблюденію. Почему же различіе между двумя послѣдними сущностями стало бы доводомъ въ пользу продолженія существованія одной, а не другой, когда существованіе обѣихъ пришло къ видимому своему окончанію? Говорить, что огонь существуетъ безъ проявленія какихъ-либо свойствъ огня, какъ свѣтъ, тепло и т. под., или что начало жизни существуетъ безъ сознанія или памяти, или желанія, или побудительныхъ мотивовъ, это значитъ отказаться, неловкимъ искаженіемъ рѣчи, отъ утвержденія спора. Сказать, что начало жизни можетъ существовать распредѣленнымъ среди различныхъ формъ, это значитъ принимать утвержденіе, недоказуемое касательно своей ложности или истинности, такое утвержденіе, что, разъ оно истинно, оно уничтожаетъ всякую надежду на существованіе послѣ смерти, въ томъ смыслѣ, въ которомъ это событіе можетъ относиться къ надеждамъ и страхамъ людей. Предположимъ, однако, что мыслительное и жизненное начало самымъ четкимъ и существеннымъ образомъ отличается отъ всѣхъ другихъ извѣстныхъ сущностей: что всѣ онѣ имѣютъ между собою нѣкоторое сходство, въ которомъ оно ни въ какой степени не участвуетъ. Какимъ образомъ такое предположеніе можетъ быть сдѣлано доводомъ въ пользу его нетлѣнности? Все, что мы видимъ или знаемъ, гибнетъ и измѣняется. Жизнь и мысль дѣйствительно отличаются отъ чего бы то ни было другого. Но, чтобы она переживала тотъ періодъ, за предѣлами котораго у насъ нѣтъ опыта

ея существованія, этого нельзя доказать такимъ различіемъ и несходствомъ, и ничто, кромѣ нашихъ собственныхъ желаній, не могло бы привести насъ къ такой догадкѣ или такому представленію.

Существовали ли мы до рожденія? Трудно представить возможность этого. Въ рождающемъ началѣ каждаго животнаго и растенія есть сила, которая обращаетъ окружающія его сущности въ сущность, съ нимъ однородную. То-есть, отношеніе между извѣстными первичными частицами матеріи претерпѣваетъ перемѣну и подчиняется новымъ сочетаніямъ. Ибо, когда мы употребляемъ слова: начало, сила, причина и т. под., это не значитъ, что мы разумѣемъ реальное бытіе; мы только классифицируемъ подъ такими наименованіями извѣстный рядъ сосуществующихъ явленій; но допустимъ, что это начало есть извѣстная сущность, ускользающая отъ наблюденія химика и анатома. Это, конечно, можетъ быть, хотя въ высшей степени не философично ссылаться на возможность мнѣнія, какъ на доказательство его истинности. Видитъ ли она, слышитъ ли, чувствуетъ ли, до ея соединенія съ тѣми органами, отъ которыхъ зависитъ ощущеніе? Разсуждаетъ ли она, воображаетъ ли, воспринимаетъ ли, безъ тѣхъ мыслей, которыя сообщать можетъ лишь ощущеніе? Если мы не существовали до рожденія; если въ тотъ періодъ, когда части нашей природы, отъ которыхъ жизнь и мысль зависитъ, кажутся сочетающимися вмѣстѣ, онѣ сочетаются вмѣстѣ; если нѣтъ никакихъ основаній предполагать, что мы существовали до того періода, когда наше существованіе, повидимому, начинается,—нѣтъ никакихъ основаній для предположенія, что мы будемъ продолжать существовать послѣ того какъ наше существованіе, повидимому, прекратилось. Что касается мысли и жизни, то же самое, повидимому, будетъ съ нами, если разсматривать насъ индивидуально,—послѣ смерти, что было до нашего рожденія.

Была высказана мысль, что, можетъ быть, мы будемъ существовать такимъ способомъ, который въ данное время для насъ совершенно непостижимъ. Это самое неосновательное притязаніе. Это отбрасываетъ на приверженцевъ уничтоженія тяжесть доказательства отрицанія вопроса, утвержденіе котораго не поддержано никакимъ доводомъ, и который, по самой своей природѣ, лежитъ за предѣлами опыта человѣческаго разумѣнія. На самомъ дѣлѣ, до-

вольно легко создать какое-нибудь положеніе, относительно котораго мы несвѣдущи, именно не настолько нелѣпое, какъ и не настолько противорѣчивое само по себѣ, и требовать опроверженія. Возможность вообразить что бы то ни было, что входитъ въ самое необузданное воображеніе, такимъ образомъ побѣдоносно защищена. Но довольно, чтобы такія утвержденія или противорѣчили извѣстнымъ законамъ природы, или превышали границы нашего опыта, чтобы ихъ ложность или непріемлемость для нашего соображенія была доказана. Они убѣждаютъ, дѣйствительно, только тѣхъ, которые желаютъ быть убѣжденными.

Это желаніе быть навсегда такими, какіе мы теперь, отвращеніе по отношенію къ насильственной и неиспытанной перемѣнѣ, общее всѣмъ одушевленнымъ и неодушевленнымъ сочетаніямъ въ мірѣ, является, въ дѣйствительности, тайнымъ увѣреньемъ, породившимъ мнѣнія о будущемъ состояніи.

1818.

# О ЛИТЕРАТУРѢ, ИСКУССТВАХЪ И НРАВАХЪ АѲИНЯНЪ.

*ОТРЫВОКЪ*

Періодъ времени между рожденіемъ Перикла и смертью Аристотеля, разсматриваемый самъ по себѣ, или въ связи съ вліяніемъ, которое онъ оказалъ на послѣдующія судьбы цивилизованнаго человѣчества, является несомнѣнно самымъ достопамятнымъ въ исторіи міра. Какое сочетаніе нравственныхъ и политическихъ условій вызвало въ теченіи этого періода такой безпримѣрный прогрессъ въ литературѣ и искусствахъ; почему это поступательное движеніе, такое быстрое и такое безпрерывное, такъ скоро задержалось и сдѣлалось обратнымъ,—это вопросы, надъ которыми потомство можетъ дивиться и строить догадки. Обрывки и неполныя части того, чѣмъ были эти утонченные и глубокіе умы, подобно обломкамъ красивой статуи, неясно даютъ намъ знать о величіи и совершенствѣ цѣлаго. Самый языкъ ихъ—символъ разумѣній, которыхъ онъ былъ созданіемъ и образомъ,—по разнообразію, простотѣ, гибкости и богатству превосходитъ каждый другой языкъ западнаго міра. Ихъ изваянія таковы, что мы, въ своихъ самоувѣренныхъ догадкахъ, считаемъ ихъ образцомъ идеальной правды и красоты, и никто изъ художниковъ новаго времени не можетъ создать формъ, сколько-нибудь съ ними сравнимыхъ. Ихъ картины, согласно съ Плиніемъ и Павзаніемъ, были полны тонкаго очарованія и гармоніи; а нѣкоторыя были даже въ высокой степени патетичны, такъ что вызывали, какъ нѣжная музыка или трагическая поэзія, самое захватывающее волненіе. Мы привыкли думать, что художники шестнадцатаго вѣка довели свое искусство до высочайшаго совершенства, но эта привычка основана, вѣроятно, на томъ, что ни одна изъ античныхъ картинъ не сохранилась. Ибо всѣ изобразительныя искусства находятся между собою какъ бы въ сочувственной связи, являясь ничѣмъ инымъ, какъ различными проявленіями одной внутренней силы, видоизмѣненными разностью обстоятельствъ личности или общества; и живопись даннаго періода

находилась, вѣроятно, въ томъ же соотношеніи съ послѣдующей за нею живописью, въ какомъ, внѣ спора, находится тогдашняя скульптура. Объ ихъ музыкѣ мы знаемъ мало: но дѣйствіе, которое, судя по разсказамъ, они достигали, нужно ли его относить на счетъ искусства композитора, или на счетъ впечатлительности слушателей, было гораздо болѣе могущественнымъ, чѣмъ какое-либо впечатлѣніе, получаемое нами отъ музыки нашихъ дней; и если дѣйствительно мелодіи ихъ композицій были болѣе нѣжны и воздушны, и отмѣчены бо́льшимъ вдохновеніемъ, чѣмъ мелодіи какихъ-либо современныхъ Европейскихъ народовъ, ихъ превосходство въ этомъ искусствѣ должно было быть чѣмъ-то удивительнымъ, чѣмъ-то совершенно внѣ возможности представленія.

Поэзія находилась, повидимому, на весьма высокомъ уровнѣ, хотя не столь далекомъ отъ пропорціональности, въ сравненіи. Быть можетъ, Шекспиръ, благодаря различности и всеобъемлемости его генія, долженъ быть разсматриваемъ, въ цѣломъ, какъ величайшій изъ всѣхъ индивидуальныхъ умовъ, образцы творчества которыхъ остались въ нашихъ рукахъ. Быть можетъ, Данте создалъ фантазіи бо́льшей плѣнительности и энергіи, чѣмъ какая-либо изъ фантазій, которыя можно найти въ древне-греческой литературѣ. Быть можетъ, ничего не было открыто въ отрывкахъ Греческой лирической поэзіи, что могло бы быть поставлено въ уровень съ возвышенной и рыцарской впечатлительностью Петрарки. Но, какъ поэтъ, Гомеръ долженъ быть признанъ превышающимъ Шекспира въ истинѣ, гармоніи, въ выдержанномъ величіи, въ удовлетворяющей завершенности его образовъ, въ точной пригодности ихъ для освѣщенія мысли и въ точной совмѣстности ихъ съ тѣмъ, къ чему они принадлежатъ. Равнымъ образомъ Данте, исполненный недостатковъ въ выполненіи, въ планѣ, въ природѣ, въ разнообразіи, въ трезвости, можетъ быть сравниваемъ съ этими людьми лишь за тѣ счастливые острова, обремененные золотыми плодами, которые одни только и могутъ искушать кого-либо, чтобы онъ сѣлъ въ ладью и отправился въ туманный океанъ его мрачнаго и экстравагантнаго вымысла.

Но,—если опустить сравненіе отдѣльныхъ умовъ, которое не можетъ доставить общаго вывода,—насколько выше былъ духъ и самая система поэтическаго творчества Грековъ, по сравненію съ поэзіей какого-либо иного періода. Настолько, что, если бы какой-

нибудь геній, равный въ другихъ отношеніяхъ величайшимъ геніямъ, когда-либо озарявшимъ міръ, возникъ въ эту эпоху, онъ былъ бы выше всѣхъ, лишь благодаря тому обстоятельству, что его замыслы приняли бы болѣе гармоническую и совершенную форму. Ибо слѣдуетъ быть отмѣченнымъ, что все, созданное поэтами этой эпохи, настолько совершенно и стройно, какъ это только возможно. Если, напримѣръ, драма была произведеніемъ таланта посредственнаго, все же она отличалась однородностью и была свободна отъ неравныхъ колебаній: она представляла изъ себя нѣчто цѣльное, связное само по себѣ. Произведенія великихъ умовъ съ начала до конца были отмѣчены печатью ихъ величія. Въ поэзіи слѣдующихъ вѣковъ ожиданія часто возносятся на Икаровыхъ крыльяхъ и падаютъ, слишкомъ далекіе отъ замышленнаго, чтобы дать память и имя забвенному водоему, въ который они упали.

Въ области физическаго знанія Аристотель и Теофрастъ,—опираясь, безъ сомнѣнія, на работы предшественниковъ, которыхъ они разсматриваютъ критически,—сдѣлали уже завоеванія, достойныя зрѣлаго состоянія науки. Изумительное изобрѣтеніе геометріи, цѣлый рядъ открытій, давшихъ человѣку возможность владычествовать надъ стихіями и предвидѣть грядущія событія,—ранѣе предметъ ихъ невѣжественнаго удивленія,—и какъ бы открывшихъ двери къ тайнамъ природы, уже были доведены до великаго совершенства. Метафизика, знаніе сокровенной природы человѣка, и логика, или грамматика, и основныя положенія этой науки получили отъ послѣднихъ философовъ Периклова вѣка прочный фундаментъ. Вся наша болѣе точная философія построена на трудахъ этихъ великихъ людей, и многія изъ словъ, употребляемыхъ нами въ метафизическихъ раздѣленіяхъ, были изобрѣтены ими, для того, чтобы придать своимъ разсужденіямъ точность и порядокъ. Знаніе этики, или сознательное отношеніе людей къ другимъ и къ самимъ себѣ, ведетъ начало отъ этой эпохи. Какъ невыразимо смѣлѣе и чище были ученія этихъ великихъ людей, по сравненію съ робкими правилами, господствующими въ сочиненіяхъ наиболѣе уважаемыхъ изъ современныхъ моралистовъ. Они были тѣмъ же, чѣмъ Фокіонъ, Эпаминондъ и Тимолеонъ, образовавшіеся подъ ихъ вліяніемъ, были по сравненію съ злосчастными героями нашего собственнаго вѣка.

Политическія и религіозныя ихъ учрежденія болѣе трудно сравнить съ аналогичными учрежденіями другихъ временъ. Общее представленіе о цѣнности той или другой политической и религіозной системы можетъ быть составлено на основаніи наблюденія надъ сравнительной степенью счастья и надъ уровнемъ умственнаго развитія, обусловленныхъ вліяніемъ ихъ. И въ то время какъ многія изъ учрежденій и мнѣній, которыя въ древней Греціи были препятствіями для усовершенствованія человѣческаго рода, были уничтожены среди современныхъ народовъ, сколько новыхъ вредныхъ предразсудковъ и измышленій правительственнаго своеволія, сколько неслыханныхъ осложненій общественнаго злодѣянія было изобрѣтено среди нихъ недремлющимъ духомъ скряжничества и тиранніи.

Современные народы цивилизованнаго міра обязаны совершеннымъ ими прогрессомъ—какъ въ области физическихъ знаній, въ которыхъ они уже превзошли своихъ наставниковъ, такъ и въ области нравственныхъ и умственныхъ изысканій, въ которыхъ, при всемъ преимуществѣ опыта, врядъ ли они еще сравнились съ ними,—тому, что названо было возрожденіемъ знаній; то-есть, изученію писателей эпохи, предшествовавшей правленію Перикла и непосредственно слѣдовавшей за нимъ, или послѣдующихъ писателей, которые были, такъ сказать, рѣками, проистекающими изъ этихъ безсмертныхъ источниковъ. И хотя въ современномъ мірѣ есть, повидимому, извѣстное начало, которое, если бы возникли обстоятельства, подобныя тѣмъ, что образовали въ такомъ гармоническомъ сочетаніи умственные источники обсуждаемой нами эпохи, укрѣпило бы ихъ, продолжило и свело бы соотвѣтствующіе результаты къ болѣе равному, обширному и длительному улучшенію въ состояніи человѣка: хотя справедливость и истинный смыслъ человѣческаго общежитія нашли теперь, если не болѣе точное, то болѣе общее пониманіе: хотя люди, какъ масса, можетъ быть, знаютъ теперь больше, а потому и сами они—нѣчто большее,—все же это начало никогда не было призвано къ дѣйствію, и требуетъ въ дѣйствительности всеобщаго и почти ужасающаго измѣненія въ порядкѣ существующихъ вещей. Изученіе современной исторіи есть изученіе королей, финансистовъ, государственныхъ людей и священниковъ. Изученіе исторіи древней Греціи есть изученіе законодателей, философовъ и поэтовъ: это не исторія титуловъ, а

исторія людей. То, чѣмъ были Греки, было дѣйствительностью, а не обѣщаніемъ. А то, что—мы, и то, чѣмъ мы надѣемся быть, проистекаетъ изъ вліянія, оказываемаго этими славными поколѣніями, и изъ вдохновенія, внушаемаго ими.

Все, что можетъ доставить дальнѣйшее освѣщеніе нравовъ и мнѣній тѣхъ людей, которымъ мы обязаны столь многимъ, и которые, въ цѣломъ, были, можетъ быть, наиболѣе совершенными образцами достовѣрно извѣстнаго намъ человѣчества, было бы безконечно цѣннымъ. Разсмотримъ ихъ заблужденія, ихъ слабости, ихъ ежедневные поступки, ихъ будничные разговоры, уловимъ настроеніе ихъ общества. Когда мы откроемъ, насколько эта удивительнѣйшая изъ всѣхъ, когда-либо существовавшихъ, общинъ была далека отъ того совершенства, къ которому человѣческое общество призвано стремиться какой-то дѣятельною силой, живущей въ груди у каждаго, какъ велики будутъ наши надежды, какъ рѣшительна наша борьба! Ибо Греки Перикловой эпохи были весьма отличны отъ насъ. Весьма прискорбно, что ни одинъ изъ современныхъ писателей до сихъ поръ не посмѣлъ показать ихъ такими, какими они были въ дѣйствительности. Бартелеми нельзя отказать въ похвалѣ за его усердіе и систему; но онъ никогда не забываетъ, что онъ Христіанинъ и Французъ. Виландъ, въ своихъ прелестныхъ новеллахъ, рисуетъ довольно сноснаго Язычника, но у него слишкомъ много политическихъ предразсудковъ, и онъ боится уменьшить интересность своихъ романовъ изображеніемъ такихъ чувствъ, которымъ врядъ ли могъ бы сочувствовать кто-нибудь изъ современныхъ Европейцевъ. Нѣтъ ни одной книги, которая показывала бы Грековъ такими, какими они были въ точности; всѣ книги о нихъ кажутся написанными для дѣтей, съ соблюденіемъ предосторожности, чтобы не было упомянуто ни о какихъ нравахъ или чувствахъ, въ высокой степени несовмѣстимыхъ съ нашими теперешними нравами, иначе эти послѣдніе могутъ подвергнуться оскорбленію и нарушенію. Но есть много читателей, для которыхъ Греческій языкъ недоступенъ, и они не должны были бы, въ силу этой ложной скромности, лишаться точнаго и полнаго представленія объ исторіи человѣчества; ибо нѣтъ такого знанія, касательно того, чѣмъ человѣкъ былъ и чѣмъ онъ можетъ быть, исходя изъ котораго, то или иное лицо не сдѣлалось бы въ извѣстной степени болѣе философичнымъ, терпимымъ и справедливымъ.

Одно изъ главныхъ различій между нравами древней Греціи и современной Европы заключается въ постановленіяхъ и чувствованіяхъ касательно сношеній между полами. Проистекаетъ ли это различіе изъ нѣкотораго несовершеннаго вліянія ученій Христа, признававшаго полное и безусловное равенство всѣхъ человѣческихъ существъ, или изъ учрежденій рыцарства, или изъ извѣстнаго основного отличія тѣлесной природы Кельтовъ, или изъ сочетанія всѣхъ или нѣкоторыхъ изъ этихъ причинъ, въ ихъ взаимодѣйствіи,— это вопросъ, требующій многотомнаго изслѣдованія. Дѣйствительность такова, что современные Европейцы въ этомъ отношеніи и въ уничтоженіи рабства совершили самое рѣшительное улучшеніе въ распорядкѣ человѣческаго общества; и вся добродѣтель и мудрость Перикловой эпохи возникла при другихъ учрежденіяхъ, вопреки уменьшенію — въ утонченности, силѣ, широтѣ захвата, и точности понятій нравственнаго, политическаго и метафизическаго знанія, а можетъ быть и всѣхъ другихъ искусствъ и наукъ,— необходимо обусловленному личнымъ рабствомъ и подчиненностью женщинъ.

Женщины, такимъ образомъ приниженныя, сдѣлались тѣмъ, чего можно было ожидать. За исключеніемъ весьма малыхъ примѣровъ, онѣ отличались привычками и качествами рабовъ. Вѣроятно, онѣ не были чрезмѣрно красивыми; во всякомъ случаѣ не было такого рѣзкаго различія въ привлекательности внѣшнихъ формъ между Греческими женщинами и мужчинами, какое существуетъ среди современныхъ Европейцевъ. Онѣ были, конечно, лишены того нравственнаго и умственнаго очарованія, которымъ пріобрѣтеніе знанія и выработка чувства одушевляютъ какъ бы новой, нѣжной и властной жизнью черты и движенія каждой формы, въ которой они живутъ. Глаза ихъ не могли быть глубокими и являть въ себѣ запутанную сложность, благодаря усиліямъ ума; ихъ сердце не было вовлечено въ лабиринты, которые сплетаетъ душа.

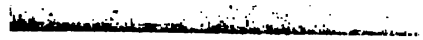
Не нужно думать, что, если Греки были лишены законнаго предмета сантиментальной любви, они не были на нее способны, и что эта страсть является лишь дѣтищемъ рыцарства и литературы нашихъ дней. Этотъ предметъ, или его первообразъ, всегда существуетъ въ умѣ, выбирающемъ среди тѣхъ, которые на него походятъ, то, что на него походитъ наиболѣе; онъ инстинктивно заполняетъ пробѣлы несовершеннаго образа, такимъ же способомъ,

какъ воображеніе измѣняетъ и дополняетъ призраки, являющіеся въ облакахъ или въ огнѣ, пока не получаетъ сходство съ какой-нибудь опредѣленной формой, съ животнымъ, со зданіемъ и съ тому подобнымъ. Въ самомъ дикомъ своемъ состояніи человѣкъ есть существо общественное: извѣстная степень цивилизаціи и утонченности всегда создаетъ необходимость сочувствія, еще болѣе внутреннюю и полную; и удовлетвореніе чувственности является уже здѣсь не всѣмъ, чего ищутъ въ соприкосновеніи половъ. Оно вскорѣ становится очень малой частью того глубокаго и сложнаго чувства, которое мы называемъ любовью, чувства, которое является скорѣе всеобщей жаждой общенія не только чувствъ, но и всей нашей природы—ума, воображенія и ощущеній, и которое, будучи замкнуто въ рамки личности, становится властной необходимостью, такъ что оно можетъ быть удовлетворено лишь полнымъ или частичнымъ, дѣйствительнымъ или предполагаемымъ, исполненіемъ его исканій. Эта жажда ростетъ все болѣе властно, въ соотвѣтствіи съ развитіемъ, получаемымъ нашей природой отъ цивилизаціи, ибо человѣкъ никогда не перестаетъ быть существомъ общественнымъ. Половое побужденіе, представляющее изъ себя лишь одну, и нерѣдко очень малую, часть этихъ исканій, служитъ, благодаря явной и внѣшней своей природѣ, какъ бы ликомъ и выраженіемъ всего остального, общимъ основаніемъ, признаваемымъ и зримымъ звеномъ. Это—исканіе, которое даже извлекаетъ силу, не свою собственную, изъ частныхъ обстоятельствъ, его окружающихъ, исканіе, которое природа наша жаждетъ удовлетворить. Чтобы оцѣнить это, наблюдите степень напряженности и длительности любви самца къ самкѣ среди животныхъ и дикарей и замѣтьте всю длительность и напряженность любви цивилизованныхъ существъ, за предѣлами любви дикихъ, отнеся ее на счетъ другихъ причинъ. Въ воспріемлемости внѣшнихъ чувствъ нѣтъ, вѣроятно, важнаго различія.

Среди древнихъ Грековъ мужской полъ, одна половина человѣческаго рода, получалъ высшую холю и имѣлъ своимъ удѣломъ утонченность; между тѣмъ какъ другой полъ, что касается разума, воспитывался такъ, какъ будто представительницы его были рабынями, и во всемъ, что относится къ нравственному и умственному совершенству, лишь на немного ступеней превосходилъ состояніе дикихъ. Тѣ или иныя ступени въ человѣческомъ обществѣ являютъ

намъ въ этомъ отношеніи медленное усовершенствованіе. Римскія женщины пользовались бо́льшимъ уваженіемъ въ обществѣ, и на нихъ смотрѣли почти какъ на равныхъ соучастниковъ ихъ мужей въ распорядкѣ семейнаго быта и въ воспитаніи дѣтей. Нравы и обычаи современной Европы существеннымъ образомъ отличаются какъ отъ Греческихъ, такъ и отъ Римскихъ нравовъ: они несравненно менѣе вредны, хотя далеки отъ того, въ чемъ просвѣщенный умъ не можетъ не усматривать желательнаго грядущаго, какъ удѣла человѣческихъ существъ.

# ОБЪ ОДНОМЪ МѢСТѢ ВЪ „КРИТОНѢ“.



## Вступительное примѣчаніе мистрисъ Шелли:

**Извѣстно, что, когда Сократъ былъ присужденъ къ смерти, друзья его все устроили, чтобы онъ могъ бѣжать и находиться потомъ въ безопасности; но онъ отказался воспользоваться этимъ, на томъ основаніи, что хорошіе граждане должны повиноваться законамъ своего отечества. По этому поводу Шелли дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе.**

Отвѣтъ очень простъ.

Вашъ городъ не можетъ болѣе существовать, такъ какъ законы въ немъ болѣе не годны. Дѣйствительно, какъ можно сказать, что законы существуютъ, если тѣ граждане, которые заслуживаютъ быть содержимыми въ Пританеѣ на общественный счетъ, присуждаются къ наказаніямъ, долженствующимъ карать лишь самыхъ закоснѣлыхъ преступниковъ, въ то время какъ тѣ, противъ кого созданы законы, чтобы защищать отъ ихъ несправедливостей, живутъ въ почестяхъ и въ безопасности? Я не разрушаю вашего государства и не посягаю на ваши законы. Хотя вы причинили мнѣ несправедливость,—а этого, по мнѣнію большинства, достаточно, чтобы я былъ вправѣ считать, что между мной и вами война,—я, если бы имѣлъ власть, настолько далекъ отъ мысли о мщеніи, что постарался бы побѣдить васъ благодѣяніями. Все, что я могу сдѣлать теперь, это то, что сдѣлалъ бы мирный путникъ, который, будучи застигнутъ въ лѣсу разбойниками, ускользаетъ отъ нихъ, въ то время какъ они заняты дѣлежомъ добычи. И я это дѣлаю, хотя бы для меня было не только безразличнымъ, но и заманчивымъ умереть, будучи окруженнымъ друзьями, въ

увѣренности, что я наслѣдую славу, и избавляясь послѣ такой жизни, какъ моя, отъ разрушенія ума и тѣла, которое вскорѣ должно было бы стать моимъ удѣломъ, если бы я продолжалъ жить. Но я предпочитаю благо, которое еще въ моей власти свершить.

Таковы доводы, которые опровергаютъ софизмъ, вложенный въ уста Сократу Платономъ. Но есть и другіе, доказывающіе, что онъ поступилъ хорошо, умеревъ.

# 1819.

# КРИТИЧЕСКІЯ ЗАМѢЧАНІЯ О СКУЛЬПТУРѢ ФЛОРЕНТИНСКОЙ ГАЛЛЕРЕИ.

## Ніобея.

Изъ всего, что осталось намъ отъ Греческой античности, этотъ образъ является, быть можетъ, наиболѣе законченнымъ олицетвореніемъ очарованія въ отношеніи лица, какъ Венера Трибуны—въ отношеніи всей женской фигуры. Изваяніе колоссально: размѣры увеличиваютъ его достоинства, ибо они, даютъ зрителю возможность наибольшаго выбора точекъ зрѣнія и доставляютъ ему болѣе аналитическую точку, съ которой можно схватить наибольшее число безконечныхъ манеръ выраженія, изъ которыхъ необходимо состоитъ всякій образъ, приближающійся къ идеальной красотѣ. Это образъ матери, защищающей, отъ какой-то божественной и неизбѣжной опасности, послѣдняго, какъ мы можемъ себѣ представить, своего ребенка.

Маленькое созданіе, устрашенное, какъ мы можемъ вообразить, странной гибелью всѣхъ своихъ родныхъ, убѣжало къ своей матери и прячетъ свою голову въ складкахъ ея платья, откидывая назадъ одну руку, какъ бы страстно взывая къ защитѣ, ища ея тамъ, гдѣ раньше никогда не искало ея напрасно. Ребенокъ одѣтъ въ тонкую тунику изъ нѣжной ткани; волосы закрѣплены на головѣ узломъ, вѣроятно, завязаннымъ матерью, чья заботливая рука никогда ужъ больше не закрѣпитъ этотъ узелъ. Ніобея закутана въ пышную ткань, часть ея она собрала лѣвою рукой и какъ разъ протягиваетъ ее надъ ребенкомъ, инстинктивно защищая его отъ того, о чемъ разумъ знаетъ, что оно неизбѣжно. Правой рукой (какъ реставраторъ справедливо представилъ себѣ) она притягиваетъ свою дочь къ себѣ: инстинктивный жестъ и нѣжное давленіе руки ободряютъ ребенка, заставляя его вѣрить, что она можетъ защитить. Лицо Ніобеи—завершенность женственной величественности и оча-

рованія, за предѣлами которыхъ воображеніе врядъ ли можетъ представить себѣ что-нибудь.

Это образцовое произведеніе поэтической гармоніи мрамора выражаетъ другія чувства. Здѣсь воплощено ощущеніе неизбѣжнаго и быстраго рока, свершающагося вокругъ нея, и какъ бы уже свершившагося. Кажется, какъ будто отчаяніе и красота сочетались и ничего не создали, кромѣ возвышенности скорби. Какъ движенія и формы выражаютъ инстинктивное ощущеніе возможности защитить ребенка и привычное ласковое увѣреніе, что онъ найдетъ въ ея рукахъ убѣжище, такъ разсудокъ и воображеніе говорятъ въ лицѣ о достовѣрности, что всякая смертная помощь безсильна. Въ лицѣ нѣтъ страха, только скорбь, глубокая, непоправимая скорбь. Нѣтъ въ немъ гнѣва:—какой смыслъ въ негодованіи на то, что извѣстно, какъ всемогущее? Въ немъ нѣтъ себялюбиваго отшатыванія отъ личной пытки—нѣтъ ничего паническаго въ сверхприродномъ дѣйствіи—нѣтъ вниманія къ себѣ, какъ къ себѣ: злополучіе слишкомъ велико, чтобы оставлять мѣсто для такихъ воспріятій.

Все потонуло въ печали: она вся въ слезахъ: лицо ея, исполненное увѣреннаго ожиданія стрѣлы, которая пронзитъ въ ея объятіяхъ послѣднюю свою жертву, устремлено на всемогущаго ея врага. Патетическая красота выраженія ея нѣжнаго и неистощимаго, непогасимаго отчаянія превышаетъ предѣлы эффектовъ ваянія. Какъ только стрѣла пронзитъ то, что является послѣднею ея связью съ землей, притча, гласящая, что она превратилась въ камень, или растаяла въ потокѣ слезъ, будетъ лишь слабымъ знаменіемъ той печали безнадежности, въ которой, мы чувствуемъ, протекутъ немногіе и злые годы ея оставшейся жизни.

Трудно говорить о красотѣ лица, или сдѣлать понятнымъ въ словахъ, чѣмъ обусловливается такое поразительное очарованіе.

Голова, откинутая нѣсколько назадъ и покоящаяся на плавномъ и полномъ контурѣ шеи, какъ бы подстерегаетъ событіе, которое вотъ-вотъ совершится. Волосы гонко раздѣлены на лбу, и нѣжной красотою исполнено это широкое и ясное чело, надъ которымъ подняты ихъ пряди. Лицо отличается полнотою овала, и черты задуманы съ дерзновеніемъ чувства власти. Въ этомъ отношеніи оно напоминаетъ то непредумышленное величіе, которымъ Природа запечатлѣваетъ рѣдкія мастерскія созданія своего творчества, какъ бы гармонизируя ихъ силой гармоніи духа внутри.

Но все это не только согласуется, а и причинно связуется съ утонченнѣйшей изысканностью ясной и нѣжной красоты—съ выраженіемъ невинности души и вмѣстѣ ея возвышенности—чистоты и силы—всего, что касается самыхъ сокровенныхъ и божественныхъ струнъ, создающихъ музыку въ нашихъ мысляхъ—всего, что потрясаетъ изумленіемъ даже людей наиболѣе поверхностныхъ.

Комитетъ Библіотеки Служащихъ Сѣверо-Западныхъ ж. д.

## Минерва.

Голова исполнена высочайшей красоты. На ней тѣснописаемъ, изъ-подъ котораго наполовину ускользаютъ волосы, тонко раздѣленные на лбу. Поза придаетъ полный эффектъ совершенной формѣ шеи и законченному красивому очертанію нижней части лица и рта, который у живыхъ существъ есть печать выраженія простоты и цѣльности натуры. Лицо ея, поднятое къ небу, оживлено глубокой, нѣжной и страстной печалью, со строгой, пламенной и безкорыстной защитой противъ какого-то обширнаго и неизбѣжнаго зла. Это радость и поэзія печали, дѣлающія скорбь красивой и придающія ей то неизреченное ощущеніе, которое, по несовершенству нашей рѣчи, мы называемъ мукой, но которое не все есть мука,—чувство, заставляющее не только его обладателя, а и его созерцателя предпочитать его тому, что названо наслажденіемъ, въ которомъ не все есть наслажденіе. Трудно повѣрить, что эта голова, хотя и исполненная высочайшей идеальной красоты, есть голова Минервы, хотя аттрибуты и положеніе нижней части изваянія достовѣрно внушаютъ эту мысль. Греки рѣдко, въ изображеніяхъ характеровъ своихъ боговъ, развѣ что поэтическій энтузіазмъ Аполлона мы назовемъ смертной страстью,—выражали смятеніе человѣческаго чувства: а здѣсь мы видимъ глубокую и страстную скорбь, воодушевляющую божественное лицо. Оно дѣйствительно божественно. Мудрость, которую, какъ можно предположить, символизуетъ Минерва, настойчиво поддерживаетъ тяжбу, говоря съ Властью,—и она исполнена выраженія этой скорби, потому что всегда будетъ говорить напрасно. Покровъ, облекающій статую, нѣжная красота ногъ и грація позы—все это можно видѣть во многихъ другихъ статуяхъ, принадлежащихъ къ той удивительной эпохѣ, которая ее создала; но такое лицо можно видѣть лишь въ немногихъ.

Случилось такъ, что эта статуя помѣщена на пьедесталѣ, рельефъ котораго по сюжету отличается духомъ совершенно обратнымъ. Это былъ, вѣроятно, алтарь Вакху—быть можетъ, какая-нибудь погребальная урна. Подъ завитками плодовъ и цвѣтовъ, украшающихъ пьедесталъ, углы котораго орнаментированы козлиными черепами, изваяно нѣсколько фигуръ Менадъ, вдохновленныхъ богомъ. Ничего нельзя себѣ представить болѣе дикаго и страшнаго, чѣмъ ихъ тѣлодвиженія, доходящія до предѣла искаженности, въ которую брошены ихъ нѣжные члены и очаровательныя формы. Здѣсь нѣтъ, однако, ничего, что превышало бы возможности природы, хотя ея граница здѣсь на крайней точкѣ.

Ужасающій духъ суевѣрія, вспоможенный пьяностью, создающей нѣчто находящееся за предѣлами безумія, какъ будто захватилъ ихъ въ свои вихри и вознесъ надъ землей, какъ быстрыя спирали бури захватываютъ вѣчно-перемѣнный столбъ смерча, или какъ горный потокъ неудержимо крутитъ осенніе листья по волѣ своихъ встрѣчныхъ теченій. Волосы, распущенные и бьющіеся, какъ будто захвачены бурей ихъ собственнаго неукротимаго движенія; головы ихъ отброшены назадъ, въ странномъ бредѣ отклоняются на своихъ шеяхъ, и онѣ глядятъ въ небо, въ то время какъ запинаются и спотыкаются въ энергіи своей бурной пляски.

Одна изъ нихъ изображаетъ Агаву съ головой Пентея въ одной рукѣ, въ другой рукѣ у нея ножъ; у другой въ рукѣ копье съ сосновой шишкой, это былъ Тирсъ: третья пляшетъ съ бѣшенымъ сладострастіемъ; четвертая бьетъ въ какой-то тамбуринъ.

Это дѣйствительно было чудовищное суевѣріе, даже въ Греціи, гдѣ только оно и было способно сочетать идеальную красоту и поэтическій отвлеченный энтузіазмъ съ дикими заблужденіями, изъ которыхъ оно проистекло. Въ Римѣ оно имѣло болѣе простой, порочный и сухой видъ: оно не подходило къ суровымъ и точнымъ воспріятіямъ Римлянъ, и строгая ихъ мораль была имъ оскорблена, претерпѣвала глубокое униженіе, что мало походило на то, какъ оно дѣйствовало на Грековъ, которые превращали всѣ вещи- суевѣріе, предразсудокъ, убійство, сумасшествіе - въ красоту.

## Венера, называемая Анадіоменой.

Она только-что вышла изъ воды и еще оживлена наслажденіемъ купанья.

Она вся кажется мягкимъ и кроткимъ наслажденіемъ, и изгибистыя линіи ея изящныхъ членовъ переходятъ одна въ другую съ безконечною извилистостью нѣжности. Лицо ея выражаетъ бездыханное, но недѣйственное и невинное сладострастіе, свободное отъ аффектаціи. Ея губы, не имѣющія возвышенности величавой и пламенной страсти, величія вдохновенной фантазіи Аполлона Капитолійскаго, или соединенія того и другого, какъ мы видимъ это въ Аполлонѣ Бельведерскомъ, отличаются нѣжной изогнутостью, но чистое и прочувствованное желаніе, и то, какъ концы рта втянуты, эти губы все же поднятыя и полуоткрытыя, съ улыбкою, всегда играющей вкругъ нихъ, и трепетный изгибъ, который приданъ имъ непогасимымъ желаніемъ, и языкъ, прижатый къ нижней губѣ, какъ бы въ невнимательности бездѣйственной радости, выражаютъ любовь, все еще любовь.

Глаза ея, повидимому, отяжелѣли и сдѣлались влажными отъ наслажденія, и ея маленькій лобъ переходитъ съ той и другой стороны въ эту нѣжную выпуклость и тонкій наклонъ кости надъ глазомъ, такимъ образомъ, что этимъ выражаются простыя и нѣжныя чувства.

Шея полная, и она какъ бы трепещетъ отъ сильнаго порыва наслажденія и мягкими плавными изгибами втекаетъ въ совершенную свою форму.

Ея форма дѣйствительно совершенна. Она наполовину сидитъ, наполовину встаетъ изъ раковины, и полнота ея членовъ, и ихъ законченная округлость и завершенность не уменьшаютъ жизненной энергіи, которой они, повидимому, воодушевлены. Положеніе рукъ, изящныхъ превыше мечты, естественно, чуждо аффектаціи и легко. Это, быть можетъ, самое тонкое олицетвореніе Венеры, божества поверхностнаго желанія, во всей античной скульптурѣ. Ея книзу съуженное грушевидное лицо всегда дѣвственно, и ея поза — сама скромность.

## Барельефъ.

Вѣроятно боковыя стороны какого-нибудь Саркофага.

Госпожа дома лежитъ на ложѣ, поддерживаемая молодою женщиной, и имѣетъ крайне истощенный видъ; ея распущенные волосы разсыпались по плечамъ, и она полузакрыта занавѣсью, упадающей на ложе.

Туника ея совершенно похожа на рубашку, только рукава длиннѣе, они наполовину закрываютъ верхнюю часть рукъ. Старая сморщенная женщина, съ закутанной головой и чудовищно проницательнымъ взглядомъ, имѣетъ самый *профессіональный* видъ: она осторожно беретъ ея руку одной своей рукой, а другой поддерживаетъ ее. Я думаю, что она щупаетъ у нея пульсъ. Около постели сидитъ какая-то женщина какъ бы въ печали, держа голову въ рукахъ. Въ ногахъ у постели другая матрона рветъ на себѣ волосы и кричитъ самымъ неистовымъ образомъ, что, однако, судя по остальнымъ ея тѣлодвиженіямъ, она дѣлаетъ по крайнему разумѣнію, какъ бы придя къ рѣшенію, что дѣлать это—вещь самая надлежащая. За ней кумушка, весьма потѣшная въ своемъ безобразіи, плачетъ, какъ я предполагаю, или молится, ибо руки у нея скрещены на груди. Есть также и пятая, принимающаяся за плачъ. Налѣво отъ постели сидитъ на полу кормилица и укачиваетъ ребенка, находящагося у нея на рукахъ, и она вполнѣ поглощена этимъ занятіемъ. Ребенокъ запеленанъ. За нею нѣкая женщина; она, повидимому, только-что ворвалась, съ распущенными волосами и неукротимыми тѣлодвиженіями; въ одной рукѣ у нея бичъ или молнія, которою она потрясаетъ. Это, по всей вѣроятности, какая-нибудь эмблематическая фигура, вѣстникъ смерти, или фурія, олицетвореніе которой должно быть ключомъ ко всему. Что всѣ онѣ оплакиваютъ, я не знаю; умираетъ ли госпожа дома, или отецъ велѣлъ подкинуть ребенка; но, если мать не мертва, такая суматоха умертвила бы родильницу въ наши дни.

Другое отдѣленіе, во второй сценѣ драмы, повѣствуетъ о предъявленіи ребенка отцу. Нѣкій старикъ держитъ его въ своихъ рукахъ и съ профессіональной таинственной угодливостью показываетъ его отцу. Отецъ, человѣкъ среднихъ лѣтъ и, на видъ, весьма

почтенный, смотритъ съ восхищеніемъ холостяка на перваго своего ребенка, и, быть можетъ, думаетъ о томъ, что нѣкогда и онъ самъ былъ такимъ же маленькимъ страннымъ созданьемъ. Пальцы рукъ у него сжаты, и онъ подбираетъ между рукъ складки своего плаща, символъ того, что онъ собирается съ мыслями, чтобы уразумѣть разсказъ, сообщаемый ему этимъ разглагольствующимъ.

Рядомъ съ нимъ стоитъ старикъ, вѣроятно, его отецъ: въ глазахъ у него нѣкоторое любопытство и много нѣжности. Вокругъ собралось цѣлое полчище родственниковъ, изъ которыхъ младшая, красивая дѣвушка, повидимому, менѣе всего заинтересована. Это великолѣпная драма, совсѣмъ въ духѣ комедій Теренція. *)

## Вакхъ Микель-Анджело.

Лицо этой фигуры представляетъ изъ себя возмутительнѣйшее лжетолкованіе духа и смысла Вакха. Онъ имѣетъ видъ пьянаго, грубо-животнаго, тупоумнаго, и у него выраженіе распутности возмутительнѣйшей. Нижняя часть фигуры какая-то окоченѣлая, и то, какъ плечи соединены съ грудью и шея съ головой, въ высшей степени дисгармонично. Фигура совершенно лишена единства,— таково было представленіе католика о божествѣ Вакха. Съ другой стороны, если смотрѣть на это лишь какъ на примѣръ мастерства, въ ней много достоинствъ. Руки выполнены въ стилѣ самой законченной и мужественной красоты. Тѣло задумано съ большой энергіей, и манера, съ которой линіи смѣшиваются одна съ другой, отмѣчена высочайшей смѣлостью и правдивостью. Въ фигурѣ, какъ въ произведеніи искусства, недостаетъ единства, —какъ въ изображеніи Вакха, въ ней недостаетъ всего.

## Юнона.

Статуя, отмѣченная большими достоинствами. Лицо выражаетъ суровую и безусловную строгость господства, съ оттѣнкомъ печали. Губы прекрасны онѣ способны выражать презрѣніе,—но онѣ не лишены нѣжности. Лицо съ красивыми губами никогда не бываетъ совершенно злымъ, и онѣ никогда не принадлежатъ выраже-

*) Этотъ барельефъ—не античный Онъ относится къ чинквечento.
(*Прим. Шеперда*).

нію ощущеній совершенно своекорыстныхъ; губы — печать воображенія. Покровъ тонко задуманъ, и то, какъ отброшена назадъ одна нога, то, какъ расходящіяся складки покрова на лѣвой груди переходятъ въ смѣлыя, но постепенныя линіи рубашки, спускающейся съ лѣваго плеча, замышлено великолѣпно.

## Аполлонъ.

Змѣи вьются вкругъ лавровой гирлянды, на которой повѣшенъ колчанъ. Вѣроятно, когда фигура была цѣльной, она была пышной въ своей красотѣ. Реставраторъ головы и рукъ, слѣдуя указаніямъ мускуловъ правой стороны, поднялъ руку, какъ бы въ ликованьи на мѣткость стрѣлы. — онъ подражалъ въ этомъ Аполлону Ликейскому, такъ тонко описанному Аполлоніемъ Родосскимъ, когда ослѣпительная красота его прекрасныхъ членовъ засіяла надъ темнымъ Понтомъ Евксинскимъ. Дѣйствіе, энергія и богоподобное воодушевленіе этихъ членовъ говорятъ о духѣ, который, какъ кажется, никогда бы не могъ быть уничтоженнымъ.

# АРКА ТИТА.

Во внутреннемъ отдѣленіи Арки Тита изваяно въ глубокомъ рельефѣ опустошеніе города. На одной сторонѣ—стѣны Храма, расщепленныя бѣшенствомъ пожара; обрушиваясь, онѣ висятъ въ состояніи распаденія. На извѣстномъ разстояніи изображены—предмѣстье города, захваченнаго приступомъ, жены и дѣвушки, и дѣти, и старики, собранные группами, насиліе и своевольство варварской и разъяренной солдатчины. Передній фонъ занятъ процессіей побѣдителей; они несутъ своими мірскими руками священныя канделябры и столы хлѣбовъ предложенія, и священныя принадлежности вѣчнаго благоговѣнія Евреевъ. На противоположной сторонѣ,—обратная сторона этой прискорбной картины,—Титъ изображенъ стоящимъ на колесницѣ, влекомой четырьмя конями; онъ увѣнчанъ лаврами и окруженъ безпорядочной массой торжествующаго войска, и судьями, и священнослужителями, и полководцами, и философами, которые влачатся въ цѣпяхъ за его колесами. За нимъ стоитъ Побѣда съ орлиными крыльями.

Арка нынѣ распадается, и образы почти стерты теченьемъ пятидесяти поколѣній. За темнымъ памятникомъ Еврейскаго разгрома виднѣется семейная гробница Разрушителя, теперь лишь груда развалинъ.

Амфитеатръ Флавія превратился въ обиталище совъ и ящерицъ. Властительная сила, которой онъ нѣкогда былъ типомъ, и отшествія которой онъ нынѣ сталъ символомъ, превратилась въ сонъ и воспоминаніе. Римъ теперь не болѣе, чѣмъ Іерусалимъ.

# О ВОЗРОЖДЕНІИ ЛИТЕРАТУРЫ.

Въ пятнадцатомъ столѣтіи Христіанской эры новое и чрезвычайное событіе пробудило Европу изъ ея летаргическаго состоянія и проложило дорогу къ теперешнему ея величію. Сочиненія Данте въ тринадцатомъ столѣтіи, и Петрарки въ четырнадцатомъ, были блестящими свѣтилами, которыя забросили сіянія литературнаго знанія, почти окутанному тьмою, путнику, взбиравшемуся съ трудомъ къ высотамъ Славы. Но при взятіи Константинополя появился новый и внезапный свѣтъ: темныя тучи невѣжества уплыли далеко, и Европа была наводнена учеными монахами и, еще болѣе, цѣлымъ множествомъ ученыхъ рукописей, которыя они принесли съ собой, съ мѣста разрушенія. Турки обосновались въ Константинополѣ, гдѣ они усвоили лишь одно, порочные нравы Грековъ: они пренебрегли даже небольшими остатками древней учености, которая, будучи профильтрована и вырождена нелѣпымъ смѣшеніемъ Языческой и Христіанской философіи, оказалась, по удаленіи своемъ въ Европу, искрой, распространившей съ постепенностью и съ успѣхомъ свѣтъ знанія въ мірѣ.

Италія, Франція и Англія,—Германія въ теченіи нѣсколькихъ столѣтій еще продолжала оставаться менѣе цивилизованной, чѣмъ окружающія ее страны, кишѣли монахами и монастырями. До сихъ поръ суевѣріе, какого бы то ни было рода, земное ли, или небесное, было тяжестью, пригнетавшей человѣка къ землѣ и мѣшавшей генію воспарять къ роднымъ небесамъ. Предпріятія и воздѣйствія человѣческаго ума нѣсколько болѣе чѣмъ изумительны, дѣла природы вещественны и осязаемы: мы наполовину можемъ заглянуть въ ихъ сущность и во многихъ случаяхъ мы предсказываемъ ихъ дѣйствія съ достовѣрностью. Но умъ какъ будто правитъ міромъ безъ видимыхъ и существенныхъ средствъ. Рожденіе его неизвѣстно; его дѣйствіе и вліяніе неуловимы: и его сущность кажется вѣчной. Для ума, какъ человѣческаго, такъ и философскаго, не можетъ быть

бо́льшаго предмета печали, чѣмъ размышленіе о томъ, насколько суевѣріе задержало прогрессъ разума, а слѣдовательно, и счастіе человѣка.

Монахи въ своихъ монастыряхъ были заняты пустячными и смѣшными препирательствами: имъ было вполнѣ довольно преподавать свои догматы, и они съ нетерпѣніемъ ринулись въ высшія школы и въ публичныя залы, гдѣ они спорили съ ожесточеніемъ и низостью, мало подходившими къ личинѣ ихъ мнимой святости. Но положеніе монаха есть положеніе наиболѣе неестественное, какое только можетъ выдумать лицемѣріе, гордое своей изобрѣтательностью въ сферѣ жестокости; и пороки ихъ могутъ быть извинимы, какъ происходящіе изъ волей и замысловъ немногихъ гордыхъ и своекорыстныхъ епископовъ, которые поработили міръ, чтобы имѣть возможность жить съ полнымъ удобствомъ.

Школьные диспуты были самыми схоластическими; это было обсужденіе словъ, не имѣвшее никакого отношенія къ морали. Мораль, — великія средства и предѣлъ человѣка, — содержится, какъ они утверждали, въ нѣсколькихъ сотняхъ страницъ нѣкоторой книги... Въ утонченностяхъ схоластической философіи міръ, повидимому, подвергался опасности потерять тотъ малый запасъ дѣйствительной мудрости, которая въ ней еще оставалась; и дѣйствительно цѣнной частью этихъ диспутовъ была та, которая стремилась развивать систему Философовъ-Перипатетиковъ. Платонъ, самый мудрый и самый глубокій, и Эпикуръ, самый человѣчный и кроткій среди древнихъ, были у нихъ въ полномъ небреженіи. Платонъ сталкивался съ ихъ особой манерой мыслить о вещахъ небесныхъ; а Эпикуръ, подтверждая права человѣка на наслажденіе и счастье, представлялъ бы соблазнительный контрастъ по отношенію къ ихъ мрачному и жалкому уставу морали. Существовало утвержденіе, что эти святые люди утѣшали себя въ болѣе легкія свои минуты контрабанднымъ почитаніемъ Эпикура, профанировали философію, провозглашавшую права всѣхъ, своекорыстнымъ потаканіемъ правъ немногихъ. Такъ оно и есть: законы природы неизмѣнны, и человѣкъ отстраняетъ ихъ, чтобы имѣть удовольствіе странствовать по лабиринту, вновь ихъ отыскивая.

Наслажденіе, въ открытомъ и невинномъ своемъ видѣ, въ силу страннаго процесса разсужденія, названо порокомъ; но человѣкъ (такъ тѣсно онъ прикованъ къ цѣпямъ необходимости — такъ не-

удержимо онъ вынужденъ исполнять цѣль своего бытія) долженъ отыскивать его во что бы то ни стало: онъ дѣлается лицемѣромъ и бросаетъ вызовъ осужденію со всѣми его муками.

Греческая литература,—самая изящная, какую когда-либо создавалъ міръ,—была, наконецъ, возстановлена: ея форму и ея манеру мы получили изъ манускриптовъ, которые пощадила опустошительная сила времени, Готовъ и, еще болѣе дикихъ, Турокъ. Пожаръ, поглотившій Александрійскую библіотеку, былъ важнымъ бѣдствіемъ. Говорятъ, въ библіотекѣ были томы избраннѣйшихъ Греческихъ авторовъ.

# О СМЕРТНОЙ КАЗНИ.

*ОТРЫВОКЪ.*

Первый законъ, который Преобразователю надлежитъ предложить и поддерживать, съ приближеніемъ періода великой политической перемѣны, есть уничтоженіе смертной казни.

Въ достаточной степени явственно, что мщенье, возмездіе, кара, искупленіе суть правила и побудительные мотивы, настолько далекіе отъ того, чтобы быть достойными занимать мѣсто въ какой-либо просвѣщенной системѣ общественной жизни, что они являются главными источниками обширнаго разряда злополучій въ семейныхъ кругахъ. Совершенно ясно, что, хотя духъ законодательства могъ, повидимому, основать учрежденія на болѣе философскихъ правилахъ, до сихъ поръ, въ тѣхъ случаяхъ, которые могутъ быть названы преступными, онъ сдѣлалъ немногимъ болѣе, какъ только внѣшне залѣчилъ духъ, удовлетворивъ лишь часть его, и доставилъ компромиссъ между тѣмъ, что является наилучшимъ,—не причинять никакого зла чувствующему существу, безъ рѣшительныхъ благотворныхъ результатовъ, въ которыхъ оно, по крайней мѣрѣ, участвовало бы,—и тѣмъ, что является наихудшимъ,—терзаніе его для забавы тѣхъ, которые имъ оскорблены, или повидимому оскорблены.

Опустивъ эти болѣе или менѣе отдаленныя соображенія, разсмотримъ, что такое есть *Смерть:* то, что примѣняется какъ мѣра наруженій, безконечныхъ по оттѣнкамъ различія, какъ только они прейдутъ ту степень и тотъ оттѣнокъ чудовищности, съ которыми, какъ предположено, никакая низшая кара не соразмѣрна.

И прежде всего, является ли смерть добромъ или зломъ, наказаніемъ или наградой, или чѣмъ-то вполнѣ безразличнымъ,—здѣсь ни одинъ человѣкъ не можетъ притязать на точныя утвержденія. Почти всеобщимъ убѣжденіемъ людей была увѣренность, что послѣ разложенія тѣла то, что въ насъ думаетъ и чувствуетъ, продолжаетъ думать и чувствовать: точная философія того, что да будетъ мнѣ позволено наименовать современной Академіей, показавъ обширную

глубину и размѣры нашего незнанія относительно причинъ и природы ощущенія, дѣлаетъ вѣроятнымъ утвержденіе предложенія, отрицаніе котораго такъ трудно допустить, и общераспространенные доводы противъ котораго, заимствованные изъ такъ называемой атомической системы, какъ доказано, примѣнимы лишь ко взаимному отношенію между однимъ предметомъ и другимъ, въ ихъ воспріятіи умомъ, а не къ самому существованію, или къ природѣ сущности, являющейся средою и вмѣстилищемъ предметовъ.

Общераспространенныя вѣрованія внушаютъ мысль, что умъ, послѣ смерти, будетъ воспринимать мучительныя или радостныя ощущенія, въ соотвѣтствіи съ своими рѣшительными моментами въ теченіи жизни. Какими бы смѣшными и вредными вульгарными аксессуарами ни были надѣлены эти вѣрованія, есть извѣстное подобіе, не вполнѣ вздорное, между послѣдствіями, касающимися отдѣльной личности, въ теченіи жизни, въ силу добродѣтельныхъ или порочныхъ, разумныхъ или неразумныхъ внѣшнихъ дѣйствій поведенія, и тѣми послѣдствіями, которыя, какъ предполагаютъ, происходятъ изъ дисциплины и порядка внутреннихъ его мыслей и вліяютъ на его ощущенія въ будущемъ состояніи. Не принимаются, на самомъ дѣлѣ, въ разсчетъ случайныя воздѣйствія болѣзни, темперамента, характера, и обстоятельства, вмѣстѣ съ цѣлымъ множествомъ независимыхъ дѣйствующихъ, вліяющихъ на мнѣнія, поведеніе и счастье личностей, создающихъ рѣшенія воли и видоизмѣняющихъ сужденія, такъ что возникаютъ эффекты самые противоположные въ натурахъ значительно схожихъ. Мы склонны думать, что именно эти дѣйствія, въ распорядкѣ природы, какъ цѣлаго, тяготѣютъ къ какому-нибудь опредѣленному могучему концу, которому дѣйствующія нашей особой природы подчинены, и нѣтъ никакихъ основаній предполагать, чтобы въ будущемъ состояніи они внезапно могли быть изъяты отъ подчиненности. Философъ не можетъ рѣшить, повліяло ли наше существованіе въ предъидущемъ состояніи на наше положеніе теперешнее, и воздерживается отъ рѣшенія, повліяетъ ли наше теперешнее положеніе на то, которое можетъ быть будущимъ. Что, если мы продолжаемъ существовать, никакіе выводы и догадки, доставляемые разсмотрѣніемъ нашего земного существованія, не могутъ освѣтить способъ нашего существованія,—это въ достаточной степени очевидно. Мнѣніе, что жизненное начало въ насъ, какимъ бы образомъ оно ни

продолжало существовать, должно утратить это сознаніе опредѣленнаго и личнаго бытія, нынѣ его характеризующее, и дѣлается единицей въ обширной суммѣ дѣйствія и мысли, располагающей и одушевляющей вселенную,—повидимому, принадлежитъ къ тому разряду мнѣній, которыя были опредѣлены, какъ безразличныя.

Вынудить человѣка узнать все, что можетъ быть узнано мертвыми, касательно того, чего живые боятся, чего они чаютъ, или о чемъ забываютъ; низринуть его въ восторги или пытки, ожидающіе его тамъ: наградить или наказать его въ манерѣ и въ степени неисчислимой и непостижимой для насъ; лишить его сразу всей этой ткани добраго и злого, которою Природа, повидимому, одѣла каждую форму личнаго существованія,—это означаетъ наложить на него смертный приговоръ.

Извѣстная степень боли и страха обыкновенно сопровождаетъ причиненіе смерти. Эта степень безконечно разнообразится безконечнымъ разнообразіемъ темперамента и мнѣній страдательнаго лица. Какъ мѣра наказанія, строго такъ разсматриваемая, и какъ зрѣлище, которое, вѣдомыми своими дѣйствіями на чувствительность страдающаго, намѣрено отпугнуть зрителей отъ подобной отвѣтственности, она особенно несоразмѣрна.

Во-первыхъ,—люди характера энергическаго, въ которыхъ, какъ въ лицахъ, терпящихъ за политическія преступленія, есть большая примѣсь предпріимчивости, и мужества, и безкорыстія, и элементовъ, которые хотя и дурно направлены, безпорядочны, но съ помощью которыхъ сила и счастье цѣлаго народа могли бы быть скрѣплены, умираютъ такимъ образомъ, что смерть является не зломъ, а добромъ. Смерть того, что называется измѣнникомъ, то-есть лица, которое, по какимъ-либо мотивамъ, хотѣло бы уничтожить правительство даннаго дня, нерѣдко представляетъ изъ себя какъ побѣдное зрѣлище страдающей благости, такъ и предостереженіе для преступника. Толпа, вмѣсто того, чтобы удалиться съ вынужденнымъ паникою одобреніемъ законовъ, устроившихъ такое зрѣлище, воодушевлена состраданіемъ, удивленіемъ и сочувствіемъ; и наиболѣе великодушные изъ толпы чувствуютъ соревнованіе по отношенію къ виновникамъ такихъ лестныхъ ощущеній, которыя, какъ они чувствуютъ, наполняютъ ихъ сердца. Взволнованные тѣмъ, что они видятъ и чувствуютъ, они не дѣлаютъ различенія между мотивами, побудившими преступниковъ къ дѣй-

ствіямъ, за которыя они страдаютъ, или героическимъ мужествомъ, съ которымъ они обратили въ добро то, что ихъ судьи имъ присудили, какъ зло, и самыми цѣлями этихъ дѣйствій, хотя бы цѣли могли быть въ высшей степени вредными. Законы въ данномъ случаѣ теряютъ то сочувствіе, обезпечивать которое они должны были главнымъ образомъ: между тѣмъ участіе въ такомъ сочувствіи составляетъ главную ихъ силу, обусловливаетъ ихъ способность поддерживать санкціи, связующія воедино части общественнаго цѣлаго, чтобы осуществлять насколько возможно точно его цѣли.

Во-вторыхъ,—люди характера энергическаго, не надѣленные въ общежитіяхъ философскимъ умѣньемъ обращать всѣ свои силы на замыслы общаго блага, также склонны впадать въ искушеніе предпріятія, для свершенія самыхъ чудовищныхъ преступленій, и особенно склонны презирать опасности, сопровождающія ихъ свершеніе. Убійство, насиліе, обширные планы грабежа суть дѣйствія лицъ, принадлежащихъ къ этому классу; и кара изобличенія есть смерть. Но грубость организаціи, свойственная людямъ, способнымъ на свершеніе дѣяній вполнѣ себялюбивыхъ, обыкновенно соединена съ соразмѣрной нечувствительностью къ страху или боли. Ихъ страданія сообщаютъ тѣмъ изъ зрителей, которые могутъ опыт отвѣтственны въ совершеніи подобныхъ преступленій, чувство легкости даннаго событія, если разсмотрѣть его вплотную, тогда какъ на разстояніи, какъ это обыкновенно дѣлаютъ лица невоспитанныя, они, вѣроятно, смотрѣли на него съ ужасомъ. Но огромное большинство зрителей настолько связано съ интересами и обычаями общественнаго единенія, что никакое искушеніе не можетъ явиться достаточно сильнымъ, чтобы вовлечь ихъ въ совершеніе чудовищностей, за которымъ слѣдуетъ такая кара. Наиболѣе вліятельные, богатые среди толпы,—а обширный классъ мелкихъ торговцевъ богаче и вліятельнѣе, чѣмъ тѣ, кого они нанимаютъ, и наниматель вообще находится въ такомъ отношеніи къ нанимаемымъ,—считаютъ какъ бы, въ нѣкоторой степени, отомщенными свои собственныя особы и обезпеченными свои собственныя права этимъ наказаніемъ, налагаемымъ, какъ кара за какое бы то ни было преступленіе. Въ случаѣ убійства или изуродованія, это чувство почти всеобщее. Поэтому въ тѣхъ, въ комъ данное зрѣлище не пробуждаетъ сочувствія, ослабляющаго преступленіе и ослабляющаго законъ, его обуздывающій,—оно пробуждаетъ чувства, какъ разъ

находящіяся въ борьбѣ съ подлинными задачами общежитія. Оно возбуждаетъ тѣ ощущенія, погашать которыя навсегда есть главная задача цивилизаціи, и въ погашеніи которыхъ только и можетъ быть какая-нибудь надежда на лучшія учрежденія, чѣмъ тѣ, съ помощью какихъ нынѣ люди злоправятъ одни другими. Люди чувствуютъ, что ихъ мщеніе удовлетворено, и что ихъ обезпеченность установлена уничтоженіемъ и страданіемъ существъ, почти во всѣхъ отношеніяхъ похожихъ на нихъ, и такъ какъ повседневныя занятія вынуждаютъ ихъ къ одной точной формѣ во всѣхъ ихъ мысляхъ, они привыкаютъ неразрывно связывать мысль о собственной выгодѣ съ мыслью о смерти и пыткѣ другихъ. Очевидно, что цѣль здраваго образа правленія какъ разъ обратная, и что законы, основанные на разсудкѣ, должны были бы пріучать грубую толпу связывать ея представленія о безопасности и интересѣ съ усовершенствованіемъ и съ строгимъ воздержаніемъ тѣхъ, кто могъ бы на нихъ посягать, и имѣть въ виду только эту цѣль.

Страсть отмщенія первоначально является ничѣмъ инымъ, какъ обычнымъ воспріятіемъ представленія о страданіяхъ лица, причиняющаго несправедливость, въ связи съ увѣренностью, что въ будущемъ несправедливость не повторится, каковое представленіе существуетъ въ дикомъ состояніи, или въ тѣхъ частяхъ общества, гдѣ еще нѣтъ подчиненія цивилизованности. Это чувство, привившееся на основѣ предразсудка и укрѣпленное обычаемъ, въ концѣ концовъ теряетъ изъ виду единственную цѣль, во имя которой оно какъ бы укоренилось, и дѣлается страстью и долгомъ: ихъ нужно выполнять и осуществлять, даже вплоть до разрушенія замысловъ, первоначально поставленныхъ. Другія страсти, какъ добрыя, такъ и злыя,—Алчность, Раскаяніе, Любовь, Патріотизмъ—являютъ подобный же ликъ: и этому принципу ума, направляющему стрѣлу выше намѣченной имъ цѣли, мы обязаны всѣмъ, что есть исключительно низкаго и превосходнаго въ человѣческой природѣ: доставлять ему пищу или обезпечивать его погашеніе — въ этомъ состоитъ истинное искусство законодателя. *).

*) Дикари и люди необразованные лишь въ слабой степени сознаютъ различіе между будущимъ и прошедшимъ: они производятъ дѣйствія, относящіяся къ періодамъ столь различнымъ, подверженные схожимъ чувствамъ: они живутъ только въ настоящемъ, или въ прошломъ, какъ будто оно настоящее. Именно въ этомъ философъ является однимъ исключеніемъ изъ многихъ: именно это отличаетъ ученіе философской необходимости отъ фатализма: и это рѣшеніе воли, благодаря которому она является

Ничто не можетъ быть яснѣе того, что причиненіе наказанія вообще, въ степени, необходимость которой не обусловливается исправленіемъ и обузданіемъ лицъ, преступившихъ законы, и болѣе всего смерть, укрѣпляетъ всѣ нечеловѣчныя и необщественныя побужденія людей. Замѣчаніе, почти ставшее поговоркой, гласитъ, что тѣ страны, гдѣ уголовный кодексъ былъ особенно мягкимъ, отличались ото всѣхъ другихъ рѣдкостью преступленія. Но можно допустить, что примѣръ этотъ двусмысленъ. Болѣе рѣшительный аргументъ — соображеніе, указывающее на всеобщую связь жестокости нравовъ и пренебреженія къ общественнымъ узамъ съ презрѣніемъ къ человѣческой жизни. Правительства, извлекающія свои учрежденія изъ существованія обстоятельствъ варварства и насилія, за немногими, быть можетъ, исключеніями, кровожадны въ той же мѣрѣ, какъ они деспотичны, и создаютъ нравы своихъ подданныхъ въ сочувствіи съ своимъ собственнымъ духомъ.

Зрители, чувствующіе не отвращеніе при публичной казни, а скорѣе самоодобрительное превосходство и ощущеніе удовлетвореннаго негодованія, конечно, возбуждены для самыхъ неблагопріятныхъ ощущеній. Первое размышленіе подобнаго человѣка есть чувство своего собственнаго внутренняго и дѣйствительнаго достоинства, какъ предпочтительнаго передъ чувствомъ жертвы, которую обстоятельства привели къ гибели. Самый низкій негодяй испытываетъ чувство своихъ сравнительныхъ достоинствъ. Онъ одинъ изъ тѣхъ, на кого не упала Силоамская башня—онъ такой, какого Іисусъ не нашелъ во всей Самаріи, кто, въ душѣ своей, бросаетъ первый камень въ женщину, застигнутую въ прелюбодѣяніи. Общераспространенныя вѣрованія заимствуютъ свое наименованіе отъ того, на чьи прекрасныя чувства я указалъ. Каждый, кто совлечетъ съ его ученій покровъ будничности, увидитъ, насколько противорѣчитъ ихъ духъ ощущеніямъ подобнаго рода.

---

дѣйственнымъ источникомъ будущихъ событій, отличается отъ той свободы или того безразличія, съ которыми связана, согласно съ представленіями толпы, отвлеченная отвѣтственность за неправимые поступки.

Въ этомъ источникѣ ошибочныхъ излишествъ Раскаянія и Отмщенія; причемъ одно простирается на будущее, а другое на прошлое, — области, гдѣ ихъ внушенія могутъ быть только источниками злого. Умыселъ рѣшенія дѣйствовать впредь болѣе мудро и добродѣтельно, и чувство необходимости предосторожности въ подавленіи врага съ цѣлью обузданія врага, являются источниками, откуда проистекли чудовищныя суевѣрія, отмѣченныя въ вышесказанномъ.

# О ЖИЗНИ.

Жизнь и міръ, или какъ бы ни назвать то, что мы есть и что мы чувствуемъ, удивительная вещь. Туманъ повседневности затемняетъ для насъ чудесность нашего бытія. Мы исполняемся изумленіемъ передъ какими-нибудь преходящими его видоизмѣненіями, но само по себѣ оно есть великое чудо. Что̀ значатъ смѣны царствъ и гибель династій, вмѣстѣ съ мнѣніями, ихъ поддерживавшими; что̀ значитъ возникновеніе и погашеніе тѣхъ или иныхъ религіозныхъ и политическихъ системъ, въ сравненіи съ жизнью? Что̀ значатъ перевороты въ томъ шарѣ, который мы обитаемъ, и дѣйствія элементовъ, его составляющихъ, въ сравненіи съ жизнью? Что̀ значитъ вселенная солнцъ и звѣздъ, изъ которыхъ эта населенная земля является одной, и что̀ значатъ ихъ судьбы, въ сравненіи съ жизнью? Мы не удивляемся жизни, этому великому чуду, именно потому, что она такъ чудесна. Это хорошо, что повседневность того, что одновременно такъ достовѣрно и такъ непостижимо, ограждаетъ насъ такимъ образомъ отъ изумленія, которое иначе поглотило бы и запугало бы правильныя отправленія того, что его вызываетъ.

Если бы какой-нибудь художникъ, я не скажу—выполнилъ, но только задумалъ въ своемъ умѣ систему солнца, звѣздъ и планетъ, а они бы не существовали, и изобразилъ бы въ словахъ или на полотнѣ зрѣлище, доставляемое теперь ночнымъ небосводомъ, и изъяснилъ бы его мудростью астрономіи, велико было бы наше удивленіе. Или, если бы онъ вообразилъ картину этой земли, горы, моря и рѣки, траву и цвѣты, и различіе формъ и массъ лѣсной листвы, и краски, сопровождающія восходъ и заходъ солнца, и оттѣнки атмосферы, пасмурной и ясной, а всего этого раньше не существовало бы, мы были бы изумлены, и не праздной похвалой было бы сказать о такомъ человѣкѣ: «Non merita nome di creatore, se non Iddio ed il Poeta». («Только Богъ и Поэтъ достойны имени

творца». Тассо). Но теперь все это вызываетъ мало удивленія, и способность ясно сознавать эти вещи съ напряженнымъ наслажденіемъ считается отличительной чертой утонченной и исключительной натуры. Большинство людей не обращаетъ на нихъ никакого вниманія. Такъ обстоитъ дѣло съ жизнью—съ тѣмъ, что включаетъ въ себя все.

Что такое жизнь? Мысли и чувства возникаютъ, по нашей волѣ или безъ нашей воли, и мы употребляемъ слова, чтобы выражать ихъ. Мы рождаемся и не помнимъ нашего рожденія, а изъ нашего дѣтства помнимъ лишь обрывки; мы живемъ и, живя, утрачиваемъ воспріятіе жизни. Какъ тщетно думать, будто слова могутъ проникать въ тайну нашего бытія. Надлежащимъ образомъ употребляемыя, они могутъ только показать намъ наше невѣдѣніе: и это уже много. Ибо что такое мы? Откуда мы пришли? и куда идемъ? Является ли рожденіе началомъ и смерть заключеніемъ нашего существованія? Что такое рожденіе и смерть?

Наиболѣе утонченныя отвлеченія логики приводятъ насъ къ такому взгляду на жизнь, который, хотя онъ и поразителенъ для воспріятія, въ дѣйствительности представляетъ изъ себя то, что обычное чувство повторныхъ ея сочетаній погасило въ насъ. Этотъ взглядъ какъ бы срываетъ разукрашенный покровъ съ картины вещей. Признаюсь, что я одинъ изъ тѣхъ, которые не могутъ не согласиться съ умозаключеніями философовъ, утверждающихъ, что все существуетъ лишь такъ, какъ оно воспринимается.

Это положеніе, противъ котораго возстаетъ вся наша увѣренность, и долго насъ нужно убѣждать, прежде чѣмъ мы убѣдимся, что прочная вселенная внѣшнихъ вещей создана «изъ сущности такой же, какъ и сны». Дрянные абсурды общепринятой философіи духа и матеріи, роковыя слѣдствія ея въ области морали и насильственный ея догматизмъ касательно источника всѣхъ вещей съ раннихъ дней привели меня къ матеріализму. Этотъ матеріализмъ соблазнительная система для юныхъ и поверхностныхъ умовъ. Онъ дозволяетъ своимъ ученикамъ говорить и избавляетъ ихъ отъ необходимости мыслить. Но меня не удовлетворило то пониманіе вещей, какое онъ даетъ: человѣкъ есть существо съ высокими стремленіями, «впередъ онъ взоръ бросаетъ и назадъ», его «мысли блуждаютъ сквозь вѣчность», онъ отвергаетъ союзъ съ преходящимъ и разрушающимся: онъ не способенъ вообразить свое

уничтоженіе; онъ существуетъ только въ будущемъ и прошломъ: онъ не то, что есть, а то, что былъ, и то, что будетъ. Каково бы ни было его истинное и конечное предназначеніе, въ немъ есть духъ, враждующій съ ничтожествомъ и гибелью. Это—свойство всякой жизни и всякаго существа. Каждый является одновременно центромъ и окружностью; онъ точка, къ которой относятся всѣ вещи, и линія, въ которой содержатся всѣ вещи. Такія соображенія, какъ эти, одинаково возбраняются и общепринятой философіей, и матеріализмомъ; но они находятся въ соотвѣтствіи съ интеллектуальной системой.

Было бы нелѣпымъ входить въ дальнѣйшее сведеніе доводовъ, достаточно знакомыхъ тѣмъ пытливымъ умамъ, къ которымъ только и можетъ обращаться писатель, разсуждающій объ отвлеченныхъ предметахъ. Быть можетъ, самую ясную и самую сильную разработку интеллектуальной системы можно найти въ *Академическихъ Вопросахъ* Сэра Вильяма Дрюммонда. Послѣ такого ея изложенія было бы праздникъ занятіемъ передавать въ другихъ словахъ то, что только утратило бы отъ такой перемѣны свою пріемлемость и силу. Изслѣдуя пунктъ за пунктомъ и слово за словомъ, самые точные умы не могли различить никакого теченія мыслей въ процессѣ разсужденія, которое не приводило бы неизбѣжнымъ образомъ къ утвержденному заключенію.

Что слѣдуетъ изъ такого заключенія? Оно не устанавливаетъ никакой новой истины, оно не даетъ намъ возможности бросить новый глубокій взглядъ въ нашу скрытую природу, ни въ нее, ни въ ея проявленія. Философія, жаждущая, по натурѣ своей, строительства, много еще имѣетъ передъ собой работы, ей придется быть піонеромъ для роста вѣковъ. Интеллектуальная система дѣлаетъ шагъ по направленію къ этой цѣли, она уничтожаетъ ошибку и корни ошибки. Она оставляетъ, какъ часто это было обязанностью реформаторовъ въ области общественныхъ и нравственныхъ вопросовъ, извѣстную пустоту. Она приводитъ духъ къ той свободѣ, съ которой онъ проявлялся бы, если бы не злоупотребленія словъ и символовъ, злоупотребленія орудій его собственнаго творчества. Говоря—символовъ, я желалъ бы быть понятымъ въ самомъ широкомъ смыслѣ, включая сюда то, что собственно разумѣется подъ этимъ терминомъ, и что я въ особенности разумѣю. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ, почти всѣ повседневные предметы

суть символы, такъ какъ они способны, не сами по себѣ, но въ соотношеніи съ другими, внушать нѣкоторую мысль, ведущую къ цѣлому ряду мыслей. Вся жизнь наша такимъ образомъ представляетъ изъ себя образованіе ошибки.

Припомнимъ наши ощущенія тѣхъ дней, когда мы были дѣтьми. Какое у насъ было отчетливое и напряженное воспріятіе міра и насъ самихъ. Многія изъ обстоятельствъ общественной жизни, которыя теперь болѣе для насъ не важны, имѣли бы для насъ тогда большое значеніе. Но это собственно не тотъ пунктъ сравненія, на которомъ я намѣренъ настаивать. У насъ въ меньшей степени была привычка отличать все, что мы видѣли и чувствовали, отъ насъ самихъ. Все зримое и воспринимаемое какъ бы образовывало одну массу. Есть нѣкоторыя натуры, которыя въ этомъ отношеніи всегда остаются дѣтьми. Лица, подвластныя состоянію, называемому мечтательностью, чувствуютъ, что какъ будто вся ихъ природа разливается въ окружающей вселенной, или что вся окружающая вселенная какъ бы поглощается ихъ существомъ. Они не сознаютъ никакого различенія. Это тѣ состоянія, которыя предшествуютъ, или сопровождаютъ, или слѣдуютъ за необыкновенно напряженнымъ и яркимъ воспріятіемъ жизни. По мѣрѣ того какъ люди подростаютъ, эта способность обыкновенно уничтожается, и они становятся дѣйствующими механически и привычно. Такимъ образомъ, чувства и затѣмъ разсужденія представляютъ изъ себя сложный результатъ цѣлаго множества перепутанныхъ мыслей и цѣлаго ряда того, что называется впечатлѣніями, ряда, закрѣпленнаго повтореніемъ.

Тотъ взглядъ на жизнь, который устанавливается наиболѣе утонченными выводами интеллектуальной философіи, есть сознаніе единства. Ничто не существуетъ помимо того, какъ оно воспринимается. Существуетъ лишь номинальная разница между тѣми двумя классами мысли, которыя въ просторѣчіи различаются подъ именемъ идей и внѣшнихъ предметовъ. При продолженіи той же нити разсужденія было найдено, что существованіе отдѣльныхъ индивидуальныхъ умовъ, подобныхъ тому, который вопрошаетъ себя въ данную минуту относительно собственной своей природы, также есть ничто иное, какъ заблужденіе. Слова *я*, *вы*, *они* суть не символы какого-нибудь дѣйствительнаго различія между соединеніемъ мыслей, такимъ образомъ указуемыхъ, а только знаки, употребляе-

мые для опредѣленія различныхъ видоизмѣненій одного и того же ума.

Не нужно думать, что это ученіе приводитъ къ чудовищному притязанію, будто я, лицо, въ данную минуту пишущее и размышляющее, есть этотъ единственный умъ. Я только часть его. Слова *я*, и *вы*, и *они*, суть грамматическія означенія, изобрѣтенныя для установленія порядка и совершенно лишенныя того напряженнаго и исключительнаго смысла, который съ ними обыкновенно связываютъ. Очень трудно найти подходящія слова для выраженія того утонченнаго представленія, къ которому насъ приводитъ Интеллектуальная Философія. Мы на грани, гдѣ слова покидаютъ насъ, и что̀ удивительнаго, если нами овладѣваетъ головокруженіе, когда мы глядимъ въ темную бездну того, какъ мы мало знаемъ.

Отношенія вещей остаются неизмѣнными, при какой бы то ни было системѣ. Подъ словомъ *вещи* слѣдуетъ разумѣть какой бы то ни было предметъ мысли, то-есть какую бы то ни было мысль, къ которой примѣняется другая мысль, съ понятіемъ различенія. Отношенія этихъ мыслей остаются неизмѣнными; и таковъ матеріалъ нашего знанія.

Въ чемъ причина жизни? иначе говоря, какимъ образомъ она создалась, или какія дѣйствующія, отличныя отъ жизни, дѣйствовали или дѣйствуютъ на жизнь? Всѣ поколѣнія людей, сколько ихъ осталось въ памяти, напряженно старались найти отвѣтъ на этотъ вопросъ, и въ результатѣ получилась—Религія. Но что основой всѣхъ вещей не можетъ быть умъ, какъ это допускаетъ общепринятая философія, это въ достаточной степени очевидно. Умъ, насколько мы имѣемъ какой-нибудь опытъ касательно его свойствъ,—а за предѣлами этого опыта какъ тщетны разсужденія!—не можетъ создавать, онъ можетъ только воспринимать. Было сказано также, что онъ—причина. Но причина есть лишь слово, выражающее извѣстное состояніе человѣческаго ума въ связи съ тѣмъ способомъ, въ которомъ двѣ мысли воспринимаются, какъ связанныя одна съ другой. Если кто-нибудь желаетъ узнать, насколько неудовлетворительно поступаетъ съ этимъ великимъ вопросомъ общепринятая философія, пусть онъ безпристрастно прослѣдитъ, какимъ образомъ мысли развиваются въ его собственномъ умѣ. Безконечно неправдоподобно, чтобы причина ума, то-есть существованія, была подобна уму.

13280

КОМИТЕТЪ БИБЛІОТЕКЪ СЛУЖАЩИХЪ
Сѣверо-
Западныхъ
ж. д.

# 1821.

# ВЪ ЗАЩИТУ ПОЭЗІИ.

Разсматривая съ извѣстной точки зрѣнія тѣ два рода умственной дѣятельности, которые называются разумомъ и воображеніемъ, мы можемъ назвать первый — духомъ, созерцающимъ отношенія, соединяющія одну мысль съ другой, а второй — духомъ, воздѣйствующимъ на эти мысли, дающимъ свою собственную окраску имъ и составляющимъ вмѣстѣ съ ними, какъ съ элементами, другія мысли, изъ которыхъ каждая содержитъ въ самой себѣ начало своей собственной цѣльности. Первый родъ умственной дѣятельности представляетъ изъ себя процессъ творчества, τὸ ποιεῖν, — это начало синтеза, имѣющаго своимъ предметомъ формы, общія всей природѣ и самому существованію; второй родъ означаетъ процессъ разсужденія, τὸ λογίζειν,—это начало анализа; онъ разсматриваетъ отношенія вещей просто, какъ отношенія, созерцаетъ мысли не въ ихъ цѣльномъ единствѣ, но какъ алгебраическія изображенія, ведущія къ извѣстнымъ общимъ результатамъ. Разумъ представляетъ изъ себя перечисленіе количествъ уже извѣстныхъ; воображеніе является воспріятіемъ цѣнности въ отдѣльности или въ цѣломъ. Разумъ разсматриваетъ различія вещей, воображеніе — черты сходства между ними. Разумъ въ сравненіи съ воображеніемъ то же самое, что инструментъ въ сравненіи съ тѣмъ, кто играетъ на немъ, — что тѣло въ сравненіи съ духомъ, — тѣнь въ сравненіи съ сущностью.

Поэзія въ общемъ смыслѣ можетъ быть опредѣлена, какъ «выраженіе воображенія», и поэзія родилась одновременно съ человѣкомъ. Человѣкъ является какъ бы извѣстнымъ инструментомъ, по которому проходитъ цѣлый рядъ внѣшнихъ и внутреннихъ впечатлѣній, подобно тому, какъ колебанія вѣчно-перемѣннаго вѣтра, скользя по струнамъ Эоловой арфы, сообщаютъ имъ свое движеніе и вызываютъ вѣчно-перемѣнную мелодію. Но въ человѣческомъ существѣ, а быть можетъ, и во всѣхъ существахъ, одаренныхъ спо-

собностью чувствовать, есть начало, дѣйствующее иначе, чѣмъ въ арфѣ: посредствомъ внутренняго приведенія въ порядокъ звуковъ и движеній, возбужденныхъ такимъ образомъ внѣшними впечатлѣніями, оно создаетъ не только мелодію, но и гармонію. Это то же самое, какъ если бы арфа могла приспособлять свои струны къ движеніямъ того, кто по нимъ ударяетъ, въ опредѣленной соразмѣрности звука, —какъ музыкантъ можетъ приспособлять свой голосъ къ звуку арфы. Ребенокъ, во время игры, самъ собою выражаетъ свой восторгъ, проявляя его въ своемъ голосѣ и въ движеніяхъ; и каждое измѣненіе тона и жестовъ имѣетъ точное отношеніе къ соотвѣтствующему первообразу въ области пріятныхъ впечатлѣній, пробужденныхъ имъ; ребенокъ является отраженнымъ образомъ такого впечатлѣнія, и, какъ арфа трепещетъ и звучитъ, послѣ того какъ вѣтеръ отзвучалъ и замеръ, такъ ребенокъ, продолжая въ голосѣ и въ движеніяхъ силу впечатлѣнія, старается продолжить такимъ образомъ сознаніе дѣйствующей причины. По отношенію къ предметамъ, услаждающимъ ребенка, эти проявленія то же самое, что поэзія по отношенію къ предметамъ высшаго порядка. Дикарь (а по отношенію къ вѣкамъ дикарь то же самое, что ребенокъ по отношенію къ годамъ) выражаетъ впечатлѣнія, производимыя на него окружающими предметами, подобнымъ же образомъ; языкъ и жесты, вмѣстѣ съ подражаніемъ пластическаго или живописнаго характера, являются картиной впечатлѣнія, производимаго этими предметами, и пониманія ихъ, возникающаго въ мозгу дикаря. Человѣкъ, живущій въ обществѣ, дѣлается, со всѣми своими страстями и наслажденіями, предметомъ страстей и наслажденій другого человѣка; добавочный классъ ощущеній увеличиваетъ сокровищницу проявленій чувства, и такимъ образомъ языкъ, жесты и подражательное искусство дѣлаются одновременно изображеніемъ и средой, кистью и картиной, рѣзцомъ и статуей, струной и гармоніей. Общественныя симпатіи, или тѣ законы, изъ которыхъ, какъ изъ элементовъ, возникаетъ общество, начинаютъ развиваться съ того самаго мгновенія, когда два человѣческія существа начинаютъ совмѣстное существованіе; будущее содержится въ настоящемъ, какъ растеніе въ сѣмени: и равенство, различіе, единство, рѣзкое противопоставленіе, взаимная зависимость дѣлаются единственными началами, способными создавать побужденія, сообразно съ которыми воля общественнаго существа получаетъ предназна-

ченіе дѣйствовать такъ или иначе, поскольку это существо является общественнымъ,—и создаютъ наслажденіе въ ощущеніи, добродѣтель въ чувствѣ, красоту въ искусствѣ, истину въ разсужденіяхъ и любовь во взаимныхъ отношеніяхъ рода. Такимъ образомъ, люди, даже въ младенческомъ состояніи общества, наблюдаютъ извѣстный порядокъ въ своихъ словахъ и дѣйствіяхъ, отличный отъ порядка предметовъ и впечатлѣній, изображаемыхъ ими, причемъ всякое проявленіе подчинено законамъ того, изъ чего оно исходитъ. Но оставимъ въ сторонѣ эти болѣе общія соображенія, которыя могли бы вовлечь насъ въ изслѣдованіе основъ самого общества: ограничимся разсмотрѣніемъ формъ, въ которыхъ проявляется воображеніе.

Въ младенчествѣ міровой жизни люди пляшутъ и поютъ, и подражаютъ природнымъ предметамъ, наблюдая въ этихъ дѣйствіяхъ, такъ же какъ во всѣхъ другихъ, извѣстный ритмъ или порядокъ. И, хотя всѣ люди наблюдаютъ подобную правильность въ смѣнѣ, все-таки они наблюдаютъ не одинъ и тотъ же порядокъ, какъ въ движеніяхъ пляски, такъ и въ мелодіи пѣсни, какъ въ сочетаніи словъ, такъ и въ цѣломъ рядѣ подражаній природнымъ предметамъ. Ибо существуетъ одинъ извѣстный порядокъ или ритмъ, который принадлежитъ каждому изъ всѣхъ этихъ разрядовъ мимическаго изображенія, и изъ котораго слушатель или зритель извлекаетъ наслажденіе болѣе напряженное и чистое, нежели изъ другого порядка, изъ другой размѣрности: чувство, позволяющее приблизиться къ такому порядку, современные писатели назвали вкусомъ. Каждый человѣкъ, въ младенческіе дни искусства, наблюдаетъ порядокъ, болѣе или менѣе тѣсно приближающійся къ тому, изъ котораго получается это высшее наслажденіе; но различіе не отмѣчено въ достаточной мѣрѣ, такъ что колебанія въ ту и другую сторону не могутъ чувствоваться, исключая тѣхъ случаевъ, когда эта способность приближенія къ прекрасному (да будетъ намъ позволено такъ назвать отношеніе между внѣшнимъ наслажденіемъ и его причиной) очень велика. Тѣ, въ комъ эта способность существуетъ въ преизбыткѣ, являются поэтами въ наиболѣе обширномъ смыслѣ слова: и удовольствіе, получающееся отъ того или иного способа, посредствомъ котораго они выражаютъ вліяніе, производимое на ихъ умы обществомъ или природой, сообщается другимъ и, благодаря этому, какъ бы удваивается. Ихъ языкъ самымъ живымъ образомъ мета-

форменъ, т. е. онъ отмѣчаетъ отношенія вещей, до тѣхъ поръ не схваченныя ничьимъ вниманіемъ, и повторяетъ такое воспріятіе до тѣхъ поръ, пока слова, изображающія ихъ, съ теченіемъ времени не превратятся въ обозначенія извѣстнаго порядка или разряда мыслей, вмѣсто того, чтобы быть картинами цѣльныхъ мыслей: и тогда, если не возникнутъ новые поэты, съ тѣмъ, чтобы воссоздать съизнова сочетанія, пришедшія въ состояніе разрозненности, языкъ будетъ мертвъ для всякихъ болѣе или менѣе благородныхъ цѣлей человѣческаго общенія. Эти уподобленія или отношенія превосходно опредѣлены у Бэкона, какъ «слѣды самой природы, отпечатлѣвшіеся на различныхъ предметахъ міра» *);—и онъ разсматриваетъ способность, ихъ воспринимающую, какъ хранилище аксіомъ, общихъ всякому знанію. Въ младенческіе дни общества каждый авторъ по необходимости—поэтъ, потому что самый языкъ—воплощенная поэзія, а быть поэтомъ—это значитъ воспринимать истинное и прекрасное, однимъ словомъ, воспринимать добро, которое существуетъ въ отношеніи, возникающемъ сперва между бытіемъ и воспріятіемъ, а потомъ между воспріятіемъ и выраженіемъ. Каждый первичный языкъ, у своихъ истоковъ, представляетъ изъ себя хаосъ циклической поэмы; обиліе лексикографическихъ формъ и грамматическихъ различій является дѣломъ позднѣйшихъ эпохъ и представляетъ изъ себя ничто иное, какъ перечень и очертанія поэтическихъ созданій.

Но поэты, или тѣ, кто воображаетъ и изображаетъ этотъ ненарушимый порядокъ, являются не только создателями языка и музыки, танцевъ, архитектуры, ваянія и живописи, — они представляютъ изъ себя законодателей и творцовъ гражданскаго общества, они являются изобрѣтателями искусствъ жизни и учителями, приближающими къ прекрасному и правдивому то частичное пониманіе вліяній невидимаго міра, которое называется религіей. Благодаря этому, всѣ первобытныя религіи аллегоричны или включаютъ аллегоріи и, подобно Янусу, имѣютъ два лица,- одно ложное, другое правдивое. Сообразно съ обстоятельствами вѣка и народа, поэты назывались въ ранніе дни міровой жизни законодателями или пророками: поэтъ существеннымъ образомъ воспринимаетъ въ себя и соединяетъ въ своей личности оба эти характера. На самомъ дѣлѣ,

*) *De Augment. Scient.*, cap. I, lib. III.

онъ не только внимательнымъ, пристальнымъ взглядомъ созерцаетъ настоящее, какъ оно есть, и открываетъ законы, съ которыми элементы этого настоящаго должны быть согласованы, но онъ въ настоящемъ усматриваетъ, кромѣ того, будущее, и его мысли являются зародышемъ цвѣтка и плода позднѣйшихъ временъ. Я не хочу этимъ сказать, что поэты являются пророками въ грубомъ смыслѣ слова, или что они предсказываютъ ту или иную форму съ такой же точностью и увѣренностью, съ какой они предугадываютъ духъ событій: это было бы суевѣрнымъ притязаніемъ, и въ данномъ случаѣ не пророчество являлось бы принадлежностью поэзіи, а скорѣе поэзія принадлежностью пророчества. Поэтъ участвуетъ въ вѣчномъ, безконечномъ, единомъ; по отношенію къ его замысламъ пространство и число отсутствуютъ. Грамматическія формы, выражающія настроеніе времени, разнообразіе личностей и различіе мѣста, могутъ измѣняться въ отношеніи къ высшей поэзіи, ничего не измѣняя въ ней, какъ въ поэзіи; хоры Эсхила, книга Іова, Paradiso Данте могли бы болѣе, чѣмъ какое-либо изъ другихъ произведеній, представить примѣры этого, если бы размѣры даннаго очерка не заставляли насъ воздерживаться отъ приведенія образцовъ. Созданія ваянія, живописи и музыки могли бы послужить примѣрами еще болѣе краснорѣчивыми.

Языкъ, краска, форма, религіозные и гражданскіе обычаи являются орудіями и матеріалами поэзіи; они могутъ быть названы поэзіей, если употреблять тотъ оборотъ рѣчи, который разсматриваетъ дѣйствіе, какъ синонимъ причины. Но поэзія въ болѣе тѣсномъ смыслѣ выражаетъ особыя сочетанія рѣчи, и въ особенности сочетанія ритмическія, создаваемыя той царственной способностью, чей тронъ сокрытъ въ невидимой природѣ человѣка. И это проистекаетъ изъ самой природы языка, который является болѣе прямымъ изображеніемъ дѣйствій и страстей нашего внутренняго *я* и способенъ на болѣе разнообразныя и тонкія сочетанія, чѣмъ краска, форма или движеніе; онъ болѣе пластиченъ и покоренъ волевому надзору той способности, чьимъ созданіемъ онъ является. Ибо, на самомъ дѣлѣ, языкъ представляетъ изъ себя произвольный результатъ воображенія и имѣетъ отношеніе только къ мыслямъ: всѣ же другіе матеріалы, орудія и условія искусства, имѣютъ отношенія между собой, возникающія, какъ границы, и встающія, какъ преграды, между представленіемъ и выраженіемъ. Представленіе есть

какъ бы зеркало, которое отражаетъ, выраженіе—какъ бы облако, которое ослабляетъ—свѣтъ, сообщаемый обоими, какъ посредниками. Благодаря этому, слава ваятелей, живописцевъ и музыкантовъ никогда не становилась въ уровень со славой поэтовъ, въ болѣе тѣсномъ смыслѣ слова, хотя внутреннія силы великихъ мастеровъ этихъ искусствъ могли ничуть не уступать силамъ тѣхъ, кто пользовался человѣческой рѣчью, какъ гіероглифами для своихъ мыслей.—точно такъ же, какъ два исполнителя, отличающіеся совершенно одинаковымъ умѣніемъ, создадутъ неодинаковые эффекты, если одинъ будетъ пользоваться гитарой, а другой арфой. Только слава законодателей и основателей религій, пока ихъ учрежденія существуютъ, превышаетъ, повидимому, славу поэтовъ, въ тѣсномъ смыслѣ: но врядъ ли можетъ возникать вопросъ, останется или не останется какое-нибудь превосходство на ихъ сторонѣ, если мы отдѣлимъ ту славу, которую они обыкновенно пріобрѣтаютъ, потакая грубымъ мнѣніямъ толпы, отъ той болѣе высокой славы, которая имъ принадлежитъ, какъ поэтамъ.

Итакъ, мы ограничили слово поэзія, мы заключили его въ предѣлы того искусства, которое является наиболѣе простымъ и наиболѣе совершеннымъ выраженіемъ самой способности. Однако, необходимо еще болѣе сузить кругъ и опредѣлить различіе между размѣренной и неразмѣренной рѣчью, такъ какъ общераспространенное раздѣленіе на прозу и стихи недопустимо въ точной философіи.

Звуки, такъ же какъ и мысли, имѣютъ отношенія, во-первыхъ, между собою и, во-вторыхъ, въ смыслѣ тяготѣнія къ тому, что они изображаютъ, и воспріятіе порядка этихъ отношеній всегда соединялось съ воспріятіемъ порядка отношеній мысли. Такимъ образомъ, языкъ поэтовъ всегда стремился къ извѣстнаго рода однообразному и стройно напѣвному повторенію звуковъ, безъ чего онъ не былъ бы поэзіей, и что врядъ ли менѣе необходимо для сообщенія ея вліянія, чѣмъ самыя слова, взятыя внѣ отношенія къ этому особому порядку. Отсюда безплодность всякаго перевода; стремиться перенести созданія поэта съ одного языка на другой — это то же самое, какъ если бы мы бросили фіалку въ плавильникъ, съ цѣлью открыть основное начало ея красокъ и запаха. Растеніе должно возникнуть вновь изъ собственнаго сѣмени, или оно не дастъ цвѣтка, — въ этомъ-то и заключается тяжесть проклятія Вавилонскаго смѣшенія языковъ.

Соблюденіе правильнаго порядка при повторенін благозвучія въ языкѣ поэтическихъ умовъ, вмѣстѣ съ его отношеніемъ къ музыкѣ, создало размѣръ или извѣстную систему обычныхъ формъ размѣрности и рѣчи. Но для того, чтобы стройная размѣрность, являющаяся духомъ языка, была соблюдена, поэтъ отнюдь не долженъ непремѣнно приспособлять свой языкъ къ этой обычной формѣ. Установившаяся практика дѣйствительно удобна: она пользуется успѣхомъ и должна быть предпочитаема, въ особенности въ такихъ произведеніяхъ, гдѣ много дѣйствія; но каждый великій поэтъ, пользуясь примѣромъ своихъ предшественниковъ, какъ основой, неизбѣжно долженъ вносить новшество, создавая точное строеніе своего собственнаго стихосложенія. Различіе между поэтами и писателями-прозаиками есть не что иное, какъ вульгарная ошибка. Различіе между философами и поэтами—не болѣе, какъ предразсудокъ. Платонъ самымъ существеннымъ образомъ представлялъ изъ себя поэта,—блестящая правдивость его образовъ и благозвучіе его языка имѣютъ характеръ болѣе напряженный, чѣмъ это можно себѣ представить. Онъ отрѣшился отъ напѣвности эпическихъ, драматическихъ и лирическихъ формъ, потому что стремился зажечь стройную напѣвность въ мысляхъ, лишенныхъ точныхъ очертаній и дѣйствія, и онъ воздержался отъ изобрѣтенія какого-нибудь опредѣленнаго порядка ритма, который заковалъ бы въ опредѣленныя очертанія измѣнчивыя колебанія его слога. Цицеронъ старался подражать мѣрному благозвучію его періодовъ, но съ малымъ успѣхомъ. Бэконъ былъ поэтомъ *); его языкъ отличается нѣжной и величественной размѣрностью, услаждающей чувство въ той же степени, въ какой разсудокъ услажденъ почти сверхчеловѣческой мудростью его философіи; эта пѣвучесть растягиваетъ и потомъ разрываетъ кругъ нашего ума, и сливается вмѣстѣ съ міровой стихіей, къ чему она имѣетъ безпрерывное тяготѣніе. Всѣ писатели, создавшіе переворотъ въ области мысли, неизбѣжно являются не только изобрѣтателями, но и поэтами: они поэты не только потому, что слова ихъ разоблачаютъ незыблемое сходство вещей посредствомъ образовъ, отмѣченныхъ печатью истины, но и потому, что ихъ періоды, будучи исполнены стройнаго благозвучія и размѣрности, содержатъ въ себѣ всѣ элементы стиха—отзвукъ вѣчной музыки. Тѣ великіе поэты, которые пользовались

*) См. *Filum Labyrinthi* и, въ особенности, *Этюдъ о Смерти*.

обычными формами ритма, въ силу самыхъ свойствъ ихъ замысловъ, нисколько не менѣе способны воспринимать правду вещей и поучать о ней, чѣмъ тѣ, которые избѣжали этой формы. Шекспиръ, Данте и Мильтонъ (если ограничиваться писателями современными) являются философами высшаго порядка.

Поэма есть истинный образъ жизни, выраженный въ его вѣчной правдѣ. Между исторіей и поэмой та разница, что исторія является перечнемъ отдѣльныхъ событій, не имѣющихъ никакой иной связи, кромѣ времени, мѣста, обстоятельствъ, причины и дѣйствія; между тѣмъ какъ поэма является возсозданіемъ дѣйствій согласно съ неизмѣнными формами человѣческой природы—такъ, какъ они существуютъ въ умѣ Создателя, Который Самъ является образомъ всѣхъ другихъ умовъ. Исторія частична; она касается только опредѣленной полосы времени и опредѣленнаго сочетанія событій, которыя никогда не могутъ вернуться. Поэзія есть нѣчто всеобъемлющее; она содержитъ въ себѣ зародышъ связи со всѣми побужденіями или дѣйствіями, которыя имѣютъ мѣсто въ возможныхъ видоизмѣненіяхъ человѣческой природы. Время, разрушающее красоту и пользу отдѣльныхъ событій, лишенныхъ поэзіи, которая должна была бы окрашивать ихъ, увеличиваетъ красоту и пользу поэзіи и всегда развиваетъ новыя и удивительныя примѣненія вѣчной истины, въ ней содержащейся. Благодаря этому, всякія сокращенныя изложенія справедливо были названы червемъ истинной исторіи; они уничтожаютъ въ ней всякую поэзію. Исторія отдѣльныхъ событій является какъ бы зеркаломъ, затемняющимъ и искажающимъ то, что должно было бы быть прекраснымъ: поэзія является зеркаломъ, которое дѣлаетъ прекраснымъ то, что искажено.

Части того или другого произведенія могутъ быть поэтическими, хотя произведеніе, какъ цѣлое, можетъ и не быть поэмой. Отдѣльная мысль можетъ быть разсматриваема, какъ цѣлое, хотя она можетъ находиться въ цѣломъ рядѣ совершенно разнородныхъ частей: одно единственное слово можетъ быть искрой мысли неугасимой. И, такимъ образомъ, всѣ великіе историки,—Геродотъ, Плутархъ, Ливій, —были поэтами, и, хотя общій строй сочиненій этихъ писателей, въ особенности Ливія, удерживалъ ихъ отъ развитія данной способности въ ея высшей степени, они дѣлали значительныя и обширныя поправки въ обработкѣ своихъ замысловъ, наполняя всѣ пробѣлы живыми образами.

Опредѣливъ, что такое поэзія и что такое поэтъ, постараемся оцѣнить вліяніе поэзіи на общество.

Поэзія всегда сопровождается чувствомъ удовольствія: всѣ тѣ души, въ которыя она западаетъ, раскрываются, чтобы воспринять въ себя мудрость, смѣшанную съ ея восторгомъ. Въ младенческіе дни міра ни сами поэты, ни ихъ слушатели не сознаютъ вполнѣ превосходныхъ качествъ поэзіи, ибо она проявляется какимъ-то божественнымъ и невѣдомымъ образомъ, способъ ея дѣйствія лежитъ за предѣлами сознанія, онъ выше его; и только будущія поколѣнія могутъ увидать и измѣрить могущественную причину и ея дѣйствія, во всей силѣ и во всемъ блескѣ ихъ соединенія. Даже въ наше время ни одинъ поэтъ при своей жизни никогда не достигалъ полноты своей славы; судъ, произносящій свой приговоръ относительно каждаго поэта, принадлежа всѣмъ временамъ, долженъ быть составленъ изъ равныхъ ему; судьи должны быть выбраны голосомъ времени изъ числа самыхъ избранныхъ мудрецовъ многихъ поколѣній. Поэтъ — это соловей, который поетъ въ темнотѣ, чтобы усладить сладостными звуками свое одиночество; его слушатели — это люди, которые будучи убаюканы мелодіей незримаго музыканта, чувствуютъ, что они тронуты и исполнены кроткой нѣжности, но не знаютъ, почему это такъ и откуда звучитъ мелодія. Поэмы Гомера и его современниковъ были усладой для младенческой Греціи; онѣ представляли изъ себя основы общежитія, явившагося какъ бы опорою для всѣхъ послѣдующихъ цивилизацій. Гомеръ олицетворилъ идеальное воплощеніе своего вѣка въ человѣческомъ характерѣ; для насъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что въ тѣхъ, кто читалъ его стихи, пробуждалось честолюбіе, желаніе походить на Ахиллеса, на Гектора, на Улисса: правда и красота дружбы, патріотизмъ и упорная преданность чему-нибудь одному были разоблачены до своихъ глубинъ въ этихъ безсмертныхъ произведеніяхъ: чувства слушателей должны были утончаться и расширяться, благодаря сочувствію къ такимъ великимъ и чарующимъ олицетвореніямъ, до такой степени, что отъ преклоненія они переходили къ подражанію и отъ подражанія къ отождествленію съ предметомъ своихъ восторженныхъ влеченій. Пусть не возражаютъ, что эти характеры далеки отъ нравственнаго совершенства, и что они отнюдь не могутъ быть разсматриваемы, какъ поучительные образцы, достойные всеобщаго подражанія. Каждая эпоха, подъ

именами болѣе или менѣе громкими, обожествляла свои особенныя заблужденія: Мщеніе является обнаженнымъ идоломъ полуварварской эпохи: Самообольщеніе представляетъ изъ себя закутанный образъ невѣдомаго зла, передъ которымъ простерлись чувственность и пресыщеніе. Но поэтъ разсматриваетъ пороки своихъ современниковъ, какъ временное одѣяніе, въ которое должны быть облечены его созданія, и которое покрываетъ вѣчныя очертанія ихъ красоты, не скрывая ихъ. Эпическій или драматическій герой носитъ это одѣяніе на своей душѣ, какъ онъ могъ бы носить на своемъ тѣлѣ древній панцырь или современный мундиръ, причемъ очень легко представить себѣ одежду болѣе изящную, чѣмъ тотъ или другой. Красота внутренней природы не можетъ быть настолько скрыта своей случайной одеждой: духъ ея формы сообщается даже внѣшней маскѣ, и очертанія, скрываемыя одеждой, изобличаются самой манерой носить ее. Величественныя формы и граціозныя движенія скажутся сами, несмотря ни на какую, хотя бы самую варварскую и безвкусную одежду. Немногіе изъ поэтовъ высшаго порядка выставляютъ красоту своихъ замысловъ въ ихъ обнаженной яркой правдѣ: и еще большой вопросъ: не полезна ли эта прелесть случайной одежды, обычаевъ и т. п.; не необходимо ли все это, чтобы смягчить для смертнаго слуха такую планетную музыку.

Всѣ возраженія относительно безнравственности поэзіи основываются на ложномъ представленіи касательно того, какъ поэзія дѣйствуетъ на нравственное усовершенствованіе человѣка. Этика приводитъ въ порядокъ элементы, создаваемые поэзіей, она проповѣдуетъ схемы и предлагаетъ примѣры гражданской и семейной жизни: и если люди ненавидятъ, и презираютъ, и осуждаютъ, и обманываютъ, и топчутъ другъ друга, это происходитъ не отъ отсутствія превосходныхъ ученій. Но поэзія оказываетъ свое дѣйствіе инымъ образомъ и болѣе божественнымъ. Она пробуждаетъ и расширяетъ самый умъ, дѣлая изъ него сокровищницу цѣлаго множества непредвкушенныхъ сочетаній мысли. Поэзія приподнимаетъ покровъ съ сокрытой красоты міра и дѣлаетъ знакомые предметы какъ будто незнакомыми: она возсоздаетъ все, что изображаетъ, и олицетворенія, озаренныя ея Элизійскимъ свѣтомъ, поселяются въ умѣ тѣхъ, кто однажды созерцалъ ихъ, встаютъ, какъ памятники нѣжнаго и восторженнаго довольства, распространяющагося надъ всѣми мыслями и дѣйствіями, съ которыми она со-

существуетъ. Великая тайна нравственнаго чувствованія — любовь или способность выйти изъ нашей собственной природы, отождествленіе насъ самихъ съ тѣмъ прекраснымъ, что существуетъ внѣ насъ самихъ, — въ мысли, въ дѣйствіи или въ личности. Чтобы быть добрымъ, въ высокомъ смыслѣ этого слова, человѣкъ долженъ представлять себѣ что-нибудь напряженно, съ захватывающей силой: онъ долженъ ставить себя на мѣсто другого и многихъ другихъ: муки и радости существъ, подобныхъ ему, должны сдѣлаться его собственными. Воображеніе есть великое орудіе нравственнаго блага: и поэзія оказываетъ содѣйствіе слѣдствію, дѣйствуя на причину. Поэзія расширяетъ кругъ воображенія, заполняя его мыслями, дышащими все новымъ и новымъ восторгомъ, мыслями, имѣющими власть притягивать къ себѣ и отождествлять съ своей собственной природой всѣ другія мысли, и образующими своей творческой силой новые пробѣлы, пустота которыхъ вѣчно требуетъ свѣжей пищи. Поэзія усиливаетъ способность, являющуюся органомъ нравственной природы человѣка, совершенно такимъ же образомъ, какъ упражненіе усиливаетъ отдѣльные члены. И потому поэтъ поступаетъ дурно, если въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ, непричастныхъ ни времени, ни случайной исторической обстановкѣ, онъ хочетъ воплощать свои собственныя представленія о добрѣ и злѣ, являющіяся обыкновенно представленіями, свойственными его времени и его обстановкѣ: пытаясь истолковать слѣдствіе извѣстной причины, т.-е. беря на себя низшую обязанность, при исполненіи которой онъ можетъ проявить себя несовершеннымъ образомъ, поэтъ отказывается отъ славы, выпадающей на долю того, кто принимаетъ участіе въ дѣйствіи самой причины. Такіе дѣятели, какъ Гомеръ или кто-нибудь изъ другихъ безсмертныхъ поэтовъ, конечно, не могли настолько ошибиться относительно самихъ себя, чтобы отречься отъ такого болѣе обширнаго царства. Другіе, въ комъ поэтическая способность при всемъ своемъ величіи была менѣе напряженною, — Эврипидъ, Луканъ, Тассо, Эдмундъ Спенсеръ, нерѣдко преслѣдовали нравственную цѣль, и дѣйствіе ихъ поэзіи уменьшалось въ точномъ соотношеніи съ большей или меньшей очевидностью подобныхъ намѣреній.

За Гомеромъ и циклическими поэтами, послѣ извѣстнаго перерыва, возникли Аѳинскіе драматическіе и лирическіе поэты, процвѣтавшіе одновременно со всѣмъ, что есть наиболѣе совершеннаго

въ родственныхъ проявленіяхъ поэтической способности.—т.-е. въ области строительнаго искусства, живописи, музыки, танцевъ, ваянія, философіи и, мы можемъ еще прибавить, въ области формъ гражданской жизни; потому что хотя общій строй Аѳинскаго общества былъ искаженъ нѣкоторыми несовершенствами, устраненными рыцарской поэзіей и Христіанствомъ изъ нравовъ и учрежденій современной Европы, тѣмъ не менѣе ни въ одинъ изъ историческихъ періодовъ не вспыхнуло столько энергіи, красоты и добродѣтели: никогда слѣпая сила и упорныя формы не были такъ упорядочены и такъ подчинены волѣ человѣка, никогда человѣческая воля не была болѣе склонна слѣдовать велѣніямъ истиннаго и прекраснаго, какъ въ теченіи столѣтія, предшествовавшаго смерти Сократа. Никакая другая историческая пора въ жизни нашей расы не сохранила столькихъ воспоминаній и обломковъ, такъ явно запечатлѣнныхъ образомъ божественнаго въ человѣкѣ. Но только поэзія въ формѣ, въ дѣйствіи и въ языкѣ, только она одна сдѣлала эту эпоху болѣе достопамятной, чѣмъ всѣ другія, превратила ее въ сокровищницу образцовъ на вѣковѣчныя времена. Дѣйствительно, поэзія, закрѣпляющая слова письменными знаками, существовала въ это время одновременно съ другими искусствами, и было бы безплодно спрашивать, что именно давало и что воспринимало тотъ свѣтъ, который всѣ искусства, какъ изъ одного общаго средоточія, разбросали кругомъ, пронизывая яркими лучами самыя темныя полосы послѣдующаго времени. Мы ничего не знаемъ болѣе о причинѣ и дѣйствіи, кромѣ постоянной связи событій: поэзія всегда существуетъ совмѣстно со всѣми другими искусствами, содѣйствующими счастью и совершенству человѣка. Я ссылаюсь на то, что уже установлено для различенія причины и дѣйствія.

Именно въ періодъ, указанный здѣсь, родилась драма: и, хотя позднѣйшій писатель (Шекспиръ) могъ сравниться съ немногими великими образцами Аѳинской драмы, дошедшей до насъ, и могъ даже превзойти ихъ, неоспоримо, что самое искусство никогда не было понимаемо и осуществляемо согласно съ истинной философіей такъ, какъ это было въ Аѳинахъ. Ибо Аѳиняне пользовались рѣчью, дѣйствіемъ, музыкой, танцами и религіозными учрежденіями для того, чтобы создать одно цѣльное впечатлѣніе при изображеніи высшихъ, совершеннѣйшихъ типовъ страсти и могущества: каждое подраздѣленіе въ искусствѣ было доведено до совершенства худож-

никами самаго высокаго порядка, и всѣ эти подраздѣленія были приведены въ подчиненную связь, въ прекрасное соотношеніе и общее взаимное единство. На современной сценѣ лишь немногіе изъ элементовъ, способныхъ изобразить олицетвореніе поэтическаго замысла, употребляются одновременно. Мы имѣемъ трагедію безъ музыки и танцевъ, музыку и танцы безъ высшихъ олицетвореній, для которыхъ они служатъ прекраснымъ сопутствующимъ явленіемъ, и какъ первое, такъ и второе — безъ религіи и торжественности. Религіозныя учрежденія совершенно изгнаны со сцены. Мы лишили лицо актера маски, на которой многоразличныя выраженія, свойственныя его драматическому характеру, могли быть слиты въ одно неизмѣнное выраженіе; и наша система благопріятна только для частичнаго впечатлѣнія, лишеннаго стройной цѣльности, —она пригодна только для монолога, гдѣ все вниманіе можетъ быть направлено на какого-нибудь великаго мастера идеальной мимики. Современная манера сліянія комедіи съ трагедіей, хотя и приводитъ на дѣлѣ къ частымъ и большимъ злоупотребленіямъ, все же является, несомнѣнно, расширеніемъ круга драматическихъ впечатлѣній: но комедія должна быть, какъ въ Королѣ Лирѣ, всеобъемлющей, совершенной и возвышенной. Быть можетъ, именно вмѣшательство этого начала наклоняетъ вѣсы въ пользу Короля Лира, сравнительно съ Эдиномъ Царемъ, или Агамемнономъ, или, если хотите, трилогіями, съ которыми они связаны,— если только могучая поэтическая сила хоровъ, въ особенности въ послѣднемъ изъ названныхъ произведеній, не должна быть разсматриваема, какъ элементъ, возстановляющій равновѣсіе. Король Лиръ, если только мы должны продолжать это сравненіе, можетъ быть разсматриваемъ, какъ наиболѣе совершенный образецъ драматическаго искусства въ цѣломъ мірѣ, несмотря на то, что поэтъ былъ прикованъ къ самымъ узкимъ условіямъ, благодаря незнакомству съ философіей драмы, господствовавшему въ современной Европѣ. Кальдеронъ въ своихъ религіозныхъ Autos пытался осуществить нѣкоторыя изъ высокихъ условій драматическаго изображенія, обойденныхъ Шекспиромъ; такъ, онъ установилъ отношеніе между драмой и религіей и приспособилъ ихъ къ музыкѣ и танцамъ, но зато онъ опустилъ соблюденіе условій еще болѣе важныхъ, и не столько выигралъ, сколько проигралъ, замѣнивъ живыя олицетворенія правдивыхъ человѣче-

скихъ страстей строго-опредѣленными и вѣчно-повторяемыми типами искаженнаго суевѣрія.

Но я уклоняюсь въ сторону. — Связь сценическихъ представленій съ улучшеніемъ или порчей нравовъ нашла всеобщее признаніе: другими словами, присутствіе или отсутствіе поэзіи, въ ея наиболѣе совершенной и всеобщей формѣ, было соединено съ добромъ и зломъ въ поведеніи или нравахъ. Порча, которая вмѣнялась драмѣ въ преступленіе, какъ непосредственный ея результатъ, начинается тамъ, гдѣ поэзія, участвовавшая въ ея созданіи, кончается: я ссылаюсь на исторію нравовъ, — въ ней мы можемъ видѣть, что періоды возрастанія одной и упадка другой находились въ точномъ соотношеніи со всякимъ инымъ примѣромъ нравственной причины и ея дѣйствія.

Драма въ Аѳинахъ, или гдѣ бы то ни было въ другомъ мѣстѣ, гдѣ она только приближалась къ совершенству, всегда существовала одновременно съ умственнымъ и нравственнымъ величіемъ эпохи. Трагедіи Аѳинскихъ поэтовъ являются какъ бы зеркаломъ, гдѣ зритель созерцаетъ самого себя подъ тонкимъ покровомъ обстоятельствъ, видитъ себя лишеннымъ всего, за исключеніемъ того высокаго совершенства и той идеальной энергіи, въ которыхъ каждый усматриваетъ внутреннее олицетвореніе всего, что онъ любитъ, передъ чѣмъ преклоняется, чѣмъ хотѣлъ бы сдѣлаться. Воображеніе расширено сочувствіемъ къ мукамъ и страстямъ, настолько сильнымъ, что онѣ заставляютъ увеличиваться способность, ихъ созерцающую,—добрыя чувства усилены состраданіемъ, негодованіемъ, ужасомъ и скорбью: и благородное спокойствіе, создающееся благодаря такому возвышенному пробужденію чувствъ, остается неизмѣннымъ и среди смутъ повседневной жизни: даже преступленіе лишено половины своего ужаса и всей своей заразительности, будучи представлено, какъ роковое слѣдствіе непостижимыхъ силъ природы: заблужденіе лишено, такимъ образомъ, своей преднамѣренности: человѣкъ болѣе не можетъ лелѣять его, какъ созданіе своего произвольнаго выбора. Въ драмѣ высшаго порядка мало мѣста для осужденія или ненависти: она скорѣе учитъ самопознанію и самоуваженію. Ни глазъ, ни умъ не могутъ видѣть себя иначе, какъ будучи отраженными въ чемъ-нибудь, что на нихъ походитъ. До тѣхъ поръ, пока драма продолжаетъ служить выраженіемъ поэзіи, она является призматическимъ и мно-

гостороннимъ зеркаломъ, которое собираетъ самые блестящіе лучи человѣческой природы, раздѣляетъ ихъ и воспроизводитъ изъ простоты этихъ первичныхъ формъ, налагаетъ на нихъ печать величія и красоты, умножаетъ все, что оно отражаетъ, и одаряетъ эти отраженія способностью распространять свое подобіе всюду, куда они только упадутъ.

Но въ періоды порчи нравовъ, драма вступаетъ въ родственную связь съ этими отрицательными явленіями общественной жизни. Трагедія дѣлается холоднымъ подражаніемъ формѣ великихъ образцовыхъ произведеній древности, лишеннымъ всякаго стройнаго сочетанія съ родственными искусствами: и часто самая форма понимается дурно, или трагедія представляетъ изъ себя слабую попытку поучать извѣстнымъ мыслямъ, на которыя писатель смотритъ, какъ на нравственныя истины, и которыя, обыкновенно, представляютъ изъ себя не что иное, какъ явную лесть какому-нибудь грубому пороку или слабости, недостатку, заражающему одинаково и автора, и его слушателей. Отсюда возникаетъ то, что̀ было названо классической и семейной драмой. *Катонъ* Аддисона является образцомъ одной, а примѣровъ другой такъ много, что врядъ ли стоитъ ихъ приводить. Поэзію нельзя заставить служить такимъ цѣлямъ. Поэзія это—молніеносный мечъ, всегда обнаженный, всегда уничтожающій ножны, которыя хотѣли бы его удержать. И, такимъ образомъ, мы замѣчаемъ, что всѣ драматическія произведенія этого разряда весьма примѣчательнымъ образомъ лишены фантазіи; они стремятся нарисовать чувства и страсти, но безъ содѣйствія воображенія получаются только прихоти произвола и вожделѣнія. Періодомъ самаго грубаго принижения драмы въ нашей исторіи является царствованіе Карла II, когда всѣ формы, въ которыхъ поэзія привыкла выражаться, превратились въ гимнъ королевской власти, торжествующей надъ свободой и добродѣтелью. Мильтонъ стоялъ одиноко, озаряя своимъ геніемъ время, недостойное его. Въ такіе періоды соображеніе разсчета заполняетъ всѣ формы драматическаго изображенія, и поэзія перестаетъ участвовать въ нихъ, комедія теряетъ свою возвышенную всеобъемлемость, остроуміе занимаетъ мѣсто юмора: мы смѣемся не изъ чувства удовольствія, а изъ чувства ликующаго самодовольства: злорадство, сарказмъ и презрѣніе занимаютъ мѣсто веселости, исполненной сочувствія: мы едва можемъ смѣяться, но мы улыбаемся. Безстыд-

ство, всегда являющееся осквернéніемъ божественной красоты жизни, дѣлается, уже благодаря одному своему покрову, болѣе дѣйствительнымъ, если и менѣе отвратительнымъ: это — чудовище, пожирающее тайкомъ свою пищу, которую испорченность общества все снова и снова приноситъ ему.

Такъ какъ въ драмѣ возможно сочетаніе бо̀льшаго числа различныхъ способовъ выраженія поэзіи, нежели въ какой-нибудь другой литературной формѣ, связь поэзіи съ общественнымъ благомъ замѣтнѣе въ драмѣ, чѣмъ гдѣ-либо. И вполнѣ несомнѣнно, что высшее совершенствованіе человѣческаго общества всегда находилось въ соотвѣтствующей связи съ высшимъ развитіемъ драмы, и что порча или полное погасаніе драмы у того народа, гдѣ она раньше процвѣтала, являются признакомъ порчи нравовъ и погасанія той энергіи, которая служитъ душой общественной жизни. Но,—какъ Макіавели говоритъ о политическихъ учрежденіяхъ, — эта жизнь можетъ быть сохранена и обновлена, если люди будутъ способны вернуть драму къ основнымъ ея началамъ. Мысль эта справедлива также, если мы примѣнимъ ее къ поэзіи вообще, въ самомъ распространенномъ смыслѣ этого слова: всякій языкъ, учрежденія и формы требуютъ не только того, чтобы ихъ создали, но и того, чтобы ихъ поддерживали: личныя свойства поэта и его отношеніе къ своимъ обязанностямъ, являясь олицетвореніемъ божественной природы, настолько же участвуютъ въ предвидѣніи, какъ и въ процессѣ творчества.

Гражданская война, разграбленіе Азіи и роковое военное господство — сперва Македонянъ, а потомъ Римлянъ, были многоразличными символами погашенія или задержки творческихъ силъ Греціи. Буколическіе писатели, нашедшіе покровителей въ лицѣ ученыхъ тирановъ Сициліи и Египта, были послѣдними представителями минувшей ея славы. Ихъ поэзія отличается напряженной пѣвучестью; подобно запаху туберозы, она избыткомъ своей сладостной нѣжности покоряетъ душу и дѣлаетъ ее больной: въ то время какъ поэзія предшествующей эпохи была подобна вѣтру, несущемуся надъ іюньскими лугами, — вѣтру, который смѣшиваетъ запахъ полевыхъ цвѣтовъ съ своимъ собственнымъ, оживляющимъ и исполненнымъ гармоніи, духомъ, дающимъ чувству способность выносить страстные восторги. Буколическое и эротическое изящество литературныхъ произведеній находится въ соотвѣтствующей связи съ

нѣжностью, отличающей произведенія ваянія, музыки и родственныхъ искусствъ, и даже съ мягкостью общественныхъ учрежденій, отличающей ту эпоху, на которую я указываю. Такой недостатокъ стройной цѣльности нельзя приписывать поэтической способности, взятой въ ея сущности, или какому-нибудь злоупотребленію этой способностью. Подобная же воспріимчивость ко вліянію чувствъ и ощущеній можетъ быть найдена въ произведеніяхъ Гомера и Софокла: первый въ особенности сообщалъ своимъ чувственнымъ и патетическимъ образамъ неудержимую притягательную прелесть. Превосходство данныхъ писателей надъ писателями послѣдующаго времени заключается не въ отсутствіи мыслей, связанныхъ съ внѣшними способностями ихъ природы, а въ присутствіи мыслей, связанныхъ со способностями внутренними: ихъ несравненное совершенство заключается въ стройномъ сліяніи всѣхъ способностей. Несовершенство эротическихъ поэтовъ заключается не въ томъ, что у нихъ есть, а въ томъ, чего у нихъ нѣтъ. Если ужъ мы непремѣнно хотимъ ставить ихъ въ связь съ порчей ихъ эпохи, мы должны сказать, что они участвовали въ ней не поскольку они были поэтами, а поскольку они не были поэтами. Если бы порча была настолько сильна, что смогла бы погасить въ нихъ воспріимчивость къ наслажденію, къ страсти и къ картинамъ природы, ко всему, что было вмѣнено имъ въ недостатокъ, —тогда совершилось бы послѣднее торжество зла. Ибо конечный моментъ общественной порчи—это уничтоженіе всякой воспріимчивости къ наслажденію; потому мы и можемъ называть это порчей. Она начинается въ воображеніи и въ разумѣ, какъ въ сердцевинѣ, и отсюда распространяется, какъ парализующій ядъ, проникая черезъ посредство страстей въ самые позывы къ нимъ, пока все не превратится въ оцѣпенѣлую массу, гдѣ врядъ-ли имѣется какое-нибудь чувство. При приближеніи такого періода поэзія всегда обращается къ тѣмъ способностямъ, которыя умираютъ послѣ всѣхъ, и голосъ ея слышится, какъ шаги Астреи, покидающей міръ. Поэзія продолжаетъ сообщать всю радость, какую только способенъ воспринять человѣкъ: она все еще продолжаетъ быть свѣточемъ жизни, источникомъ всего прекраснаго, или великодушнаго, или правдиваго, что только можетъ имѣть мѣсто въ темныя времена. Легко признать, что тѣ изъ чувственныхъ гражданъ Сиракузъ и Александріи, которые услаждались поэмами Теокрита, были менѣе холодны,

жестоки и чувственны, чѣмъ остальные представители данной группы. Но порча должна до послѣдней степени разрушить зданіе человѣческаго общежитія, прежде чѣмъ поэзія перестанетъ существовать. Никогда еще не порывались окончательно священныя звенья цѣпи, соединяющей умы многихъ людей съ тѣми великими умами, откуда, какъ отъ магнита, исходитъ невидимое теченіе, которое одновременно сочетаетъ воедино, одухотворяетъ и поддерживаетъ жизнь всѣхъ. Это — способность, содержащая въ себѣ сѣмена какъ своего собственнаго, такъ и общественнаго обновленія. И не будемъ ограничивать дѣйствія буколической и эротической поэзіи воспріимчивостью только тѣхъ, къ кому она обращалась. Они могли смотрѣть на красоту этихъ безсмертныхъ созданій, просто какъ на обломки и разъединенныя части: тотъ, кто имѣетъ болѣе утонченную организацію, или родился въ болѣе счастливую эпоху, можетъ признать въ нихъ какъ бы вводныя части великой поэмы, которую всѣ поэты, подобно сотрудничающимъ мыслямъ одного великаго ума, созидали отъ начала временъ.

Тѣ же самые перевороты, только въ болѣе узкой области, имѣли мѣсто въ древнемъ Римѣ: но дѣйствія и формы его общественной жизни никогда, какъ кажется, не были до совершенства насыщены поэтическимъ началомъ. Римляне, повидимому, смотрѣли на Грековъ, какъ на самыхъ избранныхъ хранителей самыхъ избранныхъ формъ, нравовъ и природы, и воздерживались отъ созданія въ размѣрной рѣчи, въ ваяніи, въ музыкѣ или въ строительномъ искусствѣ чего-нибудь, что имѣло бы особенное отношеніе къ условіямъ ихъ собственной жизни, въ то время какъ это должно было бы имѣть общую связь со всѣмъ устроеніемъ міра. Но мы судимъ, основываясь на частичной очевидности, и потому, быть можетъ, наши сужденія имѣютъ только частичную цѣнность. Эпній Варронъ, Пакувій и Акцій, всѣ великіе поэты, были утрачены. Лукрецій является творцомъ въ высшемъ смыслѣ слова, а Виргилій — въ очень высокомъ. Изысканная утонченность выраженій послѣдняго представляетъ изъ себя какъ бы свѣтлый туманъ, скрывающій отъ насъ напряженную и чрезмѣрную правду пониманія природы. Ливій одухотворенъ поэзіей. Но Горацій, Катуллъ, Овидій и, вообще, всѣ другіе великіе писатели Виргиліевской эпохи, смотрѣли на человѣка и природу сквозь эллинскую призму. Самыя учрежденія и религія Рима были менѣе поэтичны, чѣмъ въ Греціи, какъ гѣнь

менѣе жива, чѣмъ сущность. Такимъ образомъ, поэзія въ Римѣ скорѣе слѣдовала за совершенствованіемъ общественной и семейной жизни, нежели сопровождала ее. Истинная поэзія Рима жила въ его учрежденіяхъ, ибо все, что въ нихъ было прекраснаго, истиннаго и величественнаго, могло проистекать единственно изъ способности, создающей порядокъ, который ихъ составляетъ. Жизнь Камилла, смерть Регула, сенаторы, на подобіе боговъ ожидающіе приближенія побѣдоносныхъ Галловъ, отказъ республики заключить миръ съ Ганнибаломъ послѣ битвы при Каннахъ—все это не было слѣдствіемъ утонченнаго разсчета, соображенія возможной личной выгоды, которая должна была возникнуть изъ такого-то порядка или изъ такого-то ритма на жизненной сценѣ, для тѣхъ, что были одновременно и поэтами, и сценическими исполнителями этихъ безсмертныхъ драмъ. Воображеніе, созерцающее красоту такого порядка, создавало его изъ себя, согласно своей собственной идеѣ: слѣдствіемъ была имперія, а наградою вѣчная слава. Такія вещи въ неменьшей степени являются поэзіей, quia carent vate sacro. Это—эпизоды циклической поэмы, написанной Временемъ въ памяти людей. Какъ вдохновенный поэтъ, Минувшее наполняетъ своимъ пѣвучимъ гимномъ театръ безчисленныхъ поколѣній.

Въ концѣ концовъ, древній строй религій и нравовъ завершилъ кругъ своего развитія, и міръ низвергся бы въ состояніе крайней смуты и полной темноты, если бы среди создателей Христіанскаго и рыцарскаго порядка нравовъ и религіи не нашлись поэты, выработавшіе формы мнѣній и дѣйствій, никогда до тѣхъ поръ не возникавшія ни въ чьемъ умѣ; и эти мысли, завладѣвъ воображеніемъ людей, сдѣлались какъ бы вождями разрозненныхъ войскъ. Въ планъ даннаго очерка не входитъ обсужденіе отрицательныхъ явленій, созданныхъ Христіанствомъ и рыцарствомъ, но только мы утверждаемъ, на основаніи мыслей, уже установленныхъ, что ни одна изъ этихъ отрицательныхъ чертъ не можетъ быть приписана поэзіи, въ нихъ содержащейся.

„The crow makes wing to the rooky wood,
Good things of day begin droop and drowse,
And night's black agents to their preys do rouse" *).
(Macbeth, act III, scene 2).

*) Ворона направляетъ крылья къ чащѣ,
Гдѣ черные грачи: созданья дня,

Но замѣтьте, какой прекрасный строй возникъ изъ праха жестокаго историческаго хаоса! Какъ міръ, точно воскрешенный, взмахнувъ золотыми крылами знанія и надежды, снова предпринялъ свой неутомимый полетъ въ лазурную высь временъ! Вслушайтесь въ музыку, неслышную для тѣлеснаго слуха, въ музыку, являющуюся безпрерывнымъ и незримымъ вѣтромъ, который питаетъ свое вѣчное движеніе силою своей быстроты.

Поэзія, заключающаяся въ ученіи Христа, въ миѳологіи и учрежденіяхъ Кельтійскихъ завоевателей Римской Имперіи, пережила темныя смуты, связанныя съ возростаніемъ и побѣдами этихъ историческихъ вліяній, и все это вмѣстѣ слилось въ новый цѣльный порядокъ нравовъ и мнѣній. Приписывать невѣжество среднихъ вѣковъ Христіанскому ученію или владычеству Кельтійскихъ народовъ—большое заблужденіе. Если съ этими вліяніями было связано какое-нибудь зло, оно возникло благодаря погашенію поэтическаго начала, связанному съ усиленіемъ деспотизма и суевѣрія. Люди, въ силу причинъ слишкомъ запутанныхъ, чтобы ихъ обсуждать здѣсь, сдѣлались себялюбивыми и лишенными воспріимчивости: ихъ собственная воля сдѣлалась слабой, однако же, они были ея рабами, а потому и рабами воли другихъ; но страхъ, алчность, жестокость и обманъ являлись опредѣлительными чертами той расы, въ чьей средѣ не могло найтись ни одного, способнаго создавать въ области формъ, языка или учрежденій. Объяснять нравственныя неправильности такого состоянія общества тѣмъ или другимъ порядкомъ событій, имѣющихъ непосредственную съ ними связь, было бы несправедливостью, и именно тѣ событія имѣютъ наибольшее право на наше одобреніе, которыя съ наибольшей скоростью могли бы прекратить этотъ порядокъ вещей. Историческія неправильности слились съ господствующей религіей, и въ этомъ большое несчастіе тѣхъ, кто не умѣетъ отличать словъ отъ мыслей.

Поэзія Христіанской и рыцарской системъ начала проявлять свое дѣйствіе не ранѣе XI столѣтія. Начало равенства было открыто и примѣнено Платономъ въ его Республикѣ, какъ теоретическое руководящее правило въ области распредѣленія между людьми элементовъ наслажденія и власти, созданныхъ общимъ

Слабѣя, дремлютъ, и нечадья ночи
На жертвъ своихъ склоняютъ зоркій взглядъ.
(Макбетъ, III, 2).

трудомъ и общимъ искусствомъ. Ограниченія такого правила, какъ говорилъ онъ, должны быть опредѣляемы только впечатлительностью каждаго, или полезностью результатовъ для всѣхъ. Слѣдуя ученіямъ Тимея и Пиѳагора, Платонъ создавалъ такимъ образомъ нравственную и умственную систему, включающую въ себя одновременно прошедшее, настоящее и будущее человѣческаго общежитія. Христосъ возгласилъ священныя и вѣчныя истины, содержащіяся въ такомъ воззрѣніи на человѣчество, и Христіанство въ его отвлеченной чистотѣ сдѣлалось явнымъ выраженіемъ тайныхъ ученій, заключавшихся въ поэзіи и мудрости античной эпохи. Сліяніе Кельтійскихъ народовъ съ истощеннымъ населеніемъ Юга наложило на представителей этого послѣдняго отпечатокъ поэзіи, существующей въ Кельтійской миѳологіи и въ Кельтійскихъ учрежденіяхъ. Слѣдствіемъ была сумма дѣйствія и противодѣйствія всѣхъ содержащихся въ этомъ причинъ: ибо можно принять, какъ точное правило, что ни одинъ народъ и ни одна религія не могутъ занять мѣста какого-нибудь другого народа или религіи безъ того, чтобы не воспринять въ себя часть того, что они замѣняютъ. Среди послѣдствій такихъ событій мы видимъ уничтоженіе личнаго и семейнаго рабства и освобожденіе женщинъ отъ значительной части унизительныхъ стѣсненій, свойственныхъ античной эпохѣ.

Уничтоженіе личнаго рабства является основой высшей политической надежды, какая только можетъ возникнуть въ человѣческомъ умѣ. Свобода женщинъ внесла красоту въ отношенія половъ, создала поэзію любви. Любовь сдѣлалась религіей, причемъ кумиры поклоненія были всегда налицо. Какъ будто статуи Аполлона и Музъ были одарены жизнью и движеніемъ и стали ходить среди тѣхъ, кто преклонялся передъ ними. Земля наполнилась обитателями какого-то божественнаго міра. Знакомыя, примелькавшіяся явленія жизни сдѣлались чудесными и неземными, и что-то вродѣ рая было создано изъ обломковъ Эдема. И какъ подобное созданіе было само по себѣ поэзіей, такъ его создатели были поэтами, и языкъ былъ орудіемъ ихъ искусства: Galeotto fù il libro e chi lo scrisse *). Провансальскіе трубадуры или изобрѣтатели предшествовали Петраркѣ, чьи стихи являются волшебными заклинаніями, раскрывающими самые сокрытые зачарованные источники

*) Пособникомъ была книга и тотъ, кто ее написалъ.

восторговъ, которые кроются въ мукахъ любви. Невозможно чувствовать ихъ безъ того, чтобы не сдѣлаться частью созерцаемой красоты: было бы лишнимъ объяснять, какъ нѣжность и возвышенность ума, связанная съ этими священными чувствами, можетъ сдѣлать человѣка болѣе изящнымъ, болѣе великодушнымъ и мудрымъ, можетъ увлечь его изъ этого темнаго маленькаго мірка личной жизни. Данте понималъ сокровенныя тайны любви еще болѣе, чѣмъ Петрарка. Его Vita Nuova представляетъ изъ себя неистощимый источникъ чистоты чувства и языка: это идеализированная исторія той поры и тѣхъ полосъ его жизни, когда душа его была всецѣло посвящена любви. Его апоѳеозъ Беатриче въ Paradiso, и постепенныя усиленія ея очарованія и его собственной любви, съ помощью которыхъ, какъ черезъ рядъ послѣдовательныхъ степеней, онъ восходитъ къ престолу Высшей Причины, является самымъ блестящимъ замысломъ современной поэзіи. Утонченные критики справедливо отвергли сужденія грубой публики и измѣнили порядокъ великихъ актовъ Божественной Комедіи, по степени восхищенія, съ которымъ относятся къ Аду, къ Чистилищу и къ Раю. Paradiso представляетъ изъ себя безпрерывный гимнъ неумирающей любви. Любовь, нашедшая достойнаго поэта среди древнихъ только въ лицѣ одного Платона, была прославлена цѣлымъ хоромъ величайшихъ писателей обновленнаго міра: музыка проникла до отдаленныхъ уголковъ общественной жизни, и отзвуки ея все еще заглушаютъ кричащее разногласіе оружія и суевѣрія. Въ послѣдовательные промежутки времени Аріосто, Тассо, Шекспиръ, Эдмундъ Спенсеръ, Кальдеронъ, Руссо и великіе писатели нашей собственной эпохи прославляли владычество любви, насаждая въ умѣ людей какъ бы трофеи этой блестящей побѣды надъ чувственностью и силой. Истинное отношеніе между полами, составляющими человѣческій родъ, стало пониматься лучше, и если заблужденіе, смѣшивавшее неодинаковость способностей двухъ половъ съ ихъ неравенствомъ, нашло частичное признаніе въ мнѣніяхъ и учрежденіяхъ современной Европы, мы обязаны этимъ великимъ благодѣяніемъ тому культу, чьимъ закономъ было рыцарство, и чьими пророками были поэты.

Поэзія Данте можетъ быть разсматриваема, какъ мостъ, перекинутый черезъ потокъ временъ и соединяющій современный міръ съ древнимъ. Искаженныя представленія о невидимомъ, которымъ

Данте и его соперникъ Мильтонъ дали идеальное олицетвореніе, являются какъ бы маской и мантіей: великіе поэты облеклись въ нихъ и такъ блуждаютъ по пространствамъ вѣчности. Трудно опредѣлить, насколько они сознавали различіе между своими собственными вѣрованіями и вѣрованіями народа. По крайней мѣрѣ. Данте желалъ, повидимому, самымъ точнымъ образомъ указать на это различіе, помѣстивши въ рай Ривея, котораго Виргилій называетъ справедливѣйшимъ (justissimus unus). и выказывая самый поэтическій произволъ въ распредѣленіи наградъ и наказаній. Поэма Мильтона, равнымъ образомъ, содержитъ въ себѣ философское опроверженіе той самой системы. для которой она. силою страннаго и естественнаго противопоставленія. явилась главной всенародной поддержкой. Ничто не можетъ превзойти энергію и величіе въ характерѣ Сатаны, какъ онъ выраженъ въ Потерянномъ Раѣ.

Было бы ошибкой предполагать, что Мильтонъ когда-нибудь думалъ сдѣлать изъ него общепонятное олицетвореніе зла. Непримиримая ненависть, терпѣливое коварство и безсонная утонченность замысловъ, стремящаяся каждую минуту довести врага до состоянія крайней тоски, эти явленія представляютъ изъ себя зло: и если они извинительны въ рабѣ, они непростительны въ тиранѣ: пусть въ покоренномъ они уравновѣшены многимъ изъ того, что облагораживаетъ его пораженіе, въ побѣдителѣ они отмѣчены всѣмъ тѣмъ, что оскверняетъ его побѣду. Дьяволъ Мильтона, какъ существо нравственное, настолько же выше его Бога, насколько человѣкъ, упорствующій въ своемъ намѣреніи, несмотря на превратности и пытки, выше того, кто въ холодной безопасности несомнѣннаго торжества налагаетъ на своего врага самое страшное мщеніе, повинуясь не ошибочному плану— довести своего противника до того, чтобы онъ раскаялся въ этой упорной враждѣ, а сознательному замыслу довести его до такой степени отчаянія, чтобы онъ заслуживалъ новыхъ пытокъ. Мильтонъ настолько исказилъ народное вѣрованіе (если здѣсь можетъ быть рѣчь объ искаженіи), что не далъ своему Богу никакого нравственнаго превосходства надъ своимъ Дьяволомъ. И это смѣлое пренебреженіе прямого нравственнаго замысла является самымъ рѣшительнымъ доказательствомъ высокаго превосходства Мильтоновскаго генія. Онъ смѣшалъ элементы человѣческой природы, какъ краски на одной палитрѣ, и

расположилъ ихъ при созданіи своей великой картины согласно съ законами эпической правды, т.-е. согласно съ тѣмъ началомъ, въ силу котораго цѣлый рядъ дѣйствій внѣшняго міра, съ одной стороны, и мыслящихъ существъ, одаренныхъ нравственной природой, съ другой, разсчитанъ на возбужденіе сочувствія грядущихъ поколѣній человѣчества. Божественная Комедія и Потерянный Рай заключили современную миѳологію въ стройныя очертанія, и когда превратность и время прибавятъ новыя суевѣрія къ великому множеству тѣхъ, которыя возникли и умерли на земномъ шарѣ, истолкователи ученымъ образомъ будутъ разъяснять вѣрованія древней Европы, не потонувшія въ полномъ забвеніи лишь потому, что они были запечатлѣны безсмертіемъ геніевъ.

Гомеръ былъ первымъ эпическимъ поэтомъ, и Данте вторымъ, то-есть онъ былъ вторымъ поэтомъ, чьи произведенія находились въ опредѣленномъ отчетливомъ отношеніи къ знанію, чувствамъ и вѣрѣ того времени, въ которое онъ жилъ, а равно и временъ послѣдующихъ, развиваясь въ соотвѣтствіи съ ихъ развитіемъ. Что касается Лукреція, онъ потопилъ свои быстрыя крылья въ подонкахъ вещественнаго міра; Виргилій, со скромностью, которая, къ несчастью, сдѣлалась его геніемъ, стремился къ славѣ подражателя, даже тогда, когда онъ пересоздавалъ заново то, что копировалъ; и никто изъ цѣлой толпы поэтовъ-подражателей,—каковы, Аполлоній Родосскій, Квинтъ Калабрійскій, Смирнэй, Нонносъ, Луканъ, Стацій, Клавдіанъ,- не старался осуществить хотя бы одно условіе эпической правды, несмотря на то, что отдѣльныя черты въ творчествѣ этихъ поэтовъ отличаются стройностью. Мильтонъ былъ третьимъ эпическимъ поэтомъ. Ибо, если названіе эпоса, въ его высшемъ смыслѣ, не можетъ быть примѣнено къ Энеидѣ, оно, съ еще меньшимъ правомъ можетъ быть примѣнено къ Неистовому Роланду, къ Освобожденному Іерусалиму, къ Луизіадѣ или къ Царицѣ Фей.

Данте и Мильтонъ оба были глубоко проникнуты древней религіей цивилизованнаго міра: и ея духъ существуетъ въ ихъ поэзіи, вѣроятно, въ такой же степени, какъ ея формы—въ непреобразованномъ культѣ Европы.

Одинъ предшествовалъ Реформаціи, а другой слѣдовалъ за ней, причемъ оба отдѣлены отъ нея почти равнымъ промежуткомъ времени. Данте былъ первымъ религіознымъ реформаторомъ, и Лютеръ

превосходилъ его скорѣе въ грубости и ѣдкости, нежели въ смѣлости осужденія папской узурпаціи. Данте былъ первымъ пробудителемъ усыпленной Европы; изъ хаоса неблагозвучныхъ варваризмовъ онъ создалъ языкъ, который самъ по себѣ является убѣдительной музыкой. Это онъ сплотилъ великіе умы, бывшіе руководителями въ возрожденіи знанія,—онъ былъ Люциферомъ той звѣздной семьи, которая въ тринадцатомъ столѣтіи зажглась въ республиканской Италіи и съ ночныхъ небесъ бросила лучи въ омраченный міръ. Самыя слова его проникнуты духомъ: каждое является искрой, горящимъ атомомъ неугасимой мысли: и многія еще лежатъ сокрытыми въ пеплѣ своего рожденія и таятъ въ себѣ молнію, для которой еще не нашлось проводника. Всякая высокая поэзія безконечна: она—какъ первый жолудь, потенціально содержащій въ себѣ всѣ дубы. Можно снимать покровъ за покровомъ, и внутренняя красота выраженія все-таки никогда не будетъ обнажена. Великая поэма является какъ бы источникомъ, вѣчно бьющимъ черезъ край струями мудрости и восторга: и послѣ того какъ одинъ человѣкъ и одна эпоха почерпнули изъ этого божественнаго источника столько, сколько имъ позволили особенныя ихъ условія, на смѣну имъ приходятъ новые люди, новыя эпохи, возникаютъ все новыя и новыя отношенія,—источникъ непредвидѣннаго и непредвкушеннаго восторга.

Эпоха, непосредственно слѣдующая за вѣкомъ Данте, Петрарки и Боккаччіо, была отмѣчена оживленіемъ живописи, ваянія и строительнаго искусства. Чосеръ воспринялъ священное вдохновеніе, и англійская литература создалась на основахъ итальянскаго изобрѣтенія.

Но не будемъ углубляться въ критическую исторію поэзіи и ея вліянія на общество. Ограничимся ея защитой. Отмѣтимъ только вліяніе, оказанное поэтами, въ широкомъ и истинномъ смыслѣ этого слова, на ихъ собственное время и на послѣдующіе вѣка.

Однако, относительно поэтовъ примѣняютъ другой пріемъ и говорятъ, что они должны отказаться отъ вѣнка въ пользу дѣятелей чистаго разсудка и механическихъ усовершенствованій. Утверждаютъ, что упражненіе воображенія наиболѣе пріятно, но говорятъ, что упражненіе разсудка болѣе полезно. Разсмотримъ основы такого различенія. Что разумѣютъ, употребляя выраженіе «полезный»? Удовольствіе или благо, въ общемъ смыслѣ, есть то, чего ищетъ

сознательность чувствующаго и разумнаго существа, и на чемъ, найдя его, она успокоивается. Есть два рода удовольствія: одно продолжительное, всезахватывающее и неизмѣнное, другое преходящее и частичное. Подъ полезностью можно разумѣть средства созидать первое или второе. Въ первомъ смыслѣ все, что усиливаетъ и укрѣпляетъ ощущенія, расширяетъ воображеніе и одухотворяетъ чувства, полезно. Но можно дать слову «полезный» болѣе узкое значеніе, примѣняя его только къ тому, что устраняетъ неудобство потребностей нашей животной природы, обезпечиваетъ человѣку безопасность жизни, уничтожаетъ наиболѣе грубые обманы суевѣрія и установляетъ между людьми такую степень взаимной терпимости, какая только можетъ существовать совмѣстно съ побужденіями личной выгоды.

Несомнѣнно, что дѣятели пользы, въ такомъ ограниченномъ смыслѣ, имѣютъ свою опредѣленную роль въ обществѣ. Они идутъ по слѣдамъ поэтовъ и переносятъ въ книгу повседневной жизни наброски ихъ созданій. Они создаютъ время и пространство. Ихъ заслуги въ высшей степени цѣнны, пока эти дѣятели ограничиваются пользованіемъ низшихъ силъ нашей природы въ надлежащихъ предѣлахъ, не посягая на границы дѣйствія силъ высшихъ. Но, если скептикъ разрушаетъ грубое суевѣріе, пусть онъ не поступаетъ, какъ нѣкоторые Французскіе писатели, и воздержится отъ искаженія вѣчныхъ истинъ, запечатлѣвшихся въ воображеніи людей. Пусть механикъ сокращаетъ трудъ и политико-экономъ придаетъ ему тѣ или другія сочетанія, но пусть они остерегутся, чтобы ихъ разсчеты, въ силу недостатка соотвѣтствія съ первичными основами, принадлежащими воображенію, имѣли стремленіе доводить до крайностей роскошь и нужду, какъ мы это видимъ въ современной Англіи. Они дали живое поясненіе къ изреченію: «Тому, кто имѣетъ, прибавится, и у того, кто не имѣетъ отнимется то немногое, что у него есть». Богатый сдѣлался еще болѣе богатымъ, бѣдный—еще болѣе бѣднымъ, и корабль государства содрогается между Сциллой и Харибдой анархіи и деспотизма. Таковы результаты, которые всегда будутъ получаться—благодаря ничѣмъ не ограниченному дѣйствію способности разсчета.

Трудно опредѣлить удовольствіе въ его высшемъ смыслѣ; такое опредѣленіе влечетъ за собою цѣлый рядъ кажущихся парадоксовъ. На самомъ дѣлѣ, благодаря необъяснимому недостатку стройной

соразмѣрности въ человѣческой природѣ, страданіе низшихъ частей нашего существа нерѣдко связано съ наслажденіемъ частей высшаго порядка.

Скорбь, страхъ, тоска, даже отчаяніе очень часто являются изысканными выраженіями того чувства, которое мы испытываемъ, приближаясь къ высшему благу. Наше сочувствіе въ области трагическихъ вымысловъ основывается именно на этомъ,—трагедія очаровываетъ насъ, давая намъ тѣнь того удовольствія, которое существуетъ въ страданіи. Здѣсь также кроется источникъ той печали, которая неразрывно связана съ самой нѣжной мелодіей. Удовольствіе, заключающееся въ скорби, нѣжнѣе, чѣмъ удовольствіе самаго удовольствія. Потому-то и было сказано: «Лучше идти въ домъ плача, нежели въ домъ веселья».

Я не хочу, однако, этимъ сказать, что данный высшій родъ удовольствія необходимо связанъ съ ощущеніемъ страданія. Восторгъ любви и дружбы, страстное восхищеніе природой, радость пониманія поэзіи, а тѣмъ болѣе наслажденіе, связанное съ поэтическимъ творчествомъ, нерѣдко могутъ существовать безъ всякой примѣси.

Созданать удовольствія такого высшаго порядка—занятіе истинно-полезное. Тѣ, которые создаютъ или сохраняютъ такія удовольствія, представляютъ изъ себя поэтовъ-философовъ.

Усилія Локка, Юма, Гиббона, Вольтера, Руссо *) и ихъ учениковъ, на пользу человѣчества, имѣютъ полное право на благодарность людей. Однако, намъ легко вычислить степень умственнаго и нравственнаго усовершенствованія, котораго достигъ бы міръ, если бы они не жили никогда. Въ теченіи ста или двухсотъ лѣтъ говорили бы немного болѣе безсмыслицъ и, быть можетъ, сожгли бы еще нѣсколько мужчинъ, женщинъ и дѣтей, какъ еретиковъ. Мы не могли бы въ данный мигъ поздравить другъ друга съ уничтоженіемъ Испанской Инквизиціи. Но никакое воображеніе не въ силахъ представить, каково было бы нравственное состояніе міра, если бы ни Данте, ни Петрарка, ни Боккаччіо, ни Чосеръ, ни Шекспиръ, ни Кальдеронъ, ни Бэконъ, ни Мильтонъ

*) Хотя Руссо былъ отнесенъ въ разрядъ вышеупомянутыхъ дѣятелей, онъ былъ поэтомъ въ самомъ существенномъ смыслѣ. Другіе, даже Вольтеръ, были просто дѣятелями разсудка. *Шелли.*

не существовали никогда: если бы ни Рафаэль, ни Микель Анджело не были рождены на землѣ; если бы Еврейская поэзія никогда не была переведена: если бы изученіе Греческой литературы никогда не возродилось: если бы ни одинъ изъ памятниковъ античнаго ваянія не попалъ въ наши руки, и если бы поэзія религіи древняго міра погасла вмѣстѣ съ его вѣрой. Безъ вмѣшательства такихъ возбудителей человѣческій умъ никогда бы не могъ пробудиться для изобрѣтенія другихъ, болѣе грубыхъ знаній и для примѣненія способности аналитическаго размышленія къ заблужденіямъ общества,—размышленія, которое теперь пытаются превознести до небесъ въ ущербъ непосредственному проявленію изобрѣтательной и творческой способности, взятой въ ея сущности.

Мы владѣемъ бо́льшимъ количествомъ нравственной, политической и исторической мудрости, чѣмъ сколько мы можемъ перенести въ нашу дѣйствительность; у насъ больше научнаго и хозяйственнаго знанія, чѣмъ сколько мы можемъ примѣнить къ справедливому распредѣленію умножаемыхъ ими цѣнностей. Въ этихъ порядкахъ мысли поэзія затѣнена нагроможденіемъ фактовъ и процессами разсчета. У насъ нѣтъ недостатка въ знаніи относительно того, что является наиболѣе мудрымъ и наиболѣе прекраснымъ въ нравственности, въ управленіи и въ народномъ хозяйствѣ, или, по крайней мѣрѣ, нѣтъ недостатка въ знаніи того, что лучше, что болѣе мудро и болѣе прекрасно, чѣмъ состоянія, осуществляемыя и претерпѣваемыя людьми теперь. Но мы не смѣемъ того, чего мы хотѣли бы, какъ бѣдный котъ въ поговоркѣ. Намъ недостаетъ творческой способности вообразить то, что мы знаемъ, недостаетъ великодушнаго побужденія перевести въ дѣйствіе то, что живетъ въ нашемъ воображеніи: намъ недостаетъ поэзіи жизни: наши разсчеты обогнали нашу мысль; мы съѣли больше, чѣмъ можемъ переварить. Разрабатываніе знаній, расширившихъ границы владычества человѣка надъ внѣшнимъ міромъ, соотвѣтственно сузило границы внутренняго міра, благодаря недостатку поэтической способности: и человѣкъ, поработивъ стихіи, самъ продолжаетъ оставаться рабомъ. Чему другому, какъ не разрабатыванію механическихъ усовершенствованій въ степени, несоотвѣтственной наличности творческой способности, являющейся основою всякаго знанія, слѣдуетъ приписать злоупотребленіе разнородными изобрѣтеніями, имѣющими въ виду все бо́льшее сокращеніе труда и све-

деніе его къ такимъ сочетаніямъ, которыя все въ большей и большей степени увеличиваютъ неравенство людей? Какая другая причина обусловила то явленіе, что открытія, которыя должны были бы облегчать жизнь, вмѣсто этого усилили бремя проклятія, тяготѣющаго надъ Адамомъ? Поэзія и разсчетъ Своекорыстія, чьимъ видимымъ воплощеніемъ являются деньги, представляютъ изъ себя Бога и Маммона этого міра.

Проявленія поэтической способности—двоякаго рода: съ одной стороны, она создаетъ новые элементы знанія, власти и удовольствія: съ другой—она порождаетъ въ умѣ желаніе воспроизводить эти элементы и сочетать ихъ согласно съ извѣстной размѣрностью или порядкомъ, который можетъ быть названъ красотой и благомъ. Разрабатываніе поэзіи наиболѣе желательно именно въ тѣ періоды, когда, благодаря злоупотребленіямъ начала своекорыстныхъ интересовъ и разсчета, накопленіе составныхъ частей внѣшней жизни превышаетъ наличную способность примѣнить ихъ къ вѣчнымъ законамъ человѣческой природы. Тѣло дѣлается тогда непослушнымъ по отношенію къ тому, что его оживляетъ.

Поэзія дѣйствительно представляетъ изъ себя нѣчто божественное. Она одновременно является и центромъ знанія, и его окружностью; она представляетъ изъ себя то, что обнимаетъ всѣ познанія, и то, къ чему всѣ познанія должны быть сведены. Въ одно и то же время она является и корнемъ, и цвѣткомъ всѣхъ другихъ порядковъ мысли; изъ нея все проистекаетъ, и ею все украшено: если она поражена проклятіемъ, тогда нѣтъ ни плодовъ, ни сѣмянъ, обнаженный міръ лишенъ жизненныхъ соковъ, и древо жизни не видитъ молодыхъ побѣговъ. Она—начало и конецъ всего, въ самомъ полномъ и совершенномъ смыслѣ: она—то же самое, что запахъ и цвѣтъ розы по отношенію къ сочетанію составныхъ ея частей,—то же самое, что форма и блескъ неувядаемой красоты по отношенію къ тайнамъ скелета и разложенія. Что́ было бы съ добродѣтелью, съ любовью, съ патріотизмомъ, съ дружбой,—что́ было бы со всей панорамой этого прекраснаго міра, гдѣ мы живемъ: что́ было бы съ нашими утѣшеніями по эту сторону могилы и съ нашими чаяніями по ту, если бы поэзія не поднималась въ высь, чтобы принести свѣтъ и огонь изъ тѣхъ безсмертныхъ областей, куда способность разсчета никогда не смѣетъ подняться на своихъ совиныхъ крыльяхъ? Поэзія не походитъ на размышленіе, она не

представляетъ изъ себя силы, которой можно пользоваться произвольно. Человѣкъ не можетъ сказать: «Я хочу написать созданіе поэзіи». Даже величайшій поэтъ не можетъ этого сказать, потому что умъ въ состояніи творчества является какъ бы потухающимъ угленъ, который дѣйствіемъ невидимаго вліянія, подобнаго измѣнчивому вѣтру, пробуждается для преходящаго блеска: эта сила возникаетъ изъ нѣдръ души, подобно краскамъ цвѣтка, который блекнетъ и мѣняется въ соотвѣтствіи съ развитіемъ, и сознательныя части нашей природы не могутъ предсказать ни приближенія этой силы, ни ея удаленія. Если бы такое вліяніе было продолжительнымъ въ его первичной чистотѣ и напряженности, невозможно было бы опредѣлить громадность результатовъ: но, когда творчество начинается, вдохновеніе находится уже на ущербѣ, и самыя блестящія поэтическія созданія, которыя когда-либо были повѣданы міру, представляютъ изъ себя, вѣроятно, лишь слабую тѣнь первичныхъ замысловъ поэта. Я обращаюсь къ величайшимъ поэтамъ нашихъ дней и спрашиваю ихъ: развѣ это не ошибка—утверждать, что наиболѣе изысканные поэтическіе отрывки созданы трудомъ и изученіемъ? Работа и отсрочки, рекомендуемыя критиками, если истолковывать ихъ справедливо, не могутъ обозначать ничего иного, кромѣ тщательнаго соблюденія моментовъ вдохновенія и искусственнаго соединенія—раздѣляющихъ эти моменты—промежутковъ съ помощью цѣлой сѣти условныхъ выраженій,—необходимость, обусловливаемая единственно ограниченностью самой поэтической способности: потому что Мильтонъ задумалъ Потерянный Рай какъ цѣлое, прежде чѣмъ онъ привелъ его въ исполненіе по частямъ. Мы можемъ сослаться на его собственныя слова: онъ самъ говоритъ, что муза «диктовала» ему «непредумышленную пѣснь». И пусть его слова будутъ отвѣтомъ для тѣхъ, кто дѣлаетъ ссылку на пятьдесятъ шесть разночтеній первой строки Неистоваго Роланда. Произведенія, созданныя такимъ образомъ, то же самое по отношенію къ поэзіи, что мозаика по отношенію къ живописи. Инстинктъ и интуиція поэтической способности еще болѣе сказываются въ пластикѣ и въ живописи; геніальная статуя или картина ростетъ въ умѣ художника, какъ ребенокъ во чревѣ матери: и тотъ самый умъ, который направляетъ творческую руку, неспособенъ объяснить себѣ происхожденія постепенныхъ ступеней или средствъ творческаго процесса.

Поэзія представляетъ изъ себя лѣтопись лучшихъ и счастливѣйшихъ мгновеній счастливѣйшихъ и лучшихъ умовъ. Мы знаемъ о бѣглыхъ проблескахъ мысли и чувства, иногда связанныхъ съ извѣстнымъ мѣстомъ и извѣстными личностями, иногда касающихся лишь нашего ума,— проблескахъ, возникающихъ всегда непредвидѣнно и удаляющихся самопроизвольно, но возвышающихъ душу и несказанно восхитительныхъ: такъ что даже въ желаніи и въ сожалѣніи, которыя они оставляютъ за собой, нѣтъ ничего, кромѣ наслажденія, участвующаго въ природѣ того, съ чѣмъ оно связано. Какъ будто бы какая-то болѣе божественная природа проникла и прошла сквозь нашу, но ея шаги—какъ шаги вѣтра надъ моремъ, которые спокойствіе утра изглаживаетъ, и слѣды которыхъ остаются только на прибрежномъ морщинистомъ пескѣ. Такія и соотвѣтствующія состоянія души могутъ испытывать, главнымъ образомъ, натуры, одаренныя наиболѣе тонкой воспріимчивостью и наиболѣе живымъ воображеніемъ: и состоянія ума, ими создаваемыя, враждебны всякому низкому желанію. Возвышенность и яркость добродѣтели, любви, патріотизма и дружбы существеннымъ образомъ связаны съ такими ощущеніями, и, пока длятся, единичная личность является тѣмъ, что она и есть на самомъ дѣлѣ, — атомомъ вселенной. Поэты не только подчинены такимъ состояніямъ души, какъ натуры наиболѣе утонченныя, но они могутъ окрашивать все, что только они сочетаютъ, ускользающими красками этого эѳирнаго міра: одно слово, одна черта, въ изображеніи сцены или страсти, коснутся зачарованной струны и возродятъ въ тѣхъ, кто испытываетъ подобныя ощущенія, дремлющій холодный схороненный образъ прошлаго. Поэзія, такимъ образомъ, дѣлаетъ безсмертнымъ все, что есть въ мірѣ лучшаго и наиболѣе прекраснаго; она задерживаетъ тѣ убѣгающія видѣнія, что на мигъ возникаютъ въ междулунностяхъ этой жизни, и, окутывая эти видѣнія покровами, облекая ихъ въ слова или въ очертанья, посылаетъ ихъ людямъ, какъ ласковыхъ вѣстниковъ дружеской радости для тѣхъ, съ кѣмъ живутъ ихъ сестры, живутъ, не покидая жилища, ибо въ лабиринтѣ духа, гдѣ онѣ находятся, нѣтъ выхода. Поэзія спасаетъ отъ гибели проблески божественности въ человѣкѣ.

Поэзія все превращаетъ въ очарованіе; она усиливаетъ красоту того, что наиболѣе прекрасно, и придаетъ красоту тому, что наиболѣе искажено: она сочетаетъ воедино восхищеніе и ужасъ, не-

чаль и удовольствіе, вѣчность и перемѣнчивость: подъ однимъ и тѣмъ же легкимъ ярмомъ она соединяетъ вещи непримиримыя. Поэзія преображаетъ все, къ чему ни прикоснется, и каждый призракъ, движущійся въ свѣтлой сферѣ ея присутствія, измѣняется, повинуясь чудесному влеченію къ воплощенію духа, которымъ она дышетъ: ея таинственная алхимія превращаетъ въ золотистое питье тѣ ядовитыя воды, что текутъ отъ смерти сквозь жизнь: она срываетъ съ міра знакомый примелькавшійся покровъ, и мы видимъ обнаженную сіяющую красоту, одухотворяющую его формы.

Всѣ вещи существуютъ такъ, какъ онѣ воспринимаются, по крайней мѣрѣ по отношенію къ воспринимающему сознанію.

> The mind is its own place, and in itself
> Can make a heaven of hell, a hell of heaven *).
>
> (Paradise Lost, Book I, l. 254—5).

Но поэзія уничтожаетъ проклятіе, присуждающее насъ къ подчиненію случайностямъ окружающихъ насъ впечатлѣній; и распространяетъ ли она свой собственный узорный покровъ, совлекаетъ ли темный покровъ жизни съ панорамы, рисующейся нашимъ взорамъ,— она одинаково создаетъ для насъ новое бытіе въ нашемъ бытіи. Она дѣлаетъ насъ обитателями міра, гдѣ нашъ знакомый міръ представляется намъ хаосомъ. Она воспроизводитъ ту вселенную, которую мы воспринимаемъ, и въ которой мы являемся отдѣльными ея частями, и совлекаетъ съ нашего внутренняго зрѣнія пелену привычной повседневности, затемняющей для насъ удивительность нашего существованія. Она принуждаетъ насъ чувствовать то, что мы воспринимаемъ, и рисовать въ воображеніи то, что мы знаемъ: она создаетъ заново этотъ безконечный міръ, послѣ того какъ онъ былъ уничтоженъ въ нашихъ умахъ безпрерывнымъ возвращеніемъ впечатлѣній, стертыхъ повторностью. Она оправдываетъ смѣлыя и справедливыя слова Тассо: „Non merita nome di creatore, se non Iddio ed il Poeta“ **).

Создавая для другихъ благороднѣйшія богатства мудрости, удовольствія, добродѣтели и славы, поэтъ и лично долженъ быть счастливѣйшимъ, лучшимъ, мудрѣйшимъ и наиболѣе славнымъ среди людей. Что касается его славы, пусть время рѣшитъ, сравнится ли

*) Умъ — весь въ себѣ: въ самомъ себѣ онъ можетъ
Изъ ада сдѣлать рай и адъ изъ рая.
(Потерянный Рай, книга 1-я, I. 254—5).

**) Только Богъ и Поэтъ достойны имени творца.

со славой поэта слава какого-нибудь другого устроителя человѣческой жизни. Что онъ мудрѣйшій, счастливѣйшій и лучшій, насколько онъ поэтъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія: величайшіе поэты были людьми самой незапятнанной добродѣтели, самой совершенной мудрости и, если мы можемъ заглянуть въ тайники ихъ жизни, самыми счастливыми изъ людей: исключенія, касающіяся тѣхъ, кто обладалъ поэтической способностью въ меньшей степени, хотя и въ достаточно высокой, скорѣй подкрѣпляютъ правило, нежели разрушаютъ его. Снизойдемъ на минуту до общераспространеннаго сужденія и, соединивъ въ себѣ непримиримыя обязанности обвинителя, свидѣтеля, судьи и исполнителя приговора, допустимъ, безъ суда, свидѣтельствъ и надлежащей формы, что извѣстныя побужденія тѣхъ, кто „сидитъ тамъ, куда мы не дерзаемъ воспарить", предосудительны. Допустимъ, что Гомеръ былъ пьяницей, Виргилій льстецомъ, Горацій трусомъ, Тассо сумасшедшимъ, Бэконъ взяточникомъ, Рафаэль безпутнымъ, Спенсеръ поэтомъ-лауреатомъ. Планъ нашего разсужденія не позволяетъ ссылаться на живущихъ поэтовъ: но потомство отдало полную справедливость великимъ именамъ, только-что упомянутымъ. Ихъ заблужденія были взвѣшены и оказались легкими, какъ пыль; если ихъ грѣхи „были, какъ пурпуръ, они стали теперь бѣлыми, какъ снѣгъ": они были омыты въ крови посредника и искупителя — Времени. Посмотрите, какой забавный хаосъ представляютъ изъ себя обвиненія въ дѣйствительныхъ или вымышленныхъ преступленіяхъ клеветы современниковъ на поэзію и поэтовъ: замѣтьте, какъ немногое является тѣмъ, чѣмъ оно представляется, какъ немногое представляется тѣмъ, что оно есть на самомъ дѣлѣ, оцѣните ваши собственныя побужденія и не судите, если не хотите, чтобы васъ судили.

Какъ было сказано, поэзія отличается отъ логическаго мышленія въ томъ смыслѣ, что она не подчиняется волевому надзору дѣйственныхъ силъ ума, и что зарожденіе и повтореніе поэтическаго творчества не имѣетъ необходимой связи съ сознательностью или съ волей. Мы взяли бы на себя слишкомъ много, если бы стали утверждать, что эти способности являются необходимыми условіями всякой причинной связи въ области мышленія, когда опытъ доказываетъ, что извѣстныя проявленія мышленія не могутъ быть съ ними связаны. Частое упражненіе поэтической силы, какъ мы, очевидно, имѣемъ полное право предположить, можетъ создавать въ

умѣ извѣстный порядокъ или размѣрную стройность, находящуюся въ точномъ соотношеніи съ ея собственной природой и съ ея вліяніемъ на другіе умы. Но въ промежуткѣ между моментами вдохновенія,—а они могутъ быть частыми, не будучи продолжительными,—поэтъ дѣлается простымъ человѣкомъ, и его захватываетъ внезапный приливъ тѣхъ вліяній, которыя являются обычными для всѣхъ другихъ. Однако, въ силу того, что все его существо болѣе утонченно, чѣмъ существо другихъ людей, въ силу того, что онъ воспріимчивъ къ страданіямъ и удовольствіямъ—какъ своимъ собственнымъ, такъ и чужимъ, въ степени для другихъ неизвѣстной,—онъ будетъ избѣгать страданій и гнаться за удовольствіями съ пыломъ, соотвѣтствующимъ этому различію. И онъ самъ будетъ вызывать цѣлый рядъ клеветъ, пренебрегая соблюденіемъ внѣшнихъ условій, считающихся въ данномъ случаѣ обязательными.

Но въ такомъ заблужденіи нѣтъ ничего неизбѣжно-дурного, и, такимъ образомъ, въ числѣ тѣхъ ошибокъ, которыя общераспространенное мнѣніе вмѣняетъ поэтамъ въ преступленіе, мы не видимъ жестокости, зависти, мести, алчности и страстей, дурныхъ въ своей сущности.

Я счелъ за лучшее заносить эти отрывочныя мысли согласно съ тѣмъ порядкомъ, какъ онѣ возникали въ моемъ умѣ. Я разсматривалъ данный предметъ, беря его въ его сущности, вмѣсто того, чтобы соблюдать формальность полемическаго отвѣта; но, если взгляды, изложенные въ данномъ очеркѣ, справедливы, они заключаютъ въ себѣ опроверженіе нападокъ на поэзію. Я легко могу представить себѣ, что вызываетъ желчь у нѣкоторыхъ ученыхъ и исполненныхъ ума писателей, вступающихъ въ распри съ извѣстными стихослагателями; подобно имъ, я самъ очень охотно избѣгаю возможности быть оглушеннымъ хриплыми возгласами современныхъ пѣвцовъ. Бавій и Мевій всегда представляютъ изъ себя людей несносныхъ. Но критикъ-философъ скорѣе долженъ различать, нежели смѣшивать.

Первая часть этихъ замѣтокъ относилась къ поэзіи, взятой въ ея составныхъ частяхъ и основныхъ началахъ; и, насколько позволяли тѣсныя рамки изложенія, я показалъ, что то, что называется поэзіей въ тѣсномъ смыслѣ слова, имѣетъ общій источникъ со всѣми другими формами порядка и красоты, сообразно съ которыми можно располагать элементы человѣческой жизни, и которыя являются поэзіей въ широкомъ всезахватывающемъ смыслѣ.

Вторая часть очерка будетъ представлять изъ себя примѣненіе изложенныхъ мыслей къ современному состоянію поэтическаго творчества; она явится защитой попытокъ нарисовать въ идеальномъ воплощеніи современныя формы нравовъ и мнѣній и подчинить ихъ силѣ воображенія и творческаго воспроизведенія. Ибо англійская литература, энергическое развитіе которой всегда предшествовало великому и свободному развитію національной жизни, или сопровождало его, возникла за послѣднее время въ такихъ формахъ, какъ будто она родилась вновь. Несмотря на низкую зависть, желающую непремѣнно уменьшить современныя заслуги, наша собственная воля составитъ достопамятную эпоху въ исторіи умственныхъ заслугъ: и мы живемъ среди философовъ и поэтовъ, безъ сравненія превосходящихъ каждаго, кто только появлялся со временъ послѣдней національной борьбы за гражданскую и религіозную свободу. Поэзія является самымъ вѣрнымъ вѣстникомъ, спутникомъ и ревнителемъ пробужденнаго великаго народа, жаждущаго работать на пользу благодатныхъ перемѣнъ въ области мнѣній или учрежденій. Въ такіе періоды накопляется способность сообщать и воспринимать напряженныя и страстныя представленія относительно человѣка и природы. Тѣ, въ комъ пребываетъ эта сила, нерѣдко могутъ во многихъ чертахъ своей природы имѣть очень малое видимое соотвѣтствіе съ духомъ добра, служителями котораго они являются. Но даже тогда, когда они отрицаютъ и отрекаются, они неизбѣжно служатъ власти, царящей въ ихъ собственной душѣ. Читая произведенія наиболѣе славныхъ писателей такихъ дней, невозможно не содрогаться отъ соприкосновенія съ электрической жизнью, горящей въ ихъ словахъ. Всепроникающимъ захватывающимъ духомъ они измѣряютъ границы и глубины человѣческой природы и, быть можетъ, сами искреннѣйшимъ образомъ удивлены проявленіямъ этого духа, ибо это не столько ихъ собственный духъ, сколько духъ эпохи. Поэты представляютъ изъ себя жрецовъ непредвкушеннаго вдохновенія; это—стекла зеркалъ, отражающихъ гигантскія тѣни, которыя грядущее, приближаясь, бросаетъ на настоящее; слова, выражающія то, что они сами не въ состояніи оцѣнить; боевыя трубы, своимъ пѣніемъ возглашающія битву и не знающія, какъ много онѣ внушаютъ: вліяніе, не создаваемое, но создающее. Поэты представляютъ изъ себя непризнанныхъ законодателей міра.

# ПРИМѢЧАНІЯ
# К. Д. БАЛЬМОНТА.

Поэмы и драматическіе отрывки, вошедшіе въ 3-й томъ русскаго изданія сочиненій Шелли, не всѣ равны по своимъ поэтическимъ достоинствамъ, но тѣмъ не менѣе каждое изъ этихъ произведеній въ той или иной мѣрѣ дополняетъ поэтическій обликъ Шелли, а такія поэмы, какъ *Волшебница Атласа*, *Эпипсихидіонъ* и *Адонаисъ*, относятся къ числу наилучшихъ его созданій. Дѣлаю нѣсколько необходимыхъ пояснительныхъ замѣчаній.

*Маскарадъ Анархіи.*

Находясь въ Италіи, съ ея чарами романскаго Юга, Шелли чутко прислушивался ко всему, что происходило въ то время въ Англіи, и политическія броженія нашли въ немъ отзывчиваго пѣвца. 16-го августа 1819-го года одинъ изъ митинговъ въ Манчестерѣ былъ разсѣянъ солдатами, произошла схватка, и съ той и съ другой стороны были убитые и раненые. Шелли болѣе чѣмъ кто-нибудь чувствовалъ низость и нравственную чудовищность такихъ грубыхъ представителей правительственнаго произвола, какъ Кэстльри или Лордъ Эльдонъ, черная тѣнь отъ которыхъ легла удушающе и на его частную жизнь, но, будучи убѣжденнымъ противникомъ насилія въ какой бы то ни было формѣ, онъ боялся, что негодующая честная часть англійскаго общества и англійскаго народа осквернитъ себя кровью. „Тираны здѣсь, такъ же какъ во время Французской Революціи, первые пролили кровь. Да не будутъ ихъ гнусные уроки выучены съ подобной же легкостью“, писалъ онъ своему другу, Пикоку. Шелли вѣрилъ во всепобѣждающую силу Слова. Быть можетъ, онъ слишкомъ вѣрилъ во власть Слова надъ насильниками. Въ связи съ этой поэмой см. лирическія стихотворенія 1819-го года.

*Письмо къ Маріи Джисборнъ.*

Эта прелестная поэма является удачнымъ образцомъ поэтическаго юмора, къ которому, вообще говоря, Шелли имѣлъ болѣе склонности, чѣмъ спо-

собности. Во всякомъ случаѣ ее нельзя сравнивать ни съ *Питеромъ Белломъ Третьимъ*, ни съ *Тирономъ-Толстоногомъ*. Марія Джисборнъ была исключительно-интересной и образованной женщиной, ея общество плѣняло Шелли, и, между прочимъ, она заставила его изучить испанскій языкъ и познакомиться съ лучшими произведеніями Кальдерона, который произвелъ на него глубокое впечатлѣніе. Сынъ ея, Генри Ревели, былъ инженеромъ и въ нѣкоторой степени посвятилъ Шелли въ тайны своего строительнаго искусства. Вмѣстѣ съ нимъ Шелли лелѣялъ планъ построенія нѣкоей „волшебной лодки". Какъ извѣстно, къ самому понятію о лодкѣ Шелли, отъ дѣтскихъ лѣтъ и до послѣднихъ дней своей жизни, чувствовалъ совершенно исключительное влеченіе. Лей Гёнтъ, Пикокъ, Хоггъ, Хорэсъ Смитъ—друзья Шелли; ихъ имена уже упоминались. Имя Пикока (по-англійски—павлинъ) упоминается въ письмѣ въ связи съ его женитьбой и поступленіемъ на Индійскую службу. Хоггу мы обязаны лучшимъ описаніемъ студенческихъ дней Шелли. „Поллонья", упоминаемая на стр. 30, является сокращеніемъ имени Аполлонія Риччи. Здѣсь намекъ на частную жизнь главныхъ героевъ этой поэмы, о чемъ было бы слишкомъ долго распространяться. Тубалъ, иначе Тувалкаинъ (стр. 22), былъ, какъ извѣстно, „ковачемъ всѣхъ орудій изъ мѣди и желѣза" (*Первая книга Моисеева*, гл. 4: 22). Инструменты, найденные рыбаками Корнваллійскихъ береговъ (стр. та же), суть орудія пытокъ, посланныя испанцами на знаменитой Армадѣ и не достигшія своего назначенія, благодаря кораблекрушенію. Относительно Гимера (стр. 32), Шелли самъ дѣлаетъ примѣчаніе: „Ἵμερος, откуда наименованіе рѣки Гимеры, есть, съ маленькимъ оттѣнкомъ отличія, синонимъ Любви" (Эросъ).

*Волшебница Атласа.*

Эта красочная и фантастичная поэма была любимицей Шелли. Онъ задумалъ ее, когда одиноко всходилъ на Монте Санъ Пеллегрино, и написалъ ее въ три дня. Волшебница-Фея, живущая для Красоты, шутливо играющая съ молніями и громами, и научающая хищныхъ звѣрей быть кроткими и воздерживаться отъ убійства, справедливо можетъ считаться нѣжнымъ символомъ поэтической души самого Шелли, соединившаго въ себѣ мудреца съ ребенкомъ. Прекраснъ обликъ Андрогина, которымъ фантазія Шелли, по существу, была заинтересована не менѣе, чѣмъ творческое воображеніе Леонардо да Винчи.—*Питеръ Белль* (стр. 36) — названіе очень скучной поэмы Вордсворта, вызвавшей въ Англіи пародіи и насмѣшку не

одного только Шелли. Волшебная поэма Шелли, воздушная и легкая, какъ движеніе весенней бабочки, представляетъ прямую ей противоположность.

*Эпипсихидіонъ.*

Поэма *Эпипсихидіонъ*, эта „жертва на алтарь Любви", можетъ считаться не только однимъ изъ лучшихъ произведеній Шелли, но и одной изъ немногихъ истинно-краевыхъ и безсмертныхъ поэмъ любви, созданныхъ міровой литературой. Ея мѣсто среди такихъ созданій, какъ Индійскіе любовные гимны, *Пѣснь пѣсней*, *Пиръ* Платона, *Vita Nuova* Данте и зачарованныя баллады и сказки Эдгара По. Внѣшнимъ толчкомъ къ этой поэмѣ послужило увлеченіе Шелли молодой красавицей, графиней Эмиліей Вивіани, понимавшей утонченность чувства и знавшей изысканный языкъ любви. Какъ говоритъ Тодгёнтеръ, (Study of Shelley, 235), „эта поэма является романомъ внѣ времени и пространства—пѣснью стихійнаго духа, заключеннаго, какъ въ тюрьмѣ, въ этой хрупкой вселенной и извѣстнаго среди людей подъ именемъ Шелли,—духа, котораго всякая смертная любовь должна была оставить неудовлетвореннымъ". Нѣкоторыя мѣста поэмы непонятны безъ разъясненія. Подъ „сиротой, чье царство—только въ имени условномъ" (въ имени жены) разумѣется Мэри Шелли (стр. 65); она же, равно, подразумѣвается подъ „холодной луной" (стр. 76). „Одна, вся полная отравы" (стр. 74) есть символъ чувственной любви, въ которой не участвуетъ душа. „Чудно-дикая комета" (стр. 79)—символъ страсти, которая, какъ весеннія грозы, можетъ быть и губительной, и творческой. Марина, Ванна и Примъ, упоминаемые въ концѣ поэмы, по всей вѣроятности, означаютъ Мэри Шелли, Джэнъ Уильэмсъ, и Эдуарда Уильэмса (см. любовную лирику Шелли послѣдняго періода).

*Адонаисъ.*

Даудэнъ мѣтко опредѣляетъ эту поэму, называя ее *памятникомъ въ стихахъ*. Она дѣйствительно имѣетъ всѣ достоинства стройнаго изваянія. Ея безукоризненная скульптурность, и звучный ея размѣръ, спенсеровская станса, какъ нельзя болѣе подходятъ къ сюжету поэмы, посвященной памяти пѣвца, творчество котораго отличается именно скульптурностью и гармоніей музыкальности. Джонъ Китсъ—одинъ изъ самыхъ утонченныхъ англійскихъ поэтовъ. Пантеистическій характеръ поэмы дѣлаетъ ее особенно цѣнной. Поясняю отдѣльныя мѣста. Подъ „Властителемъ слова" (строфа 4) разумѣется Мильтонъ. Въ строфѣ 23 подразумѣвается Бай-

ронъ, какъ авторъ сатиры *Шотландскіе критики и Англійскіе поэты*. Онъ же описанъ, какъ „Пилигримъ Вѣчности“, въ строфѣ 30. Пѣвецъ Эрина (строфа 30)—Томасъ Муръ. „Тѣнь межь людей“ (строфы 31 и слѣдующія)—самъ Шелли. „Нѣжнѣйшій межь умовъ“ (строфа 35)—Лей Гёнтъ. Въ строфѣ 50 подразумѣвается пирамидальная гробница Цестія. Описывая этотъ уголокъ Римскаго кладбища, Шелли говоритъ, что „можно было бы полюбить смерть при мысли, что будешь похороненъ въ такомъ очаровательномъ мѣстѣ“. Прахъ Шелли покоится именно тамъ.

*Эллада.*

Шелли всегда чувствовалъ большое тяготѣніе къ Греціи и считалъ ее своей духовной родиной. Эллинскаго въ творчествѣ Шелли, однако, гораздо меньше, чѣмъ индійскаго. Шелліевская манера мыслить и чувствовать сближаетъ его скорѣе съ Ведійскими гимнами, или съ такими поэтами, какъ Калидаса и Судрака, нежели съ Эсхиломъ или Софокломъ. Лучшими мѣстами драмы являются тѣ страницы, гдѣ предстаетъ Агасферъ. Шелли съ самыхъ раннихъ своихъ дней заинтересовался типомъ, съ которымъ его въ послѣдній періодъ жизни такъ сблизили собственныя внутреннія и внѣшнія скитанія. Въ юности Шелли написалъ, правда, очень слабую, поэму *Вѣчный Жидъ*. Агасферъ является также въ *Царицѣ Мабъ*. Драма *Эллада* любопытна, какъ поэтическій образецъ умѣнія Шелли сливать воедино временное съ вѣчнымъ, случайность политическихъ событій съ кристаллической неизмѣнностью неумирающихъ типовъ и настроеній.

*Отрывки неоконченной поэмы.*

Это прелестное тонкое созданіе творческаго генія лишній разъ сближаетъ Шелли съ нѣжными индійскими поэтами. Память невольно вызываетъ воздушные образы Васантасэны, Сакунталы и Урваси. Изъ современныхъ европейскихъ поэтовъ никто такъ не умѣлъ поэтизировать жизнь цвѣтовъ, какъ Шелли, золотистыми нитями, какъ лучами луны, связывавшій ихъ съ призрачно-легкими женскими фигурами, скользящими въ мірѣ нереальнаго. Вступительная замѣтка принадлежитъ Мэри Шелли. Пѣснь Духа указываетъ на вліяніе Мильтона. Описаніе цвѣтка заставляетъ вспомнить о другомъ прелестномъ произведеніи Шелли, *Цукка*. Образъ Пирата воспроизводитъ, до извѣстной степени точно, романтическій обликъ Трэлауни, съ которымъ Шелли былъ связанъ дружбой въ послѣдніе дни своей жизни, и который написалъ прекрасную книгу воспоминаній о Шелли и Байронѣ.

*Карлъ Первый.*

Тодгёнтеръ, говоря объ этомъ произведеніи, дѣлаетъ справедливое замѣчаніе: „Впечатлѣніе, оставляемое въ умѣ тѣмъ, что мы имѣемъ изъ этого неоконченнаго созданія, говоритъ намъ, что, утративъ Шелли, міръ утратилъ нѣчто, о чемъ мы не можемъ даже составить надлежащаго представленія“. Разрозненныя сцены написаны такъ ярко и умѣло, что невольно припоминаешь опредѣленныя въ своей силѣ страницы драматурговъ шекспировской эпохи. Впечатлѣніе отъ *Карла Перваго* тѣмъ сильнѣе, что эти отрывки написаны въ совершенно иной манерѣ, чѣмъ лучшія сцены геніальной драмы *Ченчи*, и такимъ образомъ оттѣняютъ многообразіе творческой фантазіи Шелли.

*Торжество Жизни.*

Послѣдняя неоконченная поэма Шелли также заставляетъ глубоко сожалѣть о его преждевременной смерти. Несмотря на крайнюю свою незаконченность и запутанность, это произведеніе является какъ бы исходной точкой новаго періода творчества, болѣе спокойнаго и сознательнаго, — періода, не осуществившагося лишь по волѣ морскихъ волнъ, въ которыхъ завершились послѣднія земныя мечты великаго Поэта. Ритмъ поэмы и отдѣльныя мѣста указываютъ на увлеченіе Шелли Петраркой и Данте. Мнѣ кажется глубоко-таинственнымъ, что послѣдняя поэма Шелли кончается вопросомъ: „Такъ что же такое жизнь?“ Самъ онъ, всей своею жизнью, далъ опредѣленный отвѣтъ: „Любовь“. Только въ любви — красота жизни и смыслъ ея.

*Проза.*

Если идея любви, какъ основного принципа Жизни, чувствуется во всѣхъ лучшихъ поэтическихъ созданіяхъ Шелли, она же проходитъ красной нитью и черезъ всѣ его прозаическія писанія. Здѣсь не менѣе ярко ощущается глубокая душа и крупный творческій талантъ. Повѣствовательные отрывки и такіе небольшіе этюды, какъ очеркъ *О любви*, непосредственно примыкаютъ къ юношескимъ поэмамъ Шелли, *Царица Мабъ* и *Аластеръ*, а также къ такимъ нѣжнымъ его созданіямъ, какъ *Розалинда и Елена* или *Царевичъ Атаназъ*. Статьи объ итальянцахъ и грекахъ — маленькіе обрывки того, что проходило въ его душѣ, при соприкосновеніи съ этими двумя расами, къ которымъ онъ чувствовалъ исключительное

влеченіе. Изъ статей самой цѣнной, несомнѣнно, является большой этюдъ, къ сожалѣнію, неоконченный, *Въ защиту поэзіи*. Статья была написана по поводу памфлета противъ поэзіи и поэтовъ, написаннаго въ 1820-мъ году другомъ Шелли, Пикокомъ. Общая мысль этюда можетъ служить руководящей для всѣхъ, кто хочетъ говорить о поэтахъ, а отдѣльныя блестящія мѣста, полныя очаровательнаго лаконизма, свидѣтельствуютъ о томъ, что Шелли не только въ стихахъ, но и въ прозѣ, умѣлъ давать истинные образцы философской лирики.

# ЭДУАРДЪ ДАУДЭНЪ.

# ОЧЕРКЪ ЖИЗНИ ШЕЛЛИ.

Хотя Шелли писалъ повѣствовательныя поэмы и написалъ большую трагедію,—въ основѣ своей, его геній былъ чисто-лирическій. И его поэзія больше говоритъ читателю, знакомому съ его личностью и событіями его жизни, чѣмъ тому, кто знаетъ только его поэмы такъ, какъ если бы онѣ ниспали съ неба, отъ какого-нибудь незримаго пѣвца. Ни одинъ поэтъ не воспѣвалъ такъ непосредственно свои чувства—свои радости, свои печали свои желанія, свою тоску. И то, что онъ написалъ, пріобрѣтаетъ болѣе глубокое значеніе, когда мы знаемъ источникъ творчества и сопровождавшія его обстоятельства. Притомъ же, поэзія Шелли принадлежитъ къ особенной эпохѣ въ исторіи міра—къ революціонной эпохѣ—и то, что можно назвать оплотомъ ученія, составляющимъ духовную основу его фантастическихъ грезъ, можно понять только если разсматривать его произведенія въ связи съ эпохой, порожденіемъ которой они являются. „Прекрасный и нереальный ангелъ, тщетно бьющійся своими лучезарными крыльями въ пустотѣ",—такъ выражаетъ свой взглядъ на Шелли Мэттью Арнольдъ, нѣсколько измѣняя слова Жубера о Платонѣ *). Красота этой фразы не должна заставлять насъ забывать объ ея удаленности отъ истины. Шелли не былъ ангеломъ небесной или дьявольской расы; онъ былъ глубоко человѣченъ въ своихъ страстяхъ, своихъ ошибкахъ, своихъ недостаткахъ и своихъ достоинствахъ. И не въ пустотѣ онъ жилъ и вращался; онъ принадлежалъ въ высокой степени къ революціонному движенію своихъ дней и, если разсматривать его отдѣльно отъ ученія этого геометра революціи, котораго онъ признавалъ своимъ учителемъ—Вильяма Годвина,—произведенія Шелли становятся понятны лишь наполовину.

Перси Биши Шелли родился 4-го августа 1792-го года, въ Фильдъ-Плэсъ,

*) „Платонъ теряется въ пустотѣ: не видно, какъ играютъ его крылья, слышенъ ихъ шорохъ",—слова, приводимыя Мэттью Арнольдомъ въ его статьѣ о Жуберѣ.

близъ Хоршама, въ Сассексѣ. Его семья была старинная и уважаемая; но ни одинъ изъ предковъ поэта не проявлялъ никогда признаковъ литературнаго генія. Его дѣдъ, Бишп Шелли, получившій баронетство въ 1806-омъ году, скопилъ большое состояніе, былъ женатъ на двухъ богатыхъ наслѣдницахъ, поссорился съ своими дѣтьми и жилъ въ то время довольно скряжнически, въ коттэджѣ, въ Хоршамѣ, тревожимый подагрой и недугами своего возраста. Тимоти Шелли, отецъ поэта, былъ деревенскій джентльмэнъ—тупой, напыщенный, раздражительный, но не злой въ душѣ. Въ Палатѣ Общинъ онъ неизмѣнно подавалъ голосъ за партію виговъ и былъ вполнѣ обезпеченъ отъ всякой возможности отклоненія отъ общественныхъ условностей, благодаря своей счастливой недоступности для идей. Его жена Элизабетъ, дочь Чарльза Пильфольда изъ Эффингэма, Сёррп, была красива, и умна, когда разумъ ея не бывалъ затемненъ вспыльчивостью. Къ литературѣ она была равнодушна, но хорошо писала письма.

Перси, старшій ребенокъ, унаслѣдовалъ отъ матери красоту. У него была тонкая фигура, нѣжное лицо съ легкимъ румянцемъ, лучистые голубые глаза, и вьющіеся отъ природы волосы, переходившіе изъ золотистаго въ роскошный каштановый цвѣтъ. Нравомъ онъ былъ кротокъ, хотя легко возбуждался, отличался рѣдкой чувствительностью, былъ склоненъ предаваться воображеніемъ какой-нибудь фантастической сказкѣ или видѣнію: онъ былъ не лишенъ, однако, извѣстной причудливой веселости и приходилъ въ восторгъ отъ странностей и необычайностей. Отъ сосѣдняго деревенскаго священника онъ пріобрѣлъ нѣкоторыя познанія въ латинскомъ языкѣ, а когда ему минуло десять лѣтъ, его отправили въ Айльворсъ, въ Sion House Academy, гдѣ д-ръ Гринлоу обучалъ пятьдесятъ-шестьдесятъ мальчиковъ, большею частью изъ средняго класса: тамъ учился, между прочимъ, двоюродный братъ Шелли, Томасъ Медвинъ. Грубая тиранніи старшихъ мальчиковъ, смотрѣвшихъ на новичка, какъ на чудака и нелюдима, потому что онъ былъ впечатлителенъ и робокъ, иногда доводила его до настоящихъ взрывовъ ярости. Но, по словамъ его школьнаго товарища Ренни, „когда съ нимъ обращались ласково, онъ былъ чрезвычайно привѣтливъ, благороденъ, великодушенъ, и щедръ" Здѣсь Шелли сдѣлалъ нѣкоторые успѣхи въ классическихъ знаніяхъ. Его чувство чудеснаго, въ умственной области, было сильно возбуждено научными чтеніями. А сердце его пробудилось къ новой изысканной радости,—онъ проникся романтической привязанностью къ мальчику-сверстнику, котораго онъ описываетъ, какъ существо отмѣнно-благородное, кроткое и прекрасное.

Въ 1804-мъ году онъ перешелъ изъ Sion House Academy въ Итонъ, гдѣ

завѣдующимъ лицомъ являлся въ то время д-ръ Гудолль, хорошій ученый и добрый человѣкъ, но, быть можетъ, слишкомъ слабо державшій бразды правленія. Наставникъ Шелли, у котораго онъ жилъ, Джорджъ Безселль, къ несчастію, былъ самый тупой человѣкъ въ Итонѣ: у него были все же нѣкоторыя достоинства: онъ былъ добродушенъ и доброжелателенъ. Въ Итонѣ, такъ же какъ и въ Сіонъ-Хаузѣ, Шелли стоялъ въ сторонѣ отъ толпы своихъ товарищей. Духъ его возмущался противъ системы подчиненности младшихъ учениковъ старшимъ; онъ не принималъ участія въ школьныхъ играхъ; онъ занимался изученіями, въ которыхъ его юные сверстники не желали нисколько слѣдовать за нимъ. Все, повидимому, указывало на „сумасшедшаго Шелли", какъ на необходимую и достойную жертву, надъ которой остальные школьники могли упражнять свои животныя свойства.

„Я видѣлъ его", писалъ одинъ изъ его товарищей по школѣ, „окруженнымъ со всѣхъ сторонъ, съ гиканьемъ и свистомъ его дразнили, какъ бѣшенаго быка". Если его мучители желали довести свою жертву до припадковъ бѣшенства, имъ часто удавалось достигнуть этой желанной цѣли. Но и здѣсь, такъ же какъ и въ первой школѣ, онъ пріобрѣлъ расположеніе нѣсколькихъ товарищей, которые описываютъ его, какъ благородное и чистосердечное существо, съ удивительно-нѣжной душой, обладавшее большимъ нравственнымъ мужествомъ и не боявшееся ничего, кромѣ низости и лжи. Никого изъ друзей не любилъ онъ такъ, какъ стараго д-ра Линда изъ Виндзора; это былъ человѣкъ оригинальнаго характера и образа мыслей, необычайно ласковый въ обхожденіи. Шелли далъ идеализированные портреты этого друга своего дѣтства въ Зонорасѣ, въ *Царевичѣ Атаназѣ*, и въ старомъ отшельникѣ, въ *Возмущеніи Ислама*.

Интересъ Шелли къ тому, что можно назвать романтической стороной современной науки, возросъ въ теченіи лѣтъ, проведенныхъ въ Итонѣ. Онъ читалъ классиковъ, восхищался красотой ихъ поэзіи и съ глубокимъ интересомъ относился къ философскимъ воззрѣніямъ нѣкоторыхъ писателей — между ними были Лукрецій и Плиній, — но онъ не выказывалъ большой склонности къ кропотливой точности изученія. Главными властителями его ума были тѣ мыслители XVIII вѣка, которые, казалось, соединили въ извѣстной гармоніи разрушительный или скептическій критицизмъ вѣка и тѣ безпредѣльныя надежды на будущее, что поднимаются, какъ призраки, изъ развалинъ прошлаго. Онъ былъ слишкомъ юнъ, чтобы извлекать уроки изъ опыта, которые давались событіями Французской Революціи, но мѣрѣ того какъ они развивались изо-дня въ день. Съ благоговѣніемъ и восторгомъ онъ воспринялъ доктрину *Просвѣщенія* изъ *Политической*

*справедливости* Годвина. Вмѣстѣ съ Кондорсэ, онъ предвидѣлъ мечтой безконечное развитіе человѣческаго рода. Его грезы были свѣтлыя, благородныя юношескія грезы; и на самомъ дѣлѣ, онѣ были не совсѣмъ безосновательны. Многое изъ того, что стало дѣйствительностью въ XIX столѣтіи, выросло изъ видѣній и мечтаній революціоннаго времени; многое, быть можетъ, еще осуществится.

Два момента изъ отрочества Шелли, памятные въ исторіи развитія его духа, нашли отголосокъ въ его стихахъ: во-первыхъ, когда онъ поборолъ въ себѣ чувства злобы и мести, возбужденныя преслѣдованіями и тиранніей школы, и поклялся, что самъ онъ будетъ справедливымъ, добрымъ, мудрымъ и свободнымъ; во-вторыхъ, когда его воображеніе, освобожденное отъ порывовъ грубаго фантастическаго ужаса, обратило всѣ свои силы на стремленіе къ духовной красотѣ. Воспоминаніе о первомъ моментѣ можно найти въ посвященіи къ *Возмущенію Ислама*; память о второмъ—въ *Гимнѣ Духовной Красотѣ*. Оба эти высокія вдохновенныя рѣшенія возникли въ весеннее время, когда пробуждающаяся жизнь природы какъ бы поднимаетъ жизненныя силы духа.

Раньше чѣмъ Шелли оставилъ Итонъ, онъ былъ уже писателемъ. Романъ *Застрощи*, напечатанный въ апрѣлѣ 1810-го года, былъ написанъ имъ, — по крайней мѣрѣ, большая часть его,—годомъ раньше. Этотъ и слѣдующій его романъ, *Св. Ирвайнъ, или Розенкрейцеръ*, появившійся до окончанія того же года, неописуемо, хотя отчасти постижимо, нелѣпы въ своихъ безпорядочныхъ стремленіяхъ къ возвышенному, въ своихъ вымученныхъ ужасахъ, въ своихъ ложныхъ страстяхъ, въ своихъ сантиментальныхъ непріемлемостяхъ. Авторъ, еще мальчикъ, отдался своимъ необузданнымъ воображеніемъ современному романтическому движенію, представленному въ худшихъ своихъ образцахъ. Точно такимъ же образомъ онъ отдалъ свой разумъ въ рабство, вообразившее себя свободой, революціоннымъ теоретикамъ и мечтателямъ. Дѣтскіе романы Шелли перестаютъ быть невыносимо плохими, если мы ознакомимся съ нѣкоторыми романами того времени, издававшимися фирмой Minerva Press; мы увидимъ тогда, что онъ былъ не создатель, а ученикъ того фантастически-нелѣпаго, что ввели въ моду мистрисъ Радклиффъ и Дж. Льюисъ, и что какъ разъ въ это время осмѣивалось въ *Northanger Abbey*, самой ранней повѣсти наиболѣе изящнаго изъ нашихъ юмористовъ, бытописателя семейной жизни. Въ 1810-мъ году Медвиномъ и Шелли сообща была написана поэма въ семи пѣсняхъ, на сюжетъ *Вѣчнаго Жида*. Четыре пѣсни появились послѣ смерти Шелли, но неизвѣстно, содержатъ ли онѣ болѣе чѣмъ нѣсколько строкъ самого

Шелли. Небольшая книжка стиховъ, подъ заглавіемъ *Оригинальныя стихотворенія Виктора и Казиры*, произведеніе Шелли и еще кого-то, появилась въ свѣтъ въ сентябрѣ 1810-го года; но она была поспѣшно изъята изъ обращенія издателемъ, когда онъ открылъ, что одно изъ стихотвореній было просто выпиской изъ страницъ Льюиса. Неизвѣстно, существуетъ ли еще хоть одинъ экземпляръ *Оригинальныхъ стихотвореній*, и врядъ ли приходится сожалѣть объ исчезновеніи этихъ стиховъ.

Существуетъ предположеніе, что сотрудникомъ Шелли, взявшимъ на себя женское имя „Казиры", была его двоюродная сестра Гарріэтъ Гровъ, красивая дѣвушка однихъ лѣтъ съ нимъ. Онъ любилъ ее со всѣмъ пыломъ первой страсти, и охотно сдѣлалъ бы ее товарищемъ своихъ общественныхъ, политическихъ и религіозныхъ вѣрованій и безвѣрій. Но тонъ ихъ переписки испугалъ родныхъ Гарріэтъ, и вскорѣ у нихъ оказалась въ виду другая партія для нея. Шелли страдалъ очень, или воображалъ, что очень страдаетъ, онъ горячо ораторствовалъ противъ ханжества и рѣшилъ отнынѣ объявить войну противъ этого губителя человѣческаго счастья.

Шелли былъ внесенъ въ списки студентовъ въ University College въ Оксфордѣ, въ апрѣлѣ 1810-го года, и переѣхалъ туда на жительство. Въ своемъ товарищѣ-студентѣ, Томасѣ Джефферсонѣ Хоггѣ, сынѣ джентльмэна изъ сѣверныхъ провинцій, и тори по политическимъ убѣжденіямъ, онъ нашелъ себѣ самаго близкаго союзника. Хоггъ обладалъ выдающимися умственными способностями и искренней любовью къ литературѣ. Направленіе его ума и характера отличалось отъ ума и характера Шелли настолько, какъ только возможно себѣ представить: проницательный, рѣзкій, саркастическій умъ, не лишенный, впрочемъ, юнаго благородства, онъ былъ глубоко заинтересованъ наблюденіями надъ этимъ страннымъ и очаровательнымъ явленіемъ, какимъ былъ идеалистъ Шелли среди оксфордской молодежи того времени. Каждый, кто знаетъ хоть что-нибудь о жизни Шелли, знакомъ съ замѣчательными изображеніями Шелли въ Оксфордѣ, въ живописаніяхъ Хогга. Каждый побывалъ запросто, вмѣстѣ съ Хоггомъ, въ комнатахъ колледжа, странно смущаемый видомъ электрическихъ и химическихъ аппаратовъ: слушалъ пылкія рѣчи молодого энтузіаста о тайнахъ природы и еще болѣе глубокихъ тайнахъ духа; видѣлъ его за любимымъ занятіемъ бросанья камешковъ въ воду и пусканья бумажныхъ корабликовъ по рѣкѣ или по пруду: ходилъ по окрестностямъ съ обоими друзьями, совершавшими веселыя зимнія прогулки, и раздѣлялъ съ ними ихъ скромный ужинъ, по ихъ возвращеніи домой; бывалъ свидѣтелемъ нѣжной доброты „божественнаго поэта" къ тѣмъ, кто нуждался въ поддержкѣ сердца или руки его, а также

и его внезапныхъ взрывовъ негодованія противъ притѣснителя и дурно поступающаго; смѣялся вмѣстѣ съ повѣствователемъ надъ странными прихотями и фантазіями безсмертнаго ребенка.

„Преданность, почитаніе, благоговѣніе, которыми онъ пламенѣлъ по отношенію ко всѣмъ учителямъ мысли“, говоритъ Хоггъ, „невозможно описать“. Біографъ говоритъ о чистотѣ и „святости“ жизни Шелли, о „кроткой вдумчивости“ его сердца, и о „чудесной мягкости и благородствѣ“ его характера. Но наряду съ поклоненіемъ этимъ самостоятельно избраннымъ учителямъ своего ума, наряду съ этой чудесной мягкостью характера, Шелли испытывалъ презрѣніе къ тому, что унаслѣдовано, къ тому, въ чемъ преданіе; его духовное дерзновеніе не было обуздано надлежащимъ сознаніемъ трудностей, облекающихъ великія задачи человѣческой мысли. Его путеводителями были свѣточи, освѣщавшіе XVIII столѣтіе. Если бы онъ овладѣлъ Кантомъ такъ же, какъ Гольбахомъ, если бы онъ подчинилъ свой разумъ Борку, какъ онъ подчинилъ его Годвину, онъ, быть можетъ, не возросъ бы и не расцвѣлъ бы такъ скоро, но корни его проникли бы глубже и крѣпче охватили бы землю. Трудно, однако, вообразить себѣ Шелли инымъ, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ. И очень возможно, что логическая гимнастика его изученія мыслителей XVIII вѣка, въ особенности французскихъ, до нѣкоторой степени спасла его отъ опасностей, которыми угрожала его чрезмѣрная склонность къ призрачному. „Не будь этого рѣзкаго сметанія прочь духовной паутины“, пишетъ Сольтъ, „его геній, всегда склонявшійся къ мистицизму и метафизическимъ утонченностямъ заблудился бы въ лабиринтѣ грезъ и фантазій и, такимъ образомъ, растратилъ бы свой запасъ моральнаго энтузіазма“.

Пребыванію Шелли въ Университетскомъ Колледжѣ скоро пришелъ конецъ. Въ февралѣ 1811-го года, изъ провинціальной типографіи въ Ворсингѣ, въ Суссексѣ, вышелъ маленькій памфлетъ, озаглавленный—*Необходимость Атеизма*. Имени автора не было, но въ Оксфордѣ, гдѣ былъ выставленъ на продажу этотъ памфлетъ, было извѣстно, что это—произведеніе Шелли. При допросѣ его наставникомъ колледжа, Шелли отказался отвѣчать на вопросы, которые ему предлагались. Тѣ же самые вопросы были поставлены Хоггу, который добровольно выступилъ на сцену, чтобы объясниться съ властями. Онъ также отказался отвѣчать. И 25-го марта и тотъ, и другой юноши были изгнаны изъ Университетскаго Колледжа, за упорство въ отказѣ отвѣчать на вопросы и за нежеланіе отречься отъ этого сочиненія.

„Я былъ *когда-то* пламеннымъ деистомъ“, писалъ Шелли нѣсколько недѣль спустя. „Но никогда я не былъ христіаниномъ!“ Его атеизмъ былъ

скорѣе отрицаніемъ Творца, чѣмъ отрицаніемъ живого духа вселенной. Христіанином, въ теологическомъ смыслѣ этого слова, онъ никогда не сдѣлался; но несомнѣнно, позднѣе, онъ глубоко чтилъ личность Іисуса. И его воинствующій пылъ противъ историческаго развитія христіанства нѣсколько померкъ, когда онъ ближе познакомился съ литературой и искусствомъ средневѣковой Италіи. Вѣра его послѣднихъ лѣтъ имѣла въ себѣ нѣчто изъ идеализма Платона и Беркли, и нѣчто также изъ философской системы Спинозы.

Нужно сказать нѣсколько словъ о *Посмертныхъ отрывкахъ изъ сочиненій Маргаретъ Никольсонъ*, которые появились во время пребыванія Шелли на первомъ курсѣ въ Университетскомъ Колледжѣ. Эти поэмы, написанныя съ серьезнымъ намѣреніемъ, но носившія на себѣ печать незрѣлости, были изданы подъ прикрытіемъ шутки. Быть можетъ, онѣ были передѣланы, при содѣйствіи Хогга, съ цѣлью комическаго эффекта. Маргаретъ Никольсонъ, сумасшедшая прачка, покушалась на жизнь короля и попала въ Бэдламъ. Было рѣшено, что она будетъ авторомъ стиховъ, и что это изданіе будетъ посмертнымъ, подъ редакціей воображаемаго племянника, Джона Фицъ Виктора. Памфлетъ былъ изданъ въ форматѣ in-quarto. Мистификація эта, быть можетъ, веселила автора, но мы легко можемъ повѣрить словамъ издателя, что это было мертворожденное произведеніе.

Покинувъ Оксфордъ, два друга оставались нѣкоторое время вмѣстѣ, въ меблированныхъ комнатахъ въ Лондонѣ. М-ръ Тимоти Шелли отказался принять своего сына въ Фильдъ-Плэсѣ, пока онъ не порветъ всякія сношенія съ Хоггомъ и не подчинится назначеннымъ для него воспитателямъ и гувернерамъ. Шелли отказался принять подобныя условія и остался изгнанникомъ, лишеннымъ своего дома, съ горькимъ чувствомъ, что онъ былъ несправедливо караемъ за духовныя убѣжденія, за которыя онъ морально не могъ быть отвѣтственъ. Послѣ отъѣзда Хогга къ друзьямъ, Шелли остался одинъ въ своей лондонской квартирѣ. Младшія сестры его учились въ школѣ въ Клэфэмѣ, и черезъ нихъ онъ уже былъ знакомъ съ ихъ подругой, Гарріэтъ Вестбрукъ. Это была хорошенькая шестнадцатилѣтняя школьница, свѣжая и румяная, съ пріятнымъ характеромъ, ясной улыбкой и хорошими манерами, дочь удалившагося отъ дѣлъ содержателя кофейной въ Лондонѣ. Ея руководительница и наставница, старшая миссъ Вестбрукъ, дѣвица тридцатилѣтняго возраста, выказывала самый нѣжный интересъ къ молодому безбожнику, который, вмѣстѣ съ тѣмъ, былъ и баронетъ, въ будущемъ, съ большимъ состояніемъ, закрѣпленнымъ за этимъ титуломъ.

Она писала ему, приходила къ нему съ Гарріэтъ, водила его въ церковь, читала подъ его руководствомъ еретическія книги. Когда лѣтомъ Шелли поѣхалъ гостить къ своему кузену м-ру Грову, въ Квамъ-Иланъ въ Рэднорширѣ, Вестбруки были также въ Уэльсѣ, и встрѣчи продолжались непрерывно между Шелли и сестрами. По возвращеніи Вестбруковъ въ Лондонъ начали приходить тревожныя письма отъ Гарріэтъ. Ее преслѣдовали дома: ее хотѣли принудить вернуться въ школу, гдѣ она чувствовала себя несчастной. Сопротивляться ли ей волѣ отца? и будетъ ли дурно съ ея стороны покончить свою жизнь? Пришло еще письмо, гдѣ она умоляла Шелли о защитѣ. Она готова бѣжать съ нимъ, если онъ только захочетъ. Шелли поспѣшилъ въ Лондонъ, но передъ отъѣздомъ изъ Уэльса онъ успѣлъ написать своему кузену Чарльзу. Онъ говорилъ ему, что, если онъ отдаетъ себя Гарріэтъ, это совсѣмъ не изъ любви къ ней, а изъ рыцарскаго чувства самоотверженія. При видѣ Гарріэтъ, онъ былъ пораженъ ея измѣнившимся лицомъ. Онъ приписалъ это ея страданіямъ изъ-за семейныхъ огорченій. Но она призналась, что это было не такъ, что она любитъ его, и боится, что онъ не отвѣтитъ на ея любовь взаимностью. Они разстались, и Шелли обѣщалъ, что, если она призоветъ его изъ деревни, онъ немедленно явится и соединитъ ея судьбу съ своей. Черезъ недѣлю она позвала его. Тотчасъ были сдѣланы приготовленія къ бѣгству, въ почтовой каретѣ, отправлявшейся на Сѣверъ. И 28-го августа 1811-го года, Шелли и Гарріэтъ Вестбрукъ, имѣя девятнадцать и шестнадцать лѣтъ отъ роду, соединили свои руки, какъ мужъ и жена, въ Эдинбургѣ, по обряду, требуемому шотландскимъ закономъ. Потребовалось нѣкоторое насиліе надъ принципами ученика Вильяма Годвина, чтобы подчиниться законной формѣ брака. Но, ради положенія Гарріэтъ передъ лицомъ свѣта, онъ согласился на то, что онъ считалъ дурнымъ. Онъ объяснилъ ей, что онъ, съ своей стороны, не считаетъ этотъ договоръ связующимъ, если когда-нибудь въ будущемъ ихъ бракъ окажется для нихъ источникомъ горя, а не счастья *). И въ этомъ онъ слѣдовалъ завѣтамъ своего учителя-философа.

На самомъ же дѣлѣ, въ это время Шелли неизмѣримо больше, чѣмъ Гарріэтъ, былъ увлеченъ одной школьной учительницей въ Суссексѣ, миссъ Хитченеръ, которую онъ идеализировалъ, какъ Эгерію или Цитну. Эта, очень заурядная, особа превратилась, въ его юномъ воображеніи, въ прообразъ всего, что есть наиболѣе возвышеннаго въ женственности. Но это

*) См. послѣднее письмо Соути къ Шелли, въ Southey's Correspondence with Caroline Bowles.

было чувство поклоненія и восторга, а не чувство любви, могущее снизойти до обыденности брака. „Осуждай меня, если хочешь, самый дорогой другъ мой“, писалъ онъ ей, оправдываясь въ своемъ бракѣ, „ибо ты *все же* самая дорогая для меня; но имѣй состраданіе даже и къ этой ошибкѣ, если ты осудишь меня“. Ближайшее знакомство съ миссъ Хитченеръ, годомъ позже, привело—какъ это часто бывало у Шелли—къ идеализаціи въ противоположную сторону. Эта почтенная особа принимаетъ образъ демона себялюбія и гнусной страсти; она все еще ангелъ, но ангелъ дьявольской породы.

Отецъ Шелли, до его свадьбы, назначилъ ему двѣсти фунтовъ въ годъ. Но теперь онъ счелъ нужнымъ проучить безразсуднаго мальчишку, и прекратилъ высылку денегъ. Въ концѣ концовъ, деньги были снова возвращены ему, и вмѣстѣ съ двумя стами фунтовъ, что давалъ также м-ръ Вестбрукъ, юная чета могла не опасаться нужды.

Изъ Эдинбурга они поѣхали въ Іоркъ, гдѣ попали подъ надзоръ злого генія ихъ супружеской жизни, старшей сестры, Элизы Вестбрукъ, и гдѣ дурное поведеніе Хогга вызвало временный разрывъ между нимъ и Шелли. Изъ Іорка они переѣхали въ Кесвикъ. Отчасти ихъ влекло туда потому, что тамъ жилъ Соути, къ поэзіи котораго Шелли относился въ то время восторженно. Соути принялъ молодую чету съ особенной привѣтливостью. Но на Шелли онъ произвелъ впечатлѣніе угасшей силы, увядшей вѣтви, потому что онъ мало интересовался метафизическими утонченностями и утратилъ свою прежнюю вѣру въ революціонныя отвлеченности. Болѣе родственное вліяніе имѣлъ на него Вильямъ Годвинъ, съ которымъ Шелли вступилъ въ переписку, въ Кесвикѣ; онъ обнажалъ свою душу передъ Годвиномъ, какъ передъ философомъ-исповѣдникомъ, внималъ благоговѣйно его совѣтамъ и надѣялся на счастье болѣе тѣснаго сближенія съ этимъ послѣднимъ и величайшимъ изъ мудрецовъ.

Шелли желалъ сейчасъ же перевести свои идеи въ дѣйствія, онъ искалъ кругомъ поле битвы, гдѣ онъ могъ бы сразиться за свободу, и ему показалось, что онъ нашелъ его въ Ирландіи. Онъ приготовилъ *Обращеніе къ ирландскому народу*, состоявшее, какъ онъ говоритъ, „изъ благихъ и вѣротерпимыхъ выводовъ философіи, изложенныхъ самымъ простымъ языкомъ“. Онъ хотѣлъ говорить за освобожденіе католицизма, за возобновленіе уніи. Онъ хотѣлъ ввести въ Ирландіи систему собраній для обсужденія соціальныхъ, политическихъ и моральныхъ вопросовъ. Онъ хотѣлъ внѣдрять правила добродѣтели и милосердія. Съ этими цѣлями онъ поѣхалъ въ Дублинъ, роздалъ тамъ пару памфлетовъ, говорилъ на публичномъ митингѣ,

гдѣ произносилъ рѣчь О'Коннель, обѣдалъ съ Кёррэномъ, — но не почувствовалъ ни малѣйшей любви къ своему хозяину. Онъ убѣдился въ томъ, что положеніе ирландской политики и партій было далеко не такъ просто, какъ онъ это представлялъ себѣ. И, уступая совѣтамъ Годвина и своему собственному сознанію неудачи, онъ покинулъ Ирландію, сдѣлавъ очень мало для той цѣли, къ которой онъ стремился.

Изъ Дублина Шелли, съ Гарріэтъ и неизбѣжной Элизой Вестбрукъ, уѣхалъ въ Уэльсъ и, послѣ краткаго пребыванія среди лѣсовъ, ручьевъ и горъ въ Нантвилльтѣ, отбылъ на берега Сѣвернаго Девона, и поселился, въ іюнѣ 1812-го года, въ коттэджѣ въ Линмаусѣ, бывшемъ тогда уединенной рыбачьей деревушкой.

Эти іюльскіе и августовскіе дни были счастливымъ временемъ въ жизни Шелли. Его привязанность къ молодой женѣ перешла въ искреннюю любовь; онъ имѣлъ сношенія съ безсмертнымъ Годвиномъ; его лучезарное божество, миссъ Хитченеръ навѣщала ихъ коттэджъ и не успѣла еще превратиться въ нестерпимое огорченіе; умъ его былъ дѣятельно занятъ прозаическимъ сочиненіемъ, ратовавшимъ за свободу слова — *Письмо къ Лорду Элленборо*, — и нѣсколькими обширными стихотворными замыслами. Главное изъ этихъ произведеній, *Царица Мабъ*, достаточно ясно отражаетъ духъ автора въ тотъ періодъ, его убѣжденія, его надежды, его грезы, его взгляды на прошедшее, его стремленія къ будущему.

Я уже говорилъ въ другомъ мѣстѣ, что это есть „родъ синтеза, гармонирующаго съ политическимъ и соціальнымъ пыломъ, владѣвшимъ Шелли во время его путешествія по Ирландіи, со всей его мудростью, и безуміемъ, и восторгомъ воображенія, пробудившагося среди величія и прелести Уэльскихъ холмовъ, и скалъ и волнъ Девона". Это памфлетъ въ стихахъ, но въ основѣ, подъ декламаторскими пророчествами, лежитъ красота поэзіи. Художественные эффекты здѣсь болѣе театральны, чѣмъ фантастичны, въ высокомъ значеніи этого слова. Мысль часто незрѣла. Произведеніе это страдаетъ моральной узкостью, отчасти исходящей изъ ученія Годвина, — изъ предположенія, что зло существуетъ болѣе въ человѣческихъ учрежденіяхъ, чѣмъ въ человѣческомъ характерѣ. Его обзоръ прошлаго исторіи общества поверхностенъ и одностороненъ; его надежды на будущее большею частью фантастичны. Но все же эта поэма, занимающая середину между юношескими произведеніями Шелли и твореніями его зрѣлыхъ лѣтъ, имѣетъ значеніе, благодаря глубокой любви къ человѣчеству и мощи воображенія, развивающаго идею вселенной: единство природы, всеобщность закона, громадный и непрестанный потокъ Бытія, вѣчно подверженный

процессу совершенствованія и развитія. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ авторъ перестаетъ быть доктринеромъ и реторикомъ, и встаетъ поэтъ, могущій равно изъяснять явленія внѣшней природы и томленья человѣческаго сердца. „Дрянной вздоръ", говоритъ самъ Шелли о *Царицѣ Мабъ*, когда въ 1821-мъ году вышло изданіе ея, безъ его разрѣшенія. Но время, третейскій судья, рѣшило, что эта поэма составляетъ важную часть его вклада въ нашу литературу. *Царица Мабъ* была закончена въ февралѣ 1813-го года и напечатана въ томъ же году, для частнаго распространенія.

Пребываніе Шелли въ Линмаузѣ наступилъ безвременный конецъ. Онъ забавлялся — съ серьезнымъ видомъ — бросаньемъ въ Бристольскій каналъ ящиковъ и бутылокъ, куда онъ вкладывалъ по экземпляру написаннаго имъ летучаго листка *Декларація правъ*, или своей поэмы *Прогулка дьявола*. Онъ поручалъ вѣтрамъ и волнамъ пустить ихъ въ обращеніе. 19-го августа было обнаружено, что его слуга, ирландецъ, разбрасываетъ около Барнстэпля экземпляры *Декларація*, статьи противъ правительства и общества, изданной по образцу документовъ Французской Революціи. Ирландецъ былъ арестованъ, уличенъ и приговоренъ къ шести мѣсяцамъ тюремнаго заключенія. Его хозяинъ, сдѣлавъ все возможное, чтобы облегчить Дэну его пребываніе въ тюрьмѣ, поспѣшно оставилъ линмаузскій коттэджъ и нашелъ себѣ пристанище въ маленькомъ городкѣ Тремадокѣ, въ графствѣ Карнарвонскомъ. Здѣсь, одно время, Шелли очень увлекался судьбой большого сооруженія—насыпи, возводимой съ цѣлью отвоевать у моря полосу земли. Онъ пытался собрать капиталы для продолженія этого предпріятія, принялъ въ немъ участіе самъ, въ размѣрахъ бо́льшихъ, чѣмъ позволяли его средства, ѣздилъ въ Лондонъ хлопотать о дальнѣйшей подпискѣ. Въ Лондонѣ, въ октябрѣ 1812-го года, онъ впервые встрѣтился лицомъ къ лицу съ Годвиномъ, и впечатлѣніе, съ обѣихъ сторонъ, было благопріятное. Онъ возобновилъ свою дружбу съ Хоггомъ; порвалъ окончательно съ обожаемой нѣкогда, а нынѣ ненавистной, миссъ Хитченеръ и присоединилъ къ кругу своихъ знакомыхъ привлекательное семейство м-ра Ньютона, ревностное вегетаріанство котораго располагало къ нему Шелли. Въ теченіи зимы, проведенной имъ въ Уэльсѣ, онъ щедро заботился о бѣдныхъ. Онъ изучалъ французскихъ просвѣтительныхъ философовъ; по совѣту Годвина, онъ старался пріобрѣсти дѣйствительныя познанія въ исторіи; онъ увеличилъ количество своихъ рукописныхъ поэмъ и изготовилъ къ печати цѣлый рядъ избранныхъ мѣстъ изъ Библіи, выбранныхъ съ цѣлью установить чистую нравственность, не загроможденную тѣмъ, что Шелли именовалъ библейской миѳологіей. Въ ночь на 26-е февраля 1813-го года, въ уединенный

домъ Тэнирольта, гдѣ жилъ Шелли, забрался какой-то злоумышленникъ, съ цѣлью грабежа. Встревоженный шумомъ, Шелли вышелъ, съ пистолетами въ рукахъ, изъ своей спальни. Раздались выстрѣлы, и произошла схватка, окончившаяся бѣгствомъ грабителя. Были попытки подорвать вѣру въ это приключеніе. Хотя нѣтъ достаточныхъ основаній, чтобы не вѣрить ему, но, быть можетъ, слѣдуетъ признать, что переутомленные нервы Шелли разыгрались послѣ этого нападенія, и что покушеніе убить его въ ту же ночь, о которомъ онъ говорилъ потомъ, было обманомъ его воображенія.

Во второе свое путешествіе въ Ирландію, Шелли проѣхалъ на югъ до Килларнэ и Корка. Въ апрѣлѣ онъ уже былъ опять въ Лондонѣ, гдѣ, въ іюнѣ 1813-го года, у него родился первый его ребенокъ, дочь, которой дали имя Іанте. „Онъ чрезвычайно любилъ своего ребенка", говоритъ Пикокъ, „и подолгу могъ расхаживать взадъ и впередъ по комнатѣ съ ребенкомъ на рукахъ, напѣвая ему монотонную мелодію своего собственнаго изобрѣтенія".

Какъ только Гарріэтъ поправилась, она и мужъ ея поѣхали въ Брэкнель, въ Беркширѣ. Ихъ притягивало туда присутствіе мистрисъ Бойнвилль, свояченицы вегетаріанца Ньютона, и ея замужней дочери, Корнеліи Тёрнеръ. Эти новые друзья ихъ были образованные, утонченные, восторженные люди, быть можетъ, немного сантиментальные. Вмѣстѣ съ Корнеліей, бывшей ему товарищемъ по ученію, Шелли подвинулся впередъ въ изученіи Аріосто, Тассо и Петрарки. Это время могло бы быть очень счастливымъ, если бы денежныя дѣла не тревожили Шелли. Но долги накоплялись, и онъ принужденъ былъ занимать деньги за громадные проценты, подъ будущее свое наслѣдство. Въ октябрѣ онъ оставилъ Брэкнель и проѣхалъ къ Сѣверу, на англійскія озера, а оттуда въ Эдинбургъ. Но онъ недолго пробылъ въ Шотландіи. Раньше, чѣмъ кончился годъ, онъ поселился въ меблированной квартирѣ въ Виндзорѣ, среди тѣхъ мѣстъ, которыя онъ посѣщалъ школьникомъ, и неподалеку отъ Брэкнеля, гдѣ еще жили Бойнвилли. Нѣкоторое время онъ былъ занятъ діалогомъ, изданнымъ въ 1814-мъ году подъ заглавіемъ *Опроверженіе деизма*, гдѣ онъ доказываетъ, что не можетъ быть середины между христіанствомъ и атеизмомъ.

Для того, чтобы доставать деньги, необходимо было поставить внѣ всякихъ сомнѣній законность сына и наслѣдника, могущаго родиться у Шелли. Вѣроятно, поднимались уже вопросы о законной силѣ шотландскаго брака. И поэтому, 24-го марта 1814-го года, Шелли повторилъ обрядъ вѣнчанія съ Гарріэтъ, согласно правиламъ англиканской церкви. Но еще до этого событія, семейное счастіе ихъ было жестоко омрачено. Если когда-

нибудь существовала между Шелли и его молодой женой какая-нибудь духовная или умственная связь, она порвалась теперь. Жена его стремилась къ болѣе свѣтской жизни, которую онъ не переносилъ. Ея траты на наряды, серебро и обстановку все глубже погружали его въ долги, они становились уже бѣдствіемъ и униженіемъ. Присутствіе Элизы Вестбрукъ въ семьѣ сдѣлалось невыносимымъ; а между тѣмъ Элиза Вестбрукъ была всегда налицо. Шелли желалъ, чтобы Гарріэтъ кормила сама своего ребенка; а Гарріэтъ настаивала на томъ, чтобы взять кормилицу. Наконецъ, старшая сестра удалилась; но Гарріэтъ, послѣ ея отъѣзда, усвоила себѣ холодное и рѣзкое обращеніе, какъ человѣкъ несправедливо пострадавшій. Шелли искалъ себѣ нѣкоторое подобіе утѣшенія въ дружбѣ съ мистрисъ Бойнвилль и мистрисъ Тёрнеръ. Въ маѣ онъ умолялъ о примиреніи, но тщетно. Гарріэтъ оставила его домъ и переѣхала на житье въ Басъ, а мужъ ея переселился въ Лондонъ.

Со свойственной ему щедростью, онъ помогалъ въ то время Годвину, которому до крайности нужна была въ то время большая сумма денегъ. Въ маѣ или іюнѣ, Шелли впервые остановилъ свой взглядъ на Мэри, дочери Годвина и Мэри Вульстонкрафтъ. Она только-что возвратилась изъ поѣздки въ Шотландію. Это была дѣвушка лѣтъ семнадцати, съ золотистыми волосами, съ блѣднымъ чистымъ лицомъ, высокимъ лбомъ и серьезными карими глазами. У нея былъ сильный умъ, большое нравственное мужество и твердая воля, въ соединеніи съ чуткостью и жаромъ души. Вторая мистрисъ Годвинъ сдѣлала несчастной домашнюю обстановку для Мэри. Ее и Шелли влекло другъ къ другу чувство, сначала казавшееся имъ дружбой, но вскорѣ они увидѣли, что это была любовь. Въ то же самое время—если только можно вѣрить словамъ дочери мистрисъ Годвинъ, Клэръ Клэрмонтъ—Шелли не только убѣдился въ томъ, что Гарріэтъ перестала любить его, но, какъ онъ утверждалъ, онъ зналъ навѣрное, что она измѣнила ему и вступила въ связь съ однимъ ирландскимъ офицеромъ, Райэномъ. Не доказано, чтобы у Шелли были улики, достаточныя для такого обвиненія; сама же Гарріэтъ увѣряла въ своей вѣрности. Ея увѣренія поддерживаютъ Торнтонъ Гёнтъ, Хукхэмъ, Хоггъ и другіе. Но въ 1817-мъ году Годвинъ говорилъ, что онъ знаетъ изъ достовѣрнаго источника, не имѣющаго никакого отношенія къ Шелли, что Гарріэтъ была невѣрна своему мужу еще до того, какъ они разошлись.

Мы можемъ вполнѣ допустить, что Шелли могъ увѣрить себя самого въ томъ, чего на самомъ дѣлѣ не было. Онъ написалъ Гарріэтъ, прося ее пріѣхать въ Лондонъ. По прибытіи ея (14-го іюля), онъ сказалъ ей, что не

считаетъ ее больше своей женой, что сердце его отдано Мэри Годвинъ, но что онъ будетъ продолжать, по мѣрѣ возможности, заботиться о ней. Потрясеніе и волненіе, причиненныя этимъ заявленіемъ Шелли, вызвали болѣзнь Гарріэтъ, во все время которой Элиза Вестбрукъ находилась безотлучно при ней. Шелли умолялъ больную вернуться къ жизни и здоровью. Но его рѣшеніе разстаться съ ней осталось непоколебимымъ. Сдѣлавъ нѣкоторыя распоряженія касательно матеріальнаго благосостоянія Гарріэтъ, онъ приготовился, безъ вѣдома Годвина и его жены, бѣжать съ Мэри. И утромъ 28-го іюля 1814-го года бѣглецы были на пути къ Франціи. Они убѣдили Клэръ Клэрмонтъ, дочь жены Годвина отъ ея перваго брака, сопутствовать имъ. Опоэтизированный разсказъ о дняхъ страданія Шелли съ Гарріэтъ находится, вѣроятно, въ исповѣди заключеннаго въ сумасшедшемъ домѣ, въ *Юліанѣ и Маддало*. Болѣе ясное изложеніе причинъ ихъ разрыва, съ измѣненіемъ именъ, есть въ повѣсти мистрисъ Шелли *Лодоръ*.

Переправившись изъ Дувра въ Кале въ открытой лодкѣ, бѣглецы направились въ Парижъ. Тамъ они достали денегъ и пустились въ путь, въ Швейцарію, Шелли пѣшкомъ, а Мэри и Клэръ на мулѣ. Изъ Труа Шелли написалъ Гарріэтъ письмо, которое было бы прямо непостижимо, если бы оно исходило отъ кого-нибудь иного, кромѣ Шелли. Онъ выражалъ въ немъ надежду, что она послѣдуетъ за ними и поселится въ непосредственной близости отъ нихъ, и онъ будетъ заботиться о ней. По прибытіи въ Брунненъ, на Люцернскомъ озерѣ, они наняли себѣ комнаты; но, предвидя затрудненія для полученія денегъ на такомъ далекомъ разстояніи отъ Англіи, они быстро повернули обратно, спустились по Рейну до Кёльна, и послѣ шестинедѣльнаго отсутствія появились въ Лондонѣ, въ половинѣ сентября.

Мѣсяцы, проведенные въ Лондонѣ отъ половины сентября до января 1815-го года, были временемъ испытаній и горя. Годвинъ чуждался ихъ. Сношенія съ Гарріэтъ, у которой въ ноябрѣ родился второй ребенокъ Шелли, сынъ, были тягостнаго свойства. Была крайняя нужда въ деньгахъ, и, въ теченіи нѣсколькихъ дней, Шелли пришлось разлучиться съ Мэри и скрываться отъ кредиторовъ. Но начавшійся 1815-й годъ измѣнилъ его положеніе. 6-го января умеръ его дѣдъ, и Шелли оказался ближайшимъ наслѣдникомъ большого состоянія. Уступивъ отцу свои права на часть имѣнія, онъ обезпечилъ себѣ ежегодный доходъ въ тысячу фунтовъ, а также получилъ значительную сумму на уплату своихъ долговъ. Но, къ несчастью, въ то самое время, какъ улучшились его матеріальныя средства, его здоровье стало ухудшаться. Лѣтомъ онъ путешествовалъ по Девону, а въ началѣ августа нашелъ себѣ счастливое мѣсто отдохновенія въ Бишопсгэтѣ на

окраинѣ Виндзорскаго парка. Въ сопровожденіи Мэри и своего друга Пикока, онъ провелъ нѣсколько восхитительныхъ дней въ рѣчномъ путешествіи вверхъ по Темзѣ до Лечлэда. Онъ оставилъ намъ воспоминаніе объ этомъ въ одномъ изъ своихъ раннихъ лирическихъ произведеній. По возвращеніи домой, въ аллеяхъ большого Виндзорскаго парка, онъ написалъ первую поэму, показавшую, что геній его возмужалъ — *Алastора*. Это есть, въ самомъ глубокомъ смыслѣ, оправданіе любви человѣческой — той любви, которой самъ онъ искалъ, и нашелъ. Это—порицаніе генія—ищущаго красоты, ищущаго истины,—который живетъ одинъ, въ сторонѣ отъ человѣческихъ привязанностей. Но все же, участь этого одинокаго идеалиста, говоритъ Шелли, менѣе печальна, чѣмъ судьба того, кто тучнѣетъ въ оездѣйствіи, „не мучаясь священной жаждой невѣрнаго знанія, не обольщаясь чудеснымъ суевѣріемъ". Эта поэма есть чудно-вдохновенное воспоминаніе пережитого имъ за прошедшій годъ—въ ней его думы о любви и смерти, его впечатлѣнія отъ природы, навѣянныя швейцарскими горами и озерами, излучистой Рейсой, скалистыми ущельями Рейна и осеннимъ великолѣпіемъ Виндзорскаго лѣса.

Въ январѣ 1816-го года у Мэри родился сынъ, названный Вильямомъ, въ честь ея отца. Годвинъ все еще держался въ отдаленіи отъ Шелли, хотя удостоивалъ принимать отъ него щедрые денежные дары. Въ концѣ концовъ, Шелли начало это возмущать, но, тѣмъ не менѣе, онъ продолжалъ помогать Годвину, насколько онъ могъ. Ему казалось, что Мэри и онъ будутъ счастливѣе въ чужой странѣ, чѣмъ въ Англіи, гдѣ родные и прежніе друзья отворачивались отъ нихъ съ гнѣвомъ и стыдомъ. Было рѣшено сдѣлать эту попытку и пожить на чужбинѣ. Отсутствіе англійскихъ полей и небесъ могло быть отчасти вознаграждено уменьшеніемъ дороговизны жизни. Въ первые дни мая 1816-го года Шелли, Мэри, маленькій Вильямъ и Клэръ Клэрмонтъ ѣхали въ Женеву, черезъ Парижъ.

Ни Шелли, ни Мэри не имѣли ни малѣйшаго понятія объ отношеніяхъ Байрона къ мисъ Клэрмонтъ, когда они уѣзжали изъ Англіи. Но Клэръ упросила Шелли взять ее съ собой въ путешествіе именно потому, что она надѣялась встрѣтиться тамъ съ Байрономъ. Въ Сешеронѣ, маленькомъ предмѣстьи Женевы, встрѣтились два великіе поэта. Когда Шелли занялъ виллу по ту сторону озера, а Байронъ скрылся отъ надоѣдавшей ему публики въ виллѣ Діодати, между ними были постоянныя сношенія. Они гребли и катались на лодкѣ, вмѣстѣ, и въ концѣ іюня объѣхали кругомъ озера. Во время этой поѣздки былъ написанъ *Шильонскій Узникъ*. Сопутствуемый Мэри, Шелли посѣтилъ Шамуни. Впечатлѣніе, произведен-

ное на него швейцарской природой, можно видѣть въ поэмѣ *Монбланъ* и въ благородномъ *Гимнѣ Духовной Красотѣ*. Мэри также обратилась къ творчеству и составила планъ своей повѣсти *Франкенштейнъ*, написанный по уговору, что каждый изъ друзей—она, Байронъ, Шелли и колодой врачъ Полидори—должны сочинить страшную исторію съ привидѣніями. Но, несмотря на всѣ прелести Швейцаріи, сердца Шелли и Мэри томились по Англіи. Передъ отъѣздомъ изъ Женевы, они имѣли удовольствіе познакомиться съ Дж. Льюисомъ, знаменитымъ авторомъ *Монаха*—книги, которую Шелли, еще мальчикомъ, читалъ съ упоеніемъ. Въ началѣ октября они еще разъ вступили на англійскую землю.

Но, казалось, они вернулись лишь для того, чтобы встрѣтить несчастія. 9-го октября, Фанни, дочь Мэри Вульстонкрафтъ и единокровная сестра Мэри, уже нѣсколько времени находившаяся въ угнетенномъ душевномъ состояніи, покончила съ собою ядомъ, въ гостинницѣ, въ Свансеѣ Испуганный ея отчаяннымъ письмомъ, Шелли поспѣшилъ къ ней изъ Басза, гдѣ онъ жилъ въ то время; но онъ пріѣхалъ слишкомъ поздно. Это волненіе и огорченіе пагубно отразились на здоровьи Шелли, и хорошо еще, что въ то время онъ нашелъ себѣ друга съ веселымъ и бодрымъ характеромъ, въ Лей Гёнтѣ. Но несчастье шло за несчастьемъ. Въ ноябрѣ Шелли началъ разыскивать Гарріэтъ, которая исчезла съ его горизонта и отъ своего отца. 10-го декабря ея трупъ былъ найденъ въ Serpentine river. Первое время послѣ разрыва съ Шелли она надѣялась, что онъ вернется къ ней: когда эта надежда исчезла, она была глубоко несчастна. Она жаловалась на стѣсненія, которыя она испытывала въ домѣ отца, и уже говорила о самоубійствѣ. За нѣсколько времени до смерти она вырвалась изъ этой стѣснительной обстановки. Ея трехлѣтняя дочь и ея двухлѣтній сынъ были отправлены къ одному пастору, въ Ворвикъ. По словамъ Годвина, одно время она жила открыто съ однимъ полковникомъ; Годвинъ называетъ его имя. Потомъ, повидимому, она опустилась еще ниже и была покинута. Извѣщая Шелли объ этомъ ужасномъ происшествіи, книгопродавецъ Хукхэмъ говоритъ, что, если бы она прожила еще немного, у нея родился бы ребенокъ. Судебное слѣдствіе подтвердило это. Шелли былъ глубоко потрясенъ, но не такъ, какъ если бы онъ считалъ себя виновнымъ въ этомъ несчастіи. „Я призываю въ свидѣтели Бога, если только это Существо смотритъ теперь на васъ и на меня“, писалъ онъ впослѣдствіи Соути, „и я обязуюсь, если, какъ вы, быть можетъ, надѣетесь, послѣ смерти мы съ вами встрѣтимся передъ Его лицомъ,—я обязуюсь повторить это въ Его присутствіи: вы обвиняете меня несправедливо. Я неповиненъ въ

злѣ—ни дѣломъ, ни помышленіемъ". Теперь онъ могъ дать Мэри принадлежавшее ей по праву имя своей жены и, не теряя времени, онъ обвѣнчался съ ней (30-го декабря 1816-го года). Онъ потребовалъ своихъ дѣтей отъ Вестбруковъ, но ему въ этомъ было отказано. Послѣ томительныхъ канцелярскихъ проволочекъ, лордомъ Эльдономъ былъ постановленъ приговоръ по дѣлу, гласившій, что, принимая въ соображеніе, что убѣжденія, проповѣдуемыя Шелли, ведутъ къ образу жизни, который законъ считаетъ безнравственнымъ, дѣти не могутъ быть довѣрены его непосредственному попеченію: но, такъ какъ онъ указываетъ подходящихъ людей для воспитанія ихъ—д-ръ и м-ссъ Юмъ,—дѣти будутъ ввѣрены этимъ попечителямъ на все время ихъ малолѣтства, и отцу будетъ дозволено, въ опредѣленное время, видѣться съ ними. Рѣшеніе канцлера не хотѣло быть рѣзче, чѣмъ это казалось необходимымъ. Но отнятіе дѣтей было гораздо болѣе тяжелымъ ударомъ для Шелли, чѣмъ смерть ихъ матери. Одно время онъ боялся даже, что и малютку Вильяма возьмутъ у него.

Пока дѣло тянулось у канцлера, Шелли жилъ въ Марло, на Темзѣ. Бывая въ Лондонѣ, онъ иногда навѣщалъ Гёнта и въ его домѣ встрѣтился съ Китсомъ и Хэзлиттомъ. Онъ былъ теперь въ дружескихъ отношеніяхъ съ Годвиномъ и пріобрѣлъ себѣ новаго и цѣннаго друга въ лицѣ Хорэса Смита. Въ Марло, несмотря на всѣ судебныя волненія, у него было много счастливыхъ минутъ. Онъ много читалъ по классической и современной литературѣ; онъ задумалъ и написалъ нѣкоторыя части *Царевича Атаназа* и *Розалинды и Елены*. А когда онъ оставался одинъ въ лодкѣ на Темзѣ, или среди Бишэмскихъ лѣсовъ, онъ неуклонно шелъ впередъ, въ развитіи своего обширнаго эпоса революціи и контръ-революціи,—*Лаонъ и Цитна*. „Онъ видѣлъ, или думалъ, что видитъ",—я привожу слова, раньше написанныя мною,—„что самымъ великимъ событіемъ вѣка было огромное движеніе къ перестройкѣ общества, движеніе, въ которомъ Французская Революція была ошеломляющимъ фактомъ, породившимъ много дурного и много хорошаго. Его желаніемъ было воспламенить въ людяхъ вновь стремленіе къ болѣе счастливому состоянію нравственнаго и политическаго общества; и въ то же время, онъ желалъ предостеречь людей отъ опасностей, возникающихъ въ моментъ революціи, вслѣдствіе эгоизма людей, ихъ вожделѣній и низкихъ страстей. Онъ хотѣлъ изобразить истинный идеалъ революціи—національное движеніе, основанное на нравственномъ принципѣ, вдохновляемое справедливостью и милосердіемъ, незапятнанное кровью, не омраченное буйствомъ, и употребляющее матеріальную силу только для спокойнаго примѣненія къ дѣйствію

духовныхъ силъ. Къ несчастью, наряду со всѣмъ, что было замѣчательнаго въ революціонномъ движеніи того времени—съ энтузіазмомъ человѣколюбія, съ признаніемъ значенія нравственности въ политикѣ, съ чувствомъ братства всѣхъ людей—наряду со всѣмъ этимъ, въ поэмѣ Шелли находятся также и всѣ узкіе софизмы этого движенія. Иллюзіи Шелли теперь не могли бы увлечь ни одного мыслящаго ума. Но его благородный пылъ, трепетная музыка его стиха, яркая огненная красота образовъ все еще чаруютъ души людей".

Уже вышло нѣсколько экземпляровъ *Лаона и Цитны*, когда раздались негодующіе голоса, смутившіе издателя Олльера. Онъ потребовалъ, чтобы были сдѣланы нѣкоторыя измѣненія. Онъ увѣрялъ, что рѣзкія нападки на теизмъ и христіанскую вѣру были дурно истолкованы и неумѣстны. Взаимныя отношенія героя и героини, брата и сестры, давали поводъ къ сильному негодованію. И это правда, что въ данномъ случаѣ поэма Шелли являлась яркимъ примѣромъ спутанности революціоннаго образа мыслей, который, съ помощью отвлеченныхъ и ошибочныхъ понятій, старается разрушить общественныя чувства и отношенія, являющіяся прекраснѣйшимъ результатомъ эволюціи нашей расы. Немногими взмахами пера и урѣзкой нѣсколькихъ страницъ, поэма *Лаонъ и Цитна* была превращена въ *Возмущеніе Ислама*. Было потеряно при этомъ нѣсколько замѣчательныхъ строкъ. Но, уступивъ давленію общественнаго мнѣнія, высказавшагося черезъ его издателя, Шелли удалилъ извѣстное этическое пятно, которое могло бы исказить художественное впечатлѣніе отъ его поэмы для многихъ изъ его читателей.

Въ теченіи первыхъ мѣсяцевъ 1817-го года послѣдствія неурожая тяжело отразились на бѣдномъ населеніи Марло, главнымъ заработкомъ котораго служило плетеніе кружевъ. Шелли, говоритъ Пикокъ, постоянно былъ среди нихъ и, по мѣрѣ возможности, помогалъ въ самыхъ крайнихъ случаяхъ нужды. Онъ составилъ себѣ свою особую систему помощи: между нуждающимися онъ отдавалъ предпочтеніе вдовамъ и дѣтямъ. Горе и страданія рабочихъ массъ тяжелымъ гнетомъ ложились на его душу. Но въ своемъ *Предложеніи ввести измѣненія въ способъ подачи голосовъ*, Шелли, „Отшельникъ изъ Марло", гораздо умѣреннѣе въ своихъ требованіяхъ немедленной реформы, чѣмъ многіе изъ его политическихъ современниковъ. На самомъ дѣлѣ, это было однимъ изъ свойствъ Шелли. Онъ былъ врагомъ насилія и бывалъ доволенъ даже малымъ успѣхомъ для начала, хотя его грезы объ отдаленномъ будущемъ никогда не позволяли ему успокоиться на какой-нибудь временной удачѣ. Поэзія Шелли отражаетъ его

видѣнія, какъ пророка далекаго золотого вѣка. А его прозаическія произведенія выражаютъ его мысли, какъ практическаго дѣятеля. Въ своемъ *Обращеніи къ народу по поводу смерти принцессы Шарлотты*, онъ оплакиваетъ смерть молодой матери и жены, но онъ видитъ горшее бѣдствіе, и заслуживающее болѣе глубокой скорби, въ положеніи народа въ Англіи. Заботы Шелли о бѣдныхъ, его волненія изъ-за его судебнаго дѣла и возбужденіе, связанное съ поэтическимъ творчествомъ, сильно расшатали его здоровье. Опасались даже, что въ его организмѣ появились зародыши чахотки. Онъ рѣшилъ оставить Марло,—этотъ городъ, очевидно, не былъ для него подходящимъ мѣстожительствомъ,—и задумалъ попробовать пожить въ Италіи. Еще одно обстоятельство привлекало его туда: Байронъ былъ въ Венеціи, и Шелли желалъ, чтобы дочь Байрона, Аллегра, ребенокъ миссъ Клэрмонтъ, была отдана на попеченіе своему отцу. Не безъ колебаній, мать согласилась на это. 12-го марта Шелли въ послѣдній разъ взглянулъ на англійскія поля и небеса. Въ сопровожденіи Мэри, маленькаго Вильяма, крошечной дочери Клары (родившейся 2-го сентября 1817-го года), и миссъ Клэрмонтъ съ ея ребенкомъ, Шелли пріѣхалъ въ Дувръ, потомъ отправился на Югъ и, переѣхавъ Монъ-Сени, прибылъ въ Миланъ 4-го апрѣля 1818-го года.

Шелли надѣялся поселиться на берегахъ Комо, но тамъ не нашлось подходящаго для нихъ помѣщенія. Они побывали въ Пизѣ, потомъ въ Ливорно. Въ этомъ послѣднемъ городѣ жили м-ръ и мистрисъ Джисборнъ, съ сыномъ мистрисъ Джисборнъ отъ ея перваго брака, молодымъ инженеромъ Генри Ревели. Мистрисъ Джисборнъ была старый, испытанный другъ Годвина. Это была женщина съ прекраснымъ характеромъ—отзывчивая, скромная, образованная, съ большой духовной любознательностью. Конечно, встрѣтить такихъ знакомыхъ въ чужой странѣ являлось истиннымъ счастьемъ. Лѣто было проведено восхитительно, на Луккскихъ купаньяхъ, подъ сѣнью зеленыхъ каштановыхъ деревьевъ, подъ шумъ Лимы, разбивающейся о свои скалы. Въ теченіи этихъ лѣтнихъ недѣль, Шелли воспроизвелъ по-англійски *Пиръ* Платона—переводъ, сохранившій въ себѣ многое изъ сверкающей красоты подлинника. Въ угоду Мэри, онъ вернулся къ неоконченной *Розалиндѣ и Еленѣ*, начатой въ Марло, и быстро довелъ ее до конца. Эта поэма, отчасти навѣянная нѣкоторыми обстоятельствами изъ жизни подруги Мэри, Изабэль Бусъ (урожденной Бакстеръ), была напечатана весной 1819-го года вмѣстѣ съ *Строками, написанными среди Евганейскихъ холмовъ*, *Гимномъ Духовной Красотѣ* и сонетомъ *Озимандія*.

Желая видѣть свою дочь Аллегру, миссъ Клэрмонтъ въ августѣ по-

ѣхала въ Венецію, и Шелли съ ней. Байронъ дружески предложилъ Шелли, чтобы онъ и вся его семья поселились въ его виллѣ въ Эсте, среди Евганейскихъ холмовъ; миссъ Клермонтъ могла бы тогда нѣкоторое время наслаждаться обществомъ Аллегры. Предложеніе это было принято съ радостью. Мэри съ дѣтьми пріѣхала въ Эсте, но маленькая Клара опасно заболѣла. Необходимо было посовѣтоваться съ врачомъ въ Венеціи. Какъ на бѣду, былъ позабытъ паспортъ, но стремительная горячность Шелли сломила сопротивленіе солдатъ. Испуганные родители прибыли въ Венецію (24-го сентября), только для того, чтобы услышать, что надежды нѣтъ. Черезъ часъ Клара лежала мертвая на рукахъ у матери.

Впечатлѣнія Шелли отъ Венеціи и Байрона, въ этотъ періодъ, можно найти въ его письмахъ и въ его удивительной поэмѣ *Юліанъ и Маддало*. Въ письмахъ обнажается грубая сторона жизни Байрона въ Венеціи. Въ поэмѣ изображенъ портретъ Байрона, нарисованный безъ его дурныхъ чертъ и безъ темныхъ красокъ. Событія, которыя тамъ упоминаются—прогулка по Лидо, великолѣпіе заката, наблюдаемаго съ гондолы, посѣщеніе угрюмаго острова, съ башней и колокольней, видъ Аллегры, въ ея ясномъ младенчествѣ, — все это, вѣроятно, есть идеализація того, что было въ дѣйствительности. Въ разсказъ сумасшедшаго Шелли вплетаетъ воспоминанія о своемъ собственномъ несчастномъ прошломъ.

Но мысли его были заняты болѣе обширными планами—трагедіей *Тассо* (изъ которой мы имѣемъ нѣсколько отрывковъ), лирической драмой на сюжетъ, почерпнутый изъ *Книги Іова*, и *Освобожденнымъ Прометеемъ*. Въ виллѣ Эсте было почти закончено первое дѣйствіе *Прометея*, въ первыхъ числахъ октября 1818-го года. Мужество героя, спасителя рода человѣческаго, и его конечная побѣда—эта тема затрогивала самыя глубокія чувства Шелли и будила въ немъ благороднѣйшія силы его воображенія.

На зимнее время былъ желателенъ болѣе теплый климатъ, чѣмъ климатъ Сѣверной Италіи, и въ ноябрѣ Шелли съ семьей поѣхалъ на Югъ. Величіе древняго Рима, сохранившееся въ его памятникахъ, произвело на него глубокое впечатлѣніе, и онъ началъ разсказъ о Колизеѣ, который, однако, никогда не былъ оконченъ. Но Шелли избралъ Неаполь своимъ мѣстопребываніемъ на зиму, и поэтому, въ концѣ ноября, онъ направилъ туда свой путь. Нѣтъ прозы на нашемъ языкѣ, болѣе залитой сіяніемъ и красотой, чѣмъ письма Шелли, повѣствующія о его посѣщеніяхъ Помпеи, Везувія, Пестума. Воспоминанія о днѣ, проведенномъ въ Помпеѣ, появляются въ его *Пѣсни къ Неаполю*, написанной два года спустя. Но

несомнѣнно, что духъ Шелли часто изнемогалъ въ Неаполѣ; и эта тоска его нашла поэтическое выраженіе въ одномъ изъ самыхъ трогательныхъ его лирическихъ стихотвореній. Весной 1819-го года онъ вернулся въ Римъ, видѣлъ всѣ процессіи и обряды Святой Недѣли и изучалъ классическую скульптуру и живопись Возрожденія. Второе и третье дѣйствія *Освобожденнаго Прометея* были написаны среди развалинъ Термъ Каракаллы, заросшихъ въ ту пору года цвѣтами и цвѣтущими кустарниками. „Яркое голубое небо Рима",—пишетъ онъ, — „вліяніе пробуждающейся весны, такой могучей въ этомъ божественномъ климатѣ, и новая жизнь, которой она опьяняетъ душу, были вдохновеніемъ этой драмы". Ея четвертое дѣйствіе — дивное послѣсловіе—было прибавлено въ декабрѣ 1819-го года во Флоренціи.

Пребываніе въ Римѣ было омрачено, въ іюнѣ, самымъ тяжкимъ горемъ послѣднихъ лѣтъ жизни Шелли. 7-го іюня умеръ его любимый сынъ, Вильямъ. Отецъ не отходилъ отъ него въ теченіи шестидесяти часовъ агоніи. Маленькое тѣло было погребено на англійскомъ кладбищѣ, около Porta San Paolo. Тоска Мэри не знала границъ. Ей казалось, что все счастье ея погибло навсегда. Для того, чтобы она могла пользоваться обществомъ мистрисъ Джисборнъ, они наняли на три мѣсяца виллу Вальсовано, неподалеку отъ Ливорно. Здѣсь, на стекляной террасѣ на верху дома, Шелли занимался, размышлялъ и купался въ лучахъ лѣтняго солнца. Трагедія *Ченчи*, начатая въ Римѣ и прерванная смертью сына, теперь быстро подвигалась впередъ. Описаніе тираннической власти, въ лицѣ Графа, и мученической силы, въ Беатриче, рожденной для ласки и любви, удивительно согласовались съ геніемъ Шелли. По существу человѣчная и реальная, драма развивается между идеальными страстями. Ужасъ облагораживается здѣсь красотой, какъ Шелли самъ говоритъ это въ своихъ стансахъ, внушенныхъ *Медузой* Леонардо да Винчи. Небольшое изданіе этой трагедіи было напечатано въ Ливорно и послано въ Англію на продажу, къ Олльеру.

Но творчество шелліевскаго чуднаго года (annus mirabilis), 1819-го, еще не закончилось. Во Флоренціи, куда онъ переѣхалъ въ октябрѣ, послѣ лѣтняго пребыванія въ Ливорно, онъ писалъ замѣтки о скульптурныхъ произведеніяхъ и картинныхъ галлереяхъ. И въ то же время, онъ не забывалъ Англіи и ея общественныхъ и политическихъ нуждъ. Въ своемъ неоконченномъ *Философскомъ взглядѣ на реформу* онъ пытается изслѣдовать причины бѣдствій англійскаго народа и предлагаетъ принять надлежащія мѣры. Вѣсть о такъ называемой „Манчестерской рѣзнѣ" глубоко

взволновала Шелли и побудила его написать его замѣчательный „*Маскарадъ Анархіи*“, въ которомъ онъ увѣщеваетъ своихъ соотечественниковъ обратиться на путь мира и здравомыслія—единственные пути, ведущіе къ свободѣ. Въ своей фантастической сатирѣ *Питеръ Белль Третій*, онъ рисуетъ Вордсворта, сдѣлавшагося тори, какъ примѣръ генія, поддавшагося притупляющему вліянію „свѣта“. Эта поэма представляетъ изъ себя образецъ, не совсѣмъ удачный, обращенія Шелли къ элементу гротескнаго и юмористики. Его великая *Пѣснь къ Западному Вѣтру*, въ которой лирическая ширь сливается воедино съ силой лиризма, непревзойденной еще въ англійской поэзіи, была задумана и частью даже написана въ лѣсу, обрамляющемъ Арно, въ одинъ изъ дней, когда осенній вѣтеръ собиралъ туманы и дождевыя тучи. Но въ воображеніи Шелли этотъ дикій осенній вѣтеръ становится предвѣстникомъ весны. И наконецъ, въ часы, когда онъ чувствовалъ себя неспособнымъ творить, онъ излагалъ изящными англійскими стихами драму Эврипида *Циклопы*. Конечно, ни одинъ поэтъ не одарилъ англійскую поэзію столь богатыми дарами, въ теченіи одного только года, какъ это сдѣлалъ Шелли въ 1819-мъ году.

12-го ноября, во Флоренціи, у него родился сынъ, Перси Флоренсъ, которому суждено было пережить своего отца и быть утѣшеніемъ своей матери въ ея горѣ.

Когда стала надвигаться зима, Шелли, страдавшій отъ суровости климата, рѣшилъ переѣхать въ Пизу, гдѣ воздухъ былъ мягокъ, вода удивительно чиста, и имѣлся замѣчательный врачъ, Вакка Берлингіери, къ которому можно было обращаться за совѣтами. Большая часть его жизни, съ января 1820-го года до его кончины, была проведена имъ въ Пизѣ. Присутствіе м-ра Тайга и лэди Маунткэшелль (бывшей ученицы Мэри Вульстонкрафтъ) дѣлало это мѣсто еще болѣе привлекательнымъ. Лѣтомъ 1820-го года Шелли переѣхалъ съ семьей въ домъ Джисборновъ въ Ливорно, бывшій тогда незанятымъ. Здѣсь было написано самое восхитительное изъ поэтическихъ посланій, *Письмо къ Маріи Джисборнъ*. Мэри немного воспрянула духомъ, и малютка Перси былъ „самымъ веселымъ ребенкомъ въ мірѣ“. Но мать его не была всецѣло поглощена домашними заботами, потому что она съ большимъ увлеченіемъ предалась изученію греческаго языка, въ то время какъ Шелли былъ занятъ праздничной работой, такъ блестяще удавшейся ему, переложеніемъ въ октавы гомеровскаго *Гимна къ Меркурію*.

Когда жары стали усиливаться, они нашли себѣ убѣжище на водахъ Санъ-Джуліано, въ четырехъ миляхъ отъ Пизы. Во время прогулки на

Монте Санъ Пеллегрино,—сборное мѣсто богомольцевъ въ извѣстное время года,—у Шелли возникла мысль его *Волшебницы Атласа*, и поэма была написана въ три дня, непосредственно слѣдовавшіе за его возвращеніемъ на купанья. Мэри предпочитала бы, чтобы онъ избралъ сюжетъ менѣе далекій отъ человѣческихъ симпатій. Она шутливо укоряла его, и ея порицаніе вызвало плѣнительное возраженіе во вступительныхъ стансахъ. Когда же, немного позднѣе, онъ обратился къ гротескной обработкѣ происшествій изъ современной исторіи, результаты были далеко не такъ удачны. *Эдипъ Тиранъ, или Тиранъ Толстоногъ*, драматизирующій, съ сатирической цѣлью, дѣло королевы Каролины, принадлежитъ къ наименѣе счастливымъ попыткамъ автора, хотя имѣетъ извѣстное значеніе, какъ одна изъ любопытныхъ граней его ума. *Тиранъ Толстоногъ* былъ изданъ въ Лондонѣ въ 1820-мъ году, но почти тотчасъ же былъ изъятъ изъ обращенія издателемъ.

Осенью 1820-го года Шелли съ женой и малюткой-сыномъ возвратился въ Пизу. Съ ними болѣе не было миссъ Клэрмонтъ, взявшей себѣ мѣсто гувернантки во Флоренціи. Но Шелли переписывался съ ней и принималъ живѣйшее участіе во всемъ, что ея касалось. Вокругъ него собрались въ Пизѣ друзья и знакомые: его двоюродный братъ и старый школьный товарищъ, Томасъ Медвинъ, теперь драгунскій капитанъ, недавно вернувшійся изъ Индіи; ирландскій графъ Таафе, считавшій себя лауреатомъ города и ученымъ критикомъ итальянской литературы; знаменитый импровизаторъ Сгриччи; и князь Маврокордато, сынъ бывшаго господаря Валахіи, ставшій впослѣдствіи выдающимся дѣятелемъ Греческой Революціи. Черезъ бывшаго профессора физики въ пизанскомъ университетѣ, Франческо Паккіани, Шелли познакомился съ Эмиліей, - дочерью графа Виviани, которая провела два года въ заключеніи, въ монастырѣ святой Анны. Мэри и Шелли, оба очень заинтересовались этой красивой итальянской дѣвушкой. Ея молодость, ея очарованіе, ея печали пробудили въ Шелли всю идеализирующую силу его воображенія. Она представлялась ему олицетвореніемъ всего, что есть лучезарнаго и божественнаго - къ чему можно стремиться, но чего достичь невозможно,—совершенствомъ красоты, истины и любви. Для него, какъ для человѣка, это была живая, земная, обаятельная женщина и предметъ нѣжной заботливости. Для него, какъ для поэта, она возвышалась до воплощенія идеала. Съ этимъ чувствомъ къ Эмиліи онъ написалъ свой *Эпипсихидіонъ*. „Это“,—говоритъ онъ, обращаясь къ мистрисъ Джисборнъ, — „мистерія; что же касается дѣйствительной плоти и крови, вы знаете, я съ этимъ ничего не имѣю общаго... Я желалъ бы,

чтобы Олльѐръ не распространялъ этой вещи, кромѣ какъ среди разумѣющихъ (συνετοῖς); но даже и они, кажется, склонны пріобщить меня къ кругу горничныхъ и ихъ ухаживателей". Какъ это часто бывало раньше, Шелли, въ свое время, вышелъ изъ этого идеализирующаго настроенія. „*Эпипсихидіонъ*", —писалъ онъ потомъ, —„я видѣть не могу; особа, которая тамъ воспѣвалась, была облакомъ, а не Юноной; и бѣдный Иксіонъ спрыгиваетъ съ центавра, бывшаго порожденіемъ его собственныхъ объятій". Тотъ же восторженный пылъ, нашедшій себѣ поэтическое выраженіе въ *Эпипсихидіонѣ*, придалъ возвышенность тона критическому очерку Шелли *Въ защиту поэзіи*, написанному въ февралѣ и мартѣ 1821-го года въ отвѣтъ на *Четыре возраста поэзіи* Пикока. Быть можетъ, это самое замѣчательное изъ произведеній Шелли въ прозѣ, и статья является какъ бы непреднамѣреннымъ описаніемъ пріемовъ его собственнаго творчества.

Лѣто 1821-го года, какъ и предъидущее лѣто, было проведено на водахъ Санъ-Джуліано. Въ Пизѣ Шелли подружился съ молодымъ драгунскимъ лейтенантомъ, Эдуардомъ Уильямсомъ, который, вмѣстѣ съ своей женой, стремился въ Италію, отчасти благодаря обѣщанію Медвина познакомить ихъ съ Шелли. Уильямсы наняли прелестную виллу въ четырехъ миляхъ отъ дома Шелли, на купаньяхъ; и между ними было легкое и пріятное сообщеніе, на лодкѣ, по каналу, снабжаемому водой изъ Серкіо. Эдуардъ Уильямсъ былъ прямой, простой, сердечный человѣкъ, живо интересовавшійся литературой; Джэнъ обладала нѣжной вкрадчивой граціей и услаждала слухъ Шелли мелодіями своей гитары. Дни проходили счастливо, и промелькнули бы безъ всякаго достопамятнаго происшествія, если бы не одно событіе, не связанное непосредственно съ обитателями водъ. Въ февралѣ 1821-го года умеръ Китсъ въ Римѣ; но извѣстіе объ этомъ достигло Шелли не раньше апрѣля. Онъ былъ знакомъ съ Китсомъ и никогда не питалъ глубокаго личнаго чувства къ нему. Но тѣмъ не менѣе, Шелли чтилъ геній молодого поэта и, узнавъ объ его болѣзни, въ 1820-мъ году, лѣтомъ, пригласилъ его къ себѣ въ Пизу. Глубоко потрясенный,—болѣе благодаря своему воображенію, чѣмъ личнымъ чувствамъ,—разсказомъ о смерти Китса, Шелли почтилъ его память элегіей *Адонаисъ*, которой должно быть отведено въ литературѣ мѣсто наряду съ плачемъ Моска о Біонѣ и плачемъ Мильтона о Лисидасѣ. Дойдя до конца, поэма переходитъ въ страстный гимнъ, но гимнъ не смерти, а безсмертной жизни.

Удовольствіе поѣздки къ Байрону въ Равенну, въ августѣ, было болѣе чѣмъ омрачено внезапнымъ открытіемъ, которое сдѣлалъ Байронъ, объ

отвратительномъ обвиненіи, взведенномъ на Шелли и касавшемся его семейной жизни.

Мэри написала пламенное защитительное письмо, которое Байронъ долженъ былъ доставить англійскому консулу въ Венеціи. Но оно не попало къ м-ру Хоппнеру, для котораго оно предназначалось, и было найдено въ бумагахъ Байрона, послѣ его смерти. „Что мой нѣжно любимый Шелли могъ быть такъ оклеветанъ передъ вами", — писала Мэри: — „онъ, самый кроткій и человѣчный изъ людей,—это тяжело для меня, болѣе тяжело, чѣмъ я могу выразить словами!" О, если бы они могли бѣжать въ какое-нибудь уединенное мѣсто, подальше отъ міра съ его клеветами! или, разъ это было невозможно, если бы они могли собрать вокругъ себя, въ своемъ домѣ въ Пизѣ, хоть маленькій кружокъ вѣрныхъ и честныхъ друзей! Въ числѣ ихъ—какъ они надѣялись—могъ быть Байронъ, потому что онъ собирался покинуть Равенну и желалъ, чтобы они пріискали ему и графинѣ Гвиччіоли домъ въ Пизѣ. Лей Гёнтъ, у себя дома, въ Англіи, нѣсколько времени тому назадъ былъ опасно боленъ; онъ также могъ бы присоединиться къ ихъ обществу, и въ пользу его могъ бы начать издаваться, при содѣйствіи этого литературнаго союза, новый журналъ *The Liberal*, о которомъ раньше шла рѣчь.

„Я полонъ мыслей и плановъ", писалъ Шелли Гёнту въ 1821-мъ году. Ни одинъ изъ его обширныхъ плановъ не былъ выполненъ; но лѣтомъ или ранней осенью этого года онъ быстро написалъ свою *Элладу*, замѣчательную въ смыслѣ идеализированнаго отношенія къ современнымъ событіямъ. Въ *Персахъ* Эсхила онъ нашелъ предшествующій примѣръ пользованія текущими событіями. Призракъ Магомета II навѣянъ образомъ Дарія въ *Персахъ*, но вмѣсто пѣсни печали, заключающей собой греческую трагедію, *Эллада* оканчивается лирическимъ пророчествомъ, которое есть пѣснь ликованія и любви ко всему міру.

„Лордъ Байронъ поселился здѣсь", писалъ Шелли изъ Пизы въ январѣ 1822-го года, „и мы съ нимъ постоянно вмѣстѣ". Они ѣздили вдвоемъ, упражнялись въ стрѣльбѣ изъ пистолета, или играли на билліардѣ, и обмѣнивались мыслями относительно литературныхъ и общественныхъ вопросовъ. Шелли чувствовалъ въ Байронѣ великую творческую силу и восхищался ею. Но временами его отталкивали проявленія болѣе грубой стороны нравственной природы Байрона. Наступившій годъ привелъ еще новаго знакомаго въ Пизу—Эдуарда Джона Трэлауни, молодого корнваллійскаго джентльмэна, который велъ жизнь, полную приключеній на морѣ и на сушѣ. Трэлауни—„съ своимъ обликомъ странствующаго рыцаря, смуглый, красивый,

длинноусый"—заинтересовалъ Шелли и Мэри больше, чѣмъ кто-либо изъ тѣхъ, съ кѣмъ они знакомились послѣ отъѣзда Маврокордато. Насколько Шелли очаровалъ Трэлауни, можно видѣть изъ *Воспоминаній* послѣдняго, дающихъ намъ самый живой образъ поэта въ послѣдніе мѣсяцы его жизни. Трэлауни, Уильямсъ и Шелли любили море. Было рѣшено соорудить лодку и нанять на лѣто домъ на берегу моря, въ Спеццiи. Между тѣмъ, Шелли работалъ опять, надъ своей исторической драмой *Карлъ I*, и написалъ нѣсколько упоительныхъ лирическихъ стихотвореній, вдохновленныхъ граціей и утонченной обаятельностью Джэнъ Уильямсъ, жены его молодого и веселаго товарища.

Casa Magni, домъ, взятый ими на лѣто, стоялъ на краю моря, близъ рыбачьей деревни Санъ-Теренцо, на восточной сторонѣ залива Спеццiи. Первые дни ихъ пребыванія были омрачены горемъ, поразившимъ всѣхъ—но въ особенности то было горемъ для миссъ Клэрмонтъ—смертью маленькой Аллегры въ монастырѣ Баньякавалло. Мэри была нездорова и находила, что этотъ одинокій домъ у моря угнетающе дѣйствуетъ на ея душу. Измученные нервы Шелли были тревожимы призрачными видѣніями; однажды образъ Аллегры поднялся съ улыбкой передъ нимъ, надъ залитымъ луной моремъ, всплескивая руками отъ радости. Но, когда, наконецъ, давно ожидаемая лодка обогнула мысъ Порто-Венерэ, поднялось общее ликованіе и суматоха ожиданія. „У насъ теперь есть великолѣпная игрушка на лѣто", писалъ Уильямсъ, который съ женой своей занималъ часть Casa Magni. Во время жаркихъ іюньскихъ дней, когда Шелли отдыхалъ въ лодкѣ, смотрѣлъ съ берега на великолѣпіе моря, или въ лунныя ночи сидѣлъ между скалъ, онъ писалъ благородные отрывки своей послѣдней большой неоконченной поэмы *Торжество Жизни*. Она содержитъ въ себѣ, быть можетъ, самыя глубокія мысли его жизни; она проникнута трогательнымъ отреченіемъ; въ ней есть глубина взгляда, которая достигается путемъ ошибокъ, и тишина, прошедшая черезъ страсть. Своимъ общимъ планомъ и формой стиха эта поэма напоминаетъ *Торжество Любви* Петрарки, а въ образахъ своихъ она временами приближается къ Данте.

За возвращеніемъ Клэръ въ Casa Magni, послѣ двухнедѣльнаго ея отсутствія, почти немедленно послѣдовало несчастье, грозившее серьезной опасностью жизни Мэри: тяжелые преждевременные роды. Благодаря энергіи и находчивости Шелли, ея жизнь была спасена. Но этотъ подъемъ нервовъ опять вызвалъ у него частыя видѣнія. 19-го іюня получено было извѣстіе, обрадовавшее его сердце—Лей Гёнтъ и его семья прибыли въ Италію. Стояла чудная лѣтняя погода. Лодка, на которую сѣли Шелли и Уильямсъ,

была спущена на море, и послѣ благополучнаго переѣзда, они бросили якорь въ гавани Ливорно. На слѣдующее утро встрѣтились, бывшіе столь долго разлученными, друзья, Шелли и Гёнтъ. „Я въ неописуемомъ восторгѣ!“ —восклицаетъ Шелли,—„вы себѣ представить не можете, какъ невыразимо я счастливъ“. „Видъ его былъ лучше“, писалъ Гёнтъ, „чѣмъ когда-либо. Мы говорили о тысячѣ вещей—мы предвкушали тысячи радостей“. Въ понедѣльникъ, 8-го іюля, видъ неба, казалось, предвѣщалъ перемѣну погоды; но вѣтеръ былъ благопріятный для возвращенія въ Леричи.

Между часомъ и двумя пополудни лодка оставила гавань. Ее видѣли за десять миль, въ открытомъ морѣ, по направленію къ Реджіо; потомъ темнота лѣтней грозы скрыла ее изъ виду.

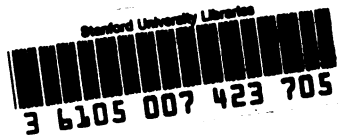
Между тѣмъ Мэри, которой очень не хотѣлось отпускать Шелли, и Джэнъ Уильэмсъ бодрствовали и ждали. Проходили дни страданія и страшныхъ недоумѣній. Наконецъ, осиротѣвшія женщины не въ силахъ были больше ждать и поѣхали въ Пизу, чтобы разспросить Байрона и Гёнта. Даже тогда еще не вся надежда была утрачена; лодку могло отнести къ Корсикѣ или на Эльбу. Мэри и Джэнъ поспѣшили назадъ въ Леричи, такъ какъ Трэлауни рѣшилъ возобновить поиски по направленію къ Ливорно. Вечеромъ 19-го іюля онъ вернулся. „Все кончено“, пишетъ Мэри: „все спокойно теперь; ихъ тѣла выброшены на берегъ“.

Два тѣла были выброшены на морской берегъ, одно по дорогѣ къ Реджіо, другое на Тосканскомъ берегу. По высокой стройной фигурѣ, по тому Софокла и поэмѣ Китса, находившихся въ карманахъ, былъ узнанъ Шелли. Согласно со строгимъ закономъ итальянскаго карантина, тѣла должны были бы остаться въ пескѣ, засыпанныя негашеной известью. Но, благодаря особому разрѣшенію, позволено было ихъ сжечь. При этомъ присутствовали Трэлауни, Байронъ и Гёнтъ. Сердце Шелли было выхвачено изъ пламени Трэлауни; пепелъ былъ благоговѣйно собранъ. На старомъ протестантскомъ кладбищѣ въ Римѣ, тамъ, гдѣ лежитъ тѣло малютки Вильяма, вблизи отъ могилы Кайя Цестія, былъ преданъ землѣ ларецъ, содержавшій въ себѣ прахъ Шелли.

7982
34639 3078
БИБЛИОТЕКА

13280.

81 35'9T 53 005 A QV 8154




R8B3
1903
v.3

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIE
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6(
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 da

DATE DUE

F/S JUN 30 1995

MAY 0 1995

JUN 30 2000

2 8 2000